

**У.Э. ГАЙСУЛТАНОВ**

**АЛЕКСАНДР  
ЧЕЧЕНСКИЙ**



**С.С. ТАРАСОВ  
М.Х. ВАХАЕВ**

**ЗАХАР ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ**



ББК 83.3 (2 Рос-Чеч)

УДК 8С (Чеч)

А 462

**Гайсултанов У.Э., Тарасов С.С., Вахаев М.Х.**

**А 462 Александр Чеченский** (*Историческая повесть*). Захар из чеченцев (*Киноповесть*). – Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2009. – 448 с.: ил.

Повесть «Александр Чеченский» рассказывает об осиротевшем чеченском мальчике Али, которого приютил известный русский генерал Раевский. Начав службу вахмистром, Али – Александр Чеченский – участвует во многих военных походах, проявляя чудеса храбрости, ум и находчивость. Дослужившись до генерала, он уходит в отставку.

В основе киноповести «Захар из чеченцев» рассказ о дружбе замечательного чеченского художника Петра Захарова и великого русского поэта Михаила Лермонтова. Противоречивая и сложная история взаимоотношений Чечни и России, прослеженная авторами через странно переплетенные судьбы этих двух ярких представителей наших народов, дает возможность ответить на вопрос: что объединяло и объединяет русских и чеченцев.

ISBN 978-5-98896-111-6

© Гайсултанов У.Э., Тарасов С.С.,  
Вахаев М.Х., 2009

© ГУП «Книжное издательство», 2009

Книга читается в читальном зале  
районной библиотеки  
Итум-Калинского  
муниципального района

# АЛЕКСАНДР ЧЕЧЕНСКИЙ

Районная библиотека  
Итум-Калинского  
муниципального района

## СОСЕДИ

Алхазур намотал на зазубренный конец кизилового прута намазанную бараньим жиром тряпочку, протер закопченный ствол маджары, пощелкал курком. Прищурил левый глаз, даже в наступающих сумерках было видно как блестит ствол.

Певуче скрипнула дверь, на пороге появился сосед Алхазура.

– Добрый вечер, – поздоровался он.

– Вечер добрый, дорогой Джума, садись на нары, – Алхазур раздул в очаге огонь, зажег фитиль сальной свечи.

Свеча затрещала, стрельнула пламенем. Зыбкий свет затрепетал над деревянным столом, из середины сакли выхватил эрду – языческий столб из старой чинары.

Джума осмотрелся. Рядом с ним, прикрывшись полой отцовского бешмета, в клубочек свернулся мальчик.

– Набегался?

– Чурек не доел, сыворотку не допил – за столом сон сморил. Волчонок без волчицы. Спрашиваю, где весь день пропадал, что ел? Отвечает: «Лес, Сунжа зачем? Там все есть. Груши, орехи. Фазана изжарили. Вкусно!..».

– Сколько ему?

– Если честно, не знаю. В тот год засуха была.

Джума начал, пришептывая, загибать пальцы.

– Пять или шесть?

– Может, и так.

– Женился бы ты, Алхазур. Твоему Али нужны материнские глаза, руки, ласки.

– Я же недавно ее похоронил.

Джума изумленно повел бровями:

– Недавно?

– Мне кажется – вчера.

В его памяти все было свежо. В тот день он, возвращаясь с охоты с убитым туром, спешил уйти от грозы, которая шла за ним по пятам, исполосовывая небо молниями, сотрясая землю громом.

Джума первым встретил его:

– Сына родила тебе жена.

Алхазур не сразу нашелся, что ответить, горячая кровь прихлынула к его лицу.

– Гостем первым и дорогим будешь, Джума. Бери, твой, – положил к ногам Джумы тура.

– Я не все сказал, Алхазур. Жена твоя умерла.

Алхазура оглушило, он будто в горячий поток упал.

Потом его зазнобило. Он побежал как сумасшедший. Джума понес тура к сакле Алхазура.

Жену Алхазур похоронил, как его предки, по языческому обычаю. Джума, верный с недавних пор исламу, не посмел в горький для соседа час высказать ему свое недовольство этим. Пришел помочь другу в беде:

– Оставь младенца моей Асме. Ей ничего не стоит выкормить двух малышей.

– Нет, – решительно ответил Алхазур.

– Умрет мальчишка.

– Не дам! Он один у меня на всем белом свете. Кровь родная.

– Мужское ли дело – с младенцем возиться? В случае чего зови меня.

Асма принесла мальчишку, положила на кошму. Малыш посопел, повозился, и, видно, сытый, притих.

Алхазур на цыпочках подошел к нему, долго не отрывал глаз, боясь прикоснуться к нему. Вот, оказывается, какого сына подарила ему жена. Живого. Вразлет бровки пушистые, черные. Реснички длинные, чуть подрагивающие. Это было чудо. Лобик хмурится, к переносью морщинки то сбегают, то разглаживаются, губки почмокивают. Алхазур наклонился и уловил теплое чистое дыхание сына. И это тоже было чудо.

– Проживем, сынок, – зашептал Алхазур, и сразу обожгла мысль: «Как же ты без матери будешь, сын? У Джумы шестеро ребятишек, мал мала меньше. У них есть мать...».

Только теперь Алхазур с пронзительной ясностью почувствовал страшную, ничем не восполнимую утрату. До кладбища и после него он пребывал в каком-то чаду, кошмарном сне. Казалось, стоит напрячь волю, проснуться – и кошмар исчезнет. На людях глаза Алхазура оставались сухими, и только горячечный блеск их выдавал всю безысходность горя.

Алхазур подошел к эрде, темному от очагового дыма и времени, отполированному прикосновениями рук всех поколений алхазуровского рода.

Мужчина не замечал, как слезы неудержимо катились по его щекам. Нет, он не рыдал. Он гладил столб, обращался с горячей молитвой к своему богу: «Дэла, высоко ты, не добратья мне до тебя, да и некогда: на кого я оставляю сына? Может, занят ты сильно. Но все равно прошу тебя: выслушай меня. Ты дал мне сына. Спасибо тебе за это. Но зачем ты отнял у него мать, а у меня – жену? Я ли не усердно молился тебе? Я ли не вывешивал на деревьях в лесу куски свежего мяса для твоего пиршества? Я ни разу

бараньей крови не выпил, лил ее в огонь, чтобы она поднялась к тебе. За всю свою жизнь я не срубил живого дерева для очага, всегда искал сухостой или в Сунже вылавливал те, которые ты с корнем вырывал. Я зверей жалел, убивал только тех, что ты мне позволил. Последний убитый мною тур был хромым, сам под выстрел подошел ко мне. Я подумал, что это ты подсунул мне его по доброте своей. Я в роднике воды не замутил, не убил ни сороки, ни иволги, ни удода. Я молился твоим внукам – алхастам. Зачем же ты мне и моему сыну такую беду принес? Зачем печаль к моему очагу подбросил? Я молю тебя: не будь жестоким, не отними у меня еще и сына. Я хочу у тебя совет попросить. Подскажи, как мне назвать его? Ты не будешь возражать, если я назову его Али в честь моего отца, которого ты забрал у меня в прошлом году? Хватит тебе и одного Али. А этого Али, моего сына, не тронь! Я без него совсем пропаду. Дэла, ты согласен?».

Алхазур с тревогой прислушался. В сакле стояла тишина. За окном слабо, как и до этого, посвистывал ветер, шелестел листвой деревьев. В углу, за нарами, трещал сверчок. Ничего особенного не произошло. Вот если бы гром ударил или дерево за окном упало – тогда было бы ясно: дэла голос свой подает, возражает. Алхазур облегченно вздохнул:

– Ну вот и хорошо, дэла. Значит, отныне мы будем называть мальчика Али. И не тронь его! Ты и так его обидел. Помни наш уговор. Или я тебя прокляну!..

Слезы высохли. Алхазур подбросил в очаг дров. В это время Али заворочался, пискнул, закричал, а потом закричал. Сакля наполнилась звонким голосистым плачем. Как остановить плач – Алхазур не знал.

Неумело перепеленал сына, взялся укачивать. Али не переставал кричать. Он уже захлебывался, когда

отец сообразил наконец-то, что ребенок просит есть. Алхазур схватил кружку с молоком, которую принесла Асма, поднес к губам Али. Тот ткнулся было в край кружки – и еще требовательнее закричал. Алхазур попытался напоить из деревянной ложки – опять ничего не получилось. Тогда Алхазур нашел тряпочку. Намочил ее в молоке. Али с жадностью начал ее сосать. Алхазур снова и снова макал тряпочку в молоко, до тех пор, пока умиротворенный Али не уснул.

Так и пошло с тех пор. Иногда лишь отец отлучался на охоту, в поле или по другим делам. Тогда за Али присматривала соседка Асма.

Отец и сын по-настоящему были счастливы. Им хватало неба, где обитал дэла, речки, дикого зверя в лесу, клочка земли с кукурузой, душистого чурека и молока, которое давала коровенка Алхазура. Ничего другого они и не желали. Довольствовались тем, что не мешали небу, горам, лесу, земле, а те не мешали им. Не загадывали они разлуку...

Лишь порой охватывала Алхазура печаль. Это случалось, когда кто-либо вдруг заводил разговор о смерти его жены. Однажды и Али, когда отец привел его на кладбище, сказал:

– Ходим мы, ходим к нане, а я ее ни разу не видел. Она там? – показал он на могилу. – Давай заберем ее домой. Втроем веселее будет. Какая она, моя мама? А?

Вот и сегодня Джума разбередил старую, незаживающую рану своим непрошеным советом привести в саклю другую женщину. Но какая женщина заменит Али мать? Нет и не будет такой женщины.

– Ты только за этим и пришел, Джума, чтобы посоветовать мне забыть мою жену? Сколько раз уж ты об этом!..





– Нет, я пришел сказать тебе: генерал Потемка войско против нас послал. Требуется солдат своих вернуть.

– Это против бога. Разве можно выдавать тех, кто доверился нам, пришел защиты у нас искать? Тех, кто с нами за нашим столом пищу разделил? Я – мужчина. Ружье вот почистил.

– Ты хорошо сказал, Алхазур.

Снаружи что-то свистнуло, завизжало, треснуло близко. Али вздрогнул, но не проснулся.

– Началось, – сказал Алхазур. – Бери мою маджару, Джума. – Он осторожно взял на руки Али. – Пусть Асма за ним присмотрит.

Выскочили из сакли. Плетни соседей повалились. Асма выбежала, унесла Али. Али бросился к деревцу у ворот. Оно еще мелко дрожало, на земле лежали опаленные листочки. Алхазур посадил дубок в тот день, когда похоронил жену, берег, выхаживал его, как и Али, боялся: не засох, не погиб бы.

Алхазур ощупывал деревцо, даже слегка потряс его. Дубок стоял крепко. Но в душе отца уже поселилась и не отпускала тревога: зачем дэла сорвал с дубка листочки? Почему листья лежат на земле как убитые птички?

## ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР КАВКАЗСКИЙ

Вечером Павел Сергеевич Потемкин, генерал-губернатор кавказский, прибыл в Екатериноградскую. Смерть как устал. А во всем виноват шельма и разбойник станичный кузнец, горячеводский казак.

– Подкую красавца на диво, ваше сиятельство. Износу подковке не будет. И рессорку карете удружу. Только наперед вели подать мне чихиря квартиру. – Сам зубы скалит, желтые, ядреные, с грецкий орех каж-

дый. Глаза – ночь темная, чуб смоляной, ни дать ни взять – Емелька Пугачев. Уж не сродни ли вору? Оно и ведомо – Пугачев-то обретался и в притерских степях.

Времена наступили – нельзя хуже. Силу берут вот такие станичные ковали. Но без станиц нельзя. Не зря офицеры любят говорить: «Укрепление – камень, буря может свалить его. Станица – растение, она пускает глубокие корни». И в самом деле, кого солдат защищает в крепости? Только себя. А казак – жену, мать, детей. Оно и выходит: порушить укрепление горцу много легче, чем станицу.

Пожаловал Потемкин ковалю из своих генеральских припасов полкварты настоящего цимлянского. Тот осушил ее, усы рукавом вытер, скорехонько за дело взялся. Гвоздь в копыто вогнал и снова скалится:

– Доброе вино. Не пожалей, ваше сиятельство, еще полкварты. А то ржа ухналь съест.

– Не прогневайся, коваль, не дам.

– Ан, быть по-твоему. – Усы пиками в дьявольской улыбке зашевелились, постучал коваль еще немного по копыту, дробно, лихо, а для чего – то ему только известно. – Забирай. Скупенек же ты, генерал! – дерзко сверкнул черными угольями. – Благодарствую покорно тебе и на том. А ты не позлобствуй на меня, коли что не так будет. Я ж к тебе со всей душой... Скупенек, ой, как скупенек ты, сиятельство. До свиданьица! – сверкнул снова глазищами ночными, хохотнул гулко, так, что вороны на кузнице с опаской зашевелились.

Трех верст не проехал генерал – подкова затерялась. Глянули – на одном ржавом ухнале держалась! Захромал жеребец. Пересел Потемкин в карету – рессорка треснула. А дорога, известно, – колдобины,

ухабы. Солдаты к колесам единорогов липнут, тянут пушку и лошадей.

Генерал под бока и афедрон подушки подмащивал, а карета швыряла его в разные стороны.

— Ужо, я этому ковалю, — ярился Потемкин и понимал: не волен он казака наказать.

Коляска сильно накренилась, и генерал вылетел на дорогу. Солдаты шарахнулись, обмерли, вытянулись. Щеки того и гляди лопнут: генерал-то в грязи вывалялся, а смеяться кто позволит? Кинулись было китель почистить — сменный принесли. Совсем малость подзадержались. И вот уже Потемкин по обочине шагает.

Мокрая степь светится желтеющими осенними травами. Вдалеке синееет лес. А еще дальше — от горизонта до горизонта — высокая белая гряда. То горы, начисто скрытые облаками.

Кругом спокойно, пустынно, но степная тишина здесь обманчива. Равнина вдруг может огласиться гортанным боевым кличем отважных горцев. Не ковыль заблестит по холмам — сабли острые, не дождинки — кровавая роса на травы падет... От таких мыслей генерал даже шаг прибавил, подумал: «Могу... Смог бы, как тот строптивый ротмистр Гавриил Державин. Кто бы мог подумать, что он воспарит со своей „Фелицей“?».

А чем он сам, Павел Сергеевич Потемкин, не гождя Парнаса? Перевел же он с французского «Новую Элоизу» Жан-Жака Руссо, написал же поэму на победы, одержанные российской армией над турецкими войсками, драму «Россы в архипелаге», разные стихотворения... Это было повальным увлечением, вслед за императрицей искать близости с Руссо, Вольтером, Дидро — французскими возмутителями общественного спокойствия. Вольнодумство — чума: зачем

сходить с ума от окаянного Вольтера? Французский парламент приговорил его книги к сожжению. Вольтера дважды держали в Бастилии. И поделом! Дважды он спасался бегством из Парижа. Позор охране Бастилии! А Сергей Васильевич Гагарин – действительный тайный советник и шталмейстер – сам уже одной ногой в могиле, а обожает этих развратителей рода человеческого. Следовать моде – вовсе не значит потакать ей!

Вот он, Павел Сергеевич, написал «Историю Пугачева», но с единственной целью: убедить всех, что самозванца нужно было удавить еще в колыбели.

Да и сама матушка-царица, когда Пугачев объявился, не Вольтера да Дидро искала, а его, Павла Сергеевича. И посадила на генерал-губернаторство кавказское. А Кавказ по великости не сравнить с иными государствами, например, прусскими герцогствами Шлезвиг-Гольштейн, Ангальт-Цербтским, Мекленбургом, королевством Датским. Их можно порознь и вместе сложить в переметную суму терского казака. Еще и место свободное останется.

Губернаторство – большое, а жизнь в нем – как на пороховых бочках с фитилями. Концы тех фитилей поджигают в Турции султаны, в Персии – шахи, в Англии – король. Потемкин доволен сравнением положения дел на Кавказе с пороховыми бочками. Куда Руссо до таких сравнений: он ни в каких баталиях не участвовал. Не знаешь от чьего фитиля взлетишь в воздух.

Завоевать! Завоевать! – вот чего вожделеют султаны и шахи, а король английский, oprичь того, – завоевать еще и Турцию, и Персию, и Афганистан. А Индия – уже самое драгоценное украшение его короны.

Стонут кавказские народы от набегов басурман, башибузукoв, обороняются, кровью захлебываются

и все чаще обращаются к своему северному соседу: возьми нас, Россия, под свою защиту.

А какие они — эти кавказцы? Дух вольности их неукротим. У ветра, у снежного барса, у царя птиц — орла — духом они тем напитались. В них самой природой заложен бунт, как у горячеводского коваля, дед или отец которого, наверняка, сбежал от какого-нибудь помещика из-под Рязани или Оренбурга.

В каждом мужике сидит Емельян Пугачев или Салават Юлаев.

Опора и надежда отечества — солдаты — и те портятся. Уж, кажись, чего не делают: муштра, палки, кого и в Сибирь закатают, в крепость, даже казнят. Мужичье все в солдате, как дух бесовский, изгоняют. А велик ли прок?

В генерал-губернаторство из Екатериноградской с почтовой оказией Потемкину доставили, письмо от Николая Николаевича Раевского. Молодой прапорщик сообщал о побеге из полка трех солдат. О том, как объявили розыск по местам их рекрутского набора и как для розыскных людишек получилась из этого беспримерная конфузия. Беглые обнаружены были во время рекогносцировки на подступах к одному аулу. Из-за камня вдруг замахали шапкой:

— Здорово, братцы. Айда к нам.

— Слышь, по-нашински кличут? — удивились в цепи.

— Да это, никак, голос Мирона Лапина! — еще более удивился кто-то. — Мирошка, ты?

— Я самый. И Антон Колокольный, и Дубовой Иван тута.

— Обасурманились?

— А горцы вовсе и не басурманы. По-божески живут. Медведя и волка на цепи не держат. Норовят нас с их ними бабами окрутить, чтоб, значит, легче

нам хозяйствовать было. Да и прибыток им детьми нужен. В общем, живем. Воду полным туеском из речек пьем.

— Прекратить крамольные разговоры! — приказал Раевский и пальнул по шапке из пистолета.

В ответ загремела маджара.

— Пожалел я тебя, ваше благородие, — донесся голос Лапина. — Потому как душевности у тебя для солдата не занимать...

Генерал месит на обочине грязь. Представляет, как будет разносить в Екатериноградской полковника Кека. Пожурит, наставит на добрый путь Раевского. И еще крепче, в ежовых рукавицах, будет держать и солдата, и офицера, и весь этот край, где то и дело вспыхивают костры непокорства. Шаг генерала становится тверже. Он выбрасывает ноги так, что досины в коленях трещат и с подошв отлетают пуды грязи. Солдаты с удивлением глядят на генерала.

Когда ноги огрузили свинцом, он снова забрался в карету.

Григориополисской — укрепления на правом берегу Терека — достигли глухой ночью. Потемкин приказал переправляться на левый берег, в станицу Екатериноградская.

Терек тяжело ворочался, как солдат перед кровавым сражением, вскипал бурунами, угрожающе ревел. Свайный мост раскачивало. Карета Потемкина миновала середину его, когда затрещали и рухнули опоры позади. Над Терекком пронесся нечеловеческий вопль. Генералу доложили: в Терек упала пушка вместе с упряжкой и людьми.

— Слава тебе, господи! — истово перекрестился генерал. — И на этот раз ты сберег меня. Царство им небесное, — вяло подумал об утонувших и снова перекрестился.

Денщик раздел полусонного генерала, уложил на бурку.

Проснулся Потемкин поздно. Пошевелился и едва не вскрикнул: тело ныло, зуд изводил. А за всю ночь даже не повернулся на другой бок, не чувял, как его грызли блохи.

Деревянная кровать заскрипела. Генерал опустил босые ноги, коснулся мягкого ковра. Земляной пол в хате был помазан глиной, смешанной с коровьим навозом, и воздух был пропитан запахом хлева. Генерал вспомнил станичного кузнеца, дорожные невзгоды, чертыхнулся. Досталось и тем, кто, стараясь угодить ему, подготовил хату и постель с буркой, набитой блохами. Полыни – пропасть кругом! Могли бы под бурку охапку бросить...

В подслеповатое окошко брызнуло солнце. По размытой дороге строем двигались солдаты, грянули вдруг песню. На них чертом налетел офицер, замахал руками, и они очумело завертели головами. Вдалеке вырисовывались, как на аспидной доске, белые горы.

Превозмогая боль в суставах ног, генерал поднялся. Длинная рубашка, спускающаяся ниже колен, измята, будто ее всю ночь коровы жевали. Грузный, с белым лицом, на котором шевелились пухлые, как папуши самсунского табака, бакенбарды, он долго растирал жирную грудь и красный, толстый, как болгарский перец, нос.

Ох, этот опостылевший ему Кавказ! Мужчине – еще втерпеж. А привез он жену свою, молодую Адель, попросту Аделаиду Павловну, дня не прожила – в стон:

- Ах, ах! Ужасно!
- Что, свет мой, ужасно?
- Ах, все. Что это на полу?



– Кошма. Чудесная вещь. Ради твоего приезда приказал постелить.

– Козой пахнет. Фи! Гадость! Выбрось!

– Блохи будут кусать.

– Что? Ах, ах! – Глаза наполнились страхом, будто на нее стаю собак собирались спустить. – Завтра... Нет, сегодня еду! – А по крепости прошлась – внезапно кошкой приластилась: – С тобой побуду: истосковалась.

Обрадовался Потемкин. Ему и в голову не могло прийти, что Адель приглянулся молодой офицер. Она запорхала по крепости. Однако вскоре опять захандрила. Офицер устоял перед ее красотой. «Какая наглость!» – негодовала она. Собиралась даже чем-то отомстить ему. И пожалела. Теперь ее уже ничто не останавливало. Она укатила в Россию, отнюдь не тосковать по мужу, потому что рядом с имением Потемкина жил молодой красивый сосед – помещик, у которого была старая, постылая жена...

Потемкин страдал, представляя себе, как тоскует по нем Адель.

Из-за двери доносился сдержанный гул голосов. Там собрались офицеры екатериноградского гарнизона. Генерал обрядился в мундир и велел вызвать полковника Кека.

Тот явился, вытянулся в струнку. Потемкин не торопился. Фельдъегерь из Петербурга только что доставил ему три пакета, в круглых жирных сургучах с орлами Российской империи. Сразу от трех экспедиций Военной коллегии: армейской, гарнизонной и рекрутской. Потемкин взломал печати, костяным ножом, взятым из дорожного красного дерева ларца, вскрыл пакеты. Читая хрусткие листы, морщился, как от приступов зубной боли. Видно, особой заботой писарей коллегии было очинять гусиные

Книжный фонд  
Районной библиотеки  
Итум-Калинского  
муниципального района

Итум-Калинского  
муниципального района 17

перья: нажим, росчерки с лихими завитками, прописные буквы – как гренадеры на смотре у императрицы. Ни одной кляксы.

Экспедиции почтительнейше просят генерала... А за этим «почтительнейше» проглядываются каверзы, зависть, злорадство по поводу разного рода событий в генерал-губернаторстве Потемкина, в том числе и военных его неудач.

«Вольно же им пасквили сочинять слогом наградных представлений! – хмурится генерал. – Дались им эти беглые! Изловить! Не давать стакнуться горцу с солдатом российским: «сие для империи пагуба великая». Межеумки! Неужто я сам этого не понимаю? Однако же, каким это образом коллегия так быстро дозналась о беглых? Я никому не сообщал о частном письме Раевского. Вообще думал похерить сие дело. Не Кек ли в порядке излишнего усердия?.. Забыл о субординации!» – Потемкин подозрительно покосился на полковника.

Экспедиции словно сговорились, дружно предписывали искать среди горцев обиженных, обласкивать их, не жалеть для подкупа золота, награждать переметнувшихся на службу в генерал-губернаторство крестами и даже офицерскими чинами, распатывать на почве межплеменных и родовых распрей единение, товарищество.

Легко сказать «ищите», «золота не жалеть». Проще гору скрыть, дорогу проложить в дебрях по крутизне, где нога человеческая не ступала.

Спросил однажды Потемкин горца:

– Почему не хочешь служить нашей общей матушке-государыне?

– А кто она такая? – сердито ответил тот. – Ты ее мне в жены предлагаешь? Привези. Посмотрю – стоит ли ее еще брать в жены? У меня товарищи есть. Я им служу. Они мне. Дружим...

Нет, господа из военной коллегии, здесь вам не Санкт-Петербург. Здесь нет тайной экспедиции Степана Ивановича Шешковского, его кнутов, дыбы. Язык не вырвешь щипцами. Дикость, непокорство пушками умирляют. Генерал скомкал бумажки и, чуть ли не тыкая ими в нос полковника, загремел:

– В военную коллегию строчим? Где субординация? Молчать! Беглые солдаты – ваша работа? Молчать! Изловили беглых?

– Виноват, ваша светлость! Донесения наших лазутчиков, верных нам людей, даже из местных жителей...

– Короче! Поймали?

– Вагенбург.

– Что вагенбург? Вы по-русски умеете говорить?

– Я по-русски. Полковник Пьери настиг отряд горцев с богатым обозом, стадом коров и табуном лошадей. Горцы сделали вагенбург, осаду держали и... ушли. С огромными потерями.

– Пленные? Трофеи?

– Наши доблестные войска собирают их в лесу... Ищут. Полковник Пьери уважает умного противника. Сказал: у горцев есть люди с прирожденными талантами военачальников...

– Противника не уважать – бить надо.

– Полковник преследует его по пятам. Горцы делают деплояду и принимают бой. С ними наши беглецы. С часу на час ждем победной реляции.

За дверьми усилился гул голосов.

– Что еще там? – Потемкин недовольно повернулся. – Пусть войдут.

На пороге возник запыленный офицер в грязном, обтрепанном мундире.

– В таком виде – ко мне? – загремел Потемкин.

– Разрешите доложить, ваше сиятельство! Полковник Пьери...

— Отставить! Изволь, милостивый государь, допрежь привести себя в порядок.

Минут через пять офицер докладывал:

— Полковник Пьери... войско полковника Пьери разбито.

— Что? — генерал вскочил, поднял кулаки, словно собрался сокрушить ими гонца.

— Сначала все шло хорошо. Мы атаковали и захватили Алды, двинулись дальше. Противник зашел к нам в тыл, а потом сбросил в Сунжу. Почти все погибли.

— И Пьери?

— Он прибудет... С небольшой горсткой солдат.

— Позор! Бесславиe!.. Лучше бы полковник Пьери погиб.

В тот же день Павел Сергеевич послал в Санкт-Петербург военную реляцию. Уповая на скорую викторию над горцами, Потемкин славил мощь оружия государыни и ее мудрость.

## ПЕСНИ МАЖИ

Сон сморил Али почти мгновенно. А то бы он рассказал отцу не только о лесной груше, орехах и зажаренном фазане.

Тот день начался рано для Али, его ровесника Хасина, сына соседей Джумы и Асмы, еще для трех детишек на Черной речке.

Не знает Али, почему эту речку, то разливавшуюся на версту вширь после свирепых ливней или в пору сильного таяния снегов на горах, то суживающуюся, как в это утро, до полутора-двух сажений, называли Черной. Сколько помнил себя Али, речка была белой. От пены.

Ребятня, ежась от предутреннего туманца над землей, развесила свои штанишки на ветках вербы.

И то прыгала в белую пену речки, что-то искала на дне и возвращала воде, то пулей вылетала на берег и бешено носилась туда-сюда с визгом и криком. И снова прыгала в пену.

Дети делали запруду. Собирались ловить форель. В воздухе мелькали, поднимая тысячи брызг, большие, как арбузы, зеленоватые, голубые, черные го-лыши.

Али прыгал наравне со всеми. Сверхледяная вода обжигала, делала ноги и руки красными, и их нужно было остужать на ветру.

Из затеи детишек ничего не получилось. Черная речка кипела, расшвыривала, перекатывала, уносила запруду.

Неудачливые рыболовы устали, нашли затишек у густых зарослей терна и бузины – на самом сугреве у пологого холмика. Сюда солнце щедро посылало лучи. Над землей поднимался легкий пар и улетучивался в пронзительно ясную синь неба.

Когда все разомлели от тепла, Али предложил:  
– Пошли в лес. Оленят посмотрим.

Дело привычное. Никто не отказался, хотя в лесу водились волки, медведи, вепри... Без них лес не был бы лесом. Необозримый, он накатывался от альпийских лугов, белых гор, перемахивал через Сунжу и уходил далеко за горизонт, раскачивался, шумел огромными вершинами разных деревьев.

Из леса еще не выветрилась ночная прохлада. Босые ребятишки отважно ступали по мху, валежнику, ковру прошлогодней опавшей листвы. Сразу же наткнулись на зайца, который, взрывая задними лапами ворох листьев, выскочил на них, а недалеко, за мелколесьем, полыхнул жарким пламенем пышный лисий хвост. Заяц безбоязненно постоял немного, затем прыгнул в кусты – и был таков!

– Во, зайца спасли, – обрадовался Али.

– Ага, – улыбнулся Хасин, – лисы испугался, а нас нет. Молодец!

Чем дальше отряд отважных углублялся в лес, тем труднее становилось пробираться. Бездорожье. Бурелом. Часто и намертво переплетались лозы дикого винограда, хмель, плети ожины с когтистыми шипами – крепче и надежнее рыбачьих неводов.

Но дети находили в этих зеленых неводах бреши, бесстрашно прыгали с поваленного дерева на дремучий валун и наконец-то добрались до прогалины, на которой увидели оленей. Сначала олениху. Из густой высокой травы иногда то там, то сям появлялись красивые головки оленят с острыми рожками и смешными, милыми, забавными острыми мордочками. Взрослый олень с широкими ветвистыми рогами, видно, глава оленьей семьи, высился поодаль, неподвижный, только ушами поводил. При виде ребятшек он не проявил никакого беспокойства. Но вот он чутко вытянул шею в сторону подступавшего к прогалине леса и вдруг с шумом, так, что гул прокатился в воздухе, сорвался с места. Ветви одного из деревьев заметались, и в дожде сбитых листьев ребята успели заметить вытянувшееся в полете тело животного.

– Акха цициг! – выдохнул Али. – Рысь!

Оленята сбились в кучу возле матери, под лохматой шапкой дуба. Но чуть тревога миновала – олень занял снова свой пост сторожевой, они стали прыгать, носиться взапуски. Ну точно, как ребята, играющие в лапту. Нарезвившись, они пососали у матери молока и начали носами ворошить прелую листву под дубом, искали свое лесное лакомство – желуди.

Время близилось к обеду, когда Али с друзьями вспомнил, что они не завтракали. Припасов из дому они не захватили. Духом, однако, не пали, зарыскали

по лесу и вскоре под ворохами прошлогодней листвы обнаружили груши, сочные, вылежавшиеся за зиму, не тронутые гнилью. Дикае кабаны не все успели съесть или перепортить.

Потом в расщелине расколотой молнией скалы напали на орехи. Слетели они еще осенью с деревьев, их прикрыли тяжелые лапы листвы. А может, белка какае впрок натаскала себе в дупло? Теперь ребята кололи орехи на камне, извлекали из скорлупы «золотые» ядрышки. Ежевику, малину ели.

А полдничали так, что им и не снилось. А все потому, что на них в лесу набрел Мажи, известный в Алдах и далеко за их пределами человек. Веселый, непоседливый, общительный. Ходил он всегда быстро, сверкал молодыми глазами, кинжал на поясе носил большой, а главное, играл на дечиг-пондуре – заслушивались все, сердцами прикипали к Мажи.

– А зачем ты в лесу, дедушка Мажи? – спросил Али.

– Ну, наверное, за тем же, за чем и вы. Люблю лес. В Чеберлое друзей проведаль, на дечиг-пондуре поиграл. – Мажи поправил инструмент, который свешивался у него с плеча. – Хорошо, что вас встретил. Веселее до Алдов будет добираться.

Мажи с каждым поздоровался за руку, как с взрослыми. Расспросил чем они в лесу занимались, с удовольствием угостился грушами и орехами. Похвалил:

– Джигиты! Ну, а фазана зажарим? – отстегнул от пояса птицу. – Молодой коршун заклевать заклевал, а поднять не смог. Я подобрал.

Вмиг под огромную лиану натаскали сухостоя. Мажи кресалом высек из камня огонь, раздул фитиль. Сухим порохом вспыхнули листья, затрещал хворост, и вот уже костер заиграл веселыми всплесками пламени.

Мажи отгрёб в сторону угли, кинжалом вырыл в земле яму, положил туда завернутого в лопухи фазана, снова засыпал яму землей и возвратил груды рдеющих углей на место. Костер запыхал с новой силой.

— Ждать надо, — сказал Мажи.

— Дедушка Мажи, ты видел в Чеберлое беглых солдат?

— Хорошие люди.

— А Джума сказал — они другой веры. Чужие они.

— Не чужие. Не понимаешь? Ну, как тебе сказать? Вот мы с вами по лесу бродим, грушу, орех едим. А в той земле, откуда сюда солдат пригнали, этого нет.

— Почему?

— У них все это отнимают плохие, злые люди. Такие, как инарла Потемка. Вот инарла чужой и солдатам, и нам. Подрости, Али, все поймешь, узнаешь. А пока подбрось в костер дровишек.

— Дедушка Мажи, — снова после долгого молчания подал голос Али. — Мой отец говорил, что ты старый. Сколько тебе лет?

— А сколько тебе?

— Не знаю.

— Вот видишь — моложе меня, а не знаешь. И зачем тебе знать, молодой ты или старый? Гляди на этот бук. Люди говорят, жить он начал пятьсот лет назад. Много это? Мало? Не знаю. Знаю, что за это время ушли, слава нашему богу, не в преисподнюю, думаю, а в рай один за другим пять моих прадедов и дед. А вот эта чинара... — Мажи указал на могучее дерево, ствол которого все дети и Мажи, взявшись за руки, не смогли бы обхватить. — Старики те, что постарше меня, говорят, что оно в четыре раза старше нашего бука. Ему две тысячи лет, а может, и больше. Живут бук и чинара, годов своих не счита-



ют. Так и я живу. Тружусь. На дечиг-пондуре играю, песни пою. Много их у меня – песен. Людям нравятся.

– Спой нам, дедушка Мажи, – попросили дети.

– Не откажусь. – Мажи взял инструмент, тронул пальцами высушенные струны, упругие жилы – бычью, оленью и горного тура. Колки подтянул. Прислушался как поют жилы. – А спою я вам новую песню о том, как сначала подрались, а потом помирились два хороших человека.

Мажи ударил по струнам. Али мог бы рассказать, как сначала слышал отдельно звуки струн, треск сучьев в костре, гул верхового ветра, многошумной листвы, немолчный птичий гам, лихой посвист скрипучего дерева невдалеке, говор ручья, раскаты то ли отдаленного грома, то ли снежного обвала в горах. Потом все это слилось в одно. Исчезли быстрые пальцы Мажи. Только дечиг-пондур живым человеческим голосом говорил:

Гремела слава по всему Кавказу  
Об удалом Ахмаде Автуринском  
И об армянке Ахчи из Кизляра.  
– Клянусь кинжалом я старинным! –  
Ахмад поклялся пред друзьями, –  
Добуду я красавицу ту Ахчи!..  
И день, не оглянувшись ни разу,  
На вороном коне, как ветер, мчался.  
А ночью, сняв седло для изголовья,  
Ахмад уснул мертвецки в диком поле.  
С ним рядом лег, не изронив ни слова,  
Казак, сын буйна Терека и воли.

Над костром, под синими трепещущими крыльями пламени, воздух плыл маревом. И в нем Али ясно видел Ахмада на вороном коне. Слышал беш-

Мечами встретим их!  
Даем в том клятву!

. . . . .  
И увезли в Чечню армянку Ахчи...

Заключительные слова песни заставили Али и ребяташек прыгать вокруг костра и повторять:

И увезли в Чечню армянку Ахчи...

Мажи в последний раз ударил по струнам, мудрыми веселыми глазами окинул ребяташек и, изобразив на лице испуг и отчаяние, всплеснул руками:

– Фазан!.. Совсем пропал фазан! – и разворошил костер.

От горячих, сочных, потемневших лопухов исходил парок. Ну а фазан? Во рту таял! Али больше никогда не приходилось есть такого вкусного мяса. Умел Мажи и песней душу пронять и угостить вкуснейшим мясом.

Вот что мог рассказать Али своему отцу. Не пришлось...

## МИТРИЧ

– А по донесении кабардинского князя Баматова, – диктовал Потемкин, – ведомо: «Ежедневно почти из Кабарды горной народ выбегает, принося жалобы на владельцев и узденей в притеснении ими чинимом, просят и защиты, и позволения здесь остаться...». Полагаю: сие для отечества – польза.

Военный писарь скрипел пером, едва поспевая за генералом.

– Требуются суровые марциальные законы. Оные при восстании черни, равно азиятов, крайне полезны. – Закончил эту мысль и подумал: «Сие приго-

дится для описания кавказских народностей. Рукопись почти готова». — Пиши далее. «Паче всего...»

Перо сильно скрипнуло, скользнуло и оставило на бумаге большую кляксу. Писарь от испуга съежился.

— Болван! — Генерал наотмашь ударил писаря, у того пламенем щека занялась. — Рот закрой! Вонь злая от тебя. Луком, табачищем прет! С глаз долой!

Не ожидая повторения приказа, писарь угрем скользнул в низенькую дверь.

Потемкин открыл окошко. Свежий воздух ворвался в хату. Стало легче дышать. Генерал с утра не в духе. Нерасторопны люди. Один Пъери под Алдами загубил роты Томского и Терского полков, астраханскую, гвардейскую, кабардинский батальон, сотню терских казаков! Потеряли две пушки!

В дверь постучали.

— Кто там ломится?

Перед Потемкиным вытянулся сияющий командир казачьей роты Тимофей Крючков.

— Ваше сиятельство, дозволейте доложить. Вверенные мне силы разгромили значительные силы горцев. Я взял в плен беглого преступника, бывшего рядового ее императорского высочества пехотного полка Мирона Лапина, а мой брат Арсений — чеченец. Докладывает...

— Как это получилось, братец?

— Настигли мы их, ваше сиятельство, у самой лесной чащи, заманили в образовавшееся после разлива Сунжи болото, как сазанов в вентерь. Там я сцепился с Лапиным. Он, известно, здоровый, силы бугайной, да еще склизкий от болотной тины. А мой брат Арсений с чеченцем возжался. Отчаянная башка чеченец-то, злой волк. Он чуть было братухе моему шею не свернул. Шашку Арсений свою сломал, малость гололобому лицу посек... Обратали мы их.

– К Георгию представлю обоих.

– Рады стараться, ваше сиятельство. Живота своего не пожалеем!.. – гаркнул Крючков.

– Показывай пленных.

... На крепостной площади уже толпились сбежавшиеся отовсюду офицеры и солдаты.

Безжизненные тела Мирона Лапина и чеченца лежали на середине плаца. У Мирона голова разбита, лицо в чугунно-синих подтеках. У чеченца лицо посечено. На обоих – клочья одежды. На ногах, у самых лодыжек, петлями завязаны толстые веревки с длинными концами.

– Ваше сиятельство! – Крючков забежал наперед. – Мы их, как сазанов на кукане, семь верст волокли. Гы-гы! – и осекся.

Старый солдат Митрич хмуро окинул взглядом «сиятельство», Крючкова, сдернул бескозырный картуз, опустился на колени, неторопливо положил на глаза Лапина и чеченца медные копейки, истово перекрестился, осенил крестами лежащих, упокоил им на груди руки, каждого в лоб поцеловал.

– Мученическую смерть приняли рабы божьи, – сказал он. – Прости, Мирон Лапин, нас грешных, коли в чем провинились перед тобой. И ты, раб божий, хоть и не вижу на тебе креста христианского, не погневись на нас. Пусть снизойдет на вас благодать господня. – Скупая слеза скользнула по щеке Митрича. – А ты, казак... – Встал Митрич и в упор посмотрел на Крючкова. – Загубил души и скалишься. Натальный крест на убивце, хриstopродавце. Дозвольте, ваше сиятельство, нам, солдатам, предать убиенных земле, позвать священника со святыми дарами.

– Не убивец я!.. Не по чину говоришь! Зарублю! – схватился Крючков за эфес пашки, но так и не посмел выдернуть ее из ножен...

За долгую свою жизнь Потемкин немало повидал убитых. С годами свyksя с этим, очерствел душой. Через врага – переступал, перед соотечественником – крест иногда вершил. И все! Без особых переживаний. А тут... Беглый преступник неведом ему, в глаза не видел горца. А сердце почему-то защемило. Первым порывом души было: разрешить похороны. Но тут же генерал спохватился: да это же бунт! Они же, солдаты, сочувствуют и беглому, и чеченцу! Жалостью своей оправдывают их!

– Другие похоронят, – буркнул угрюмо. Золотые эполеты на его плечах шевельнулись как собачьи головы. – Командир казачьей сотни и похоронит.

– Рад стараться, ваше сиятельство!

– Без почестей, без священника! – тучей чернел Потемкин. – Разойтись! – и тяжелой походкой направился в хату.

– Мы сами похороним! – неожиданно вырвалось у Митрича.

Потемкин резко повернулся и велел:

– Командиру Крючкову взять этого дерзкого солдата под стражу! Да глаз не спускать! Бунт непотребен!

Уединившись, Потемкин вышагивал как на плацу во время военных парадов: глинобитный пол, покрытый кошмой, дрожал. Генерал был взбешен. Где-то в глубине души чувствовал превосходство над собой дерзкого солдата, положившего на глаза пленных медяки. Ладно бы, если б все закончилось этим. Но солдат явил еще и пример неслыханного непослушания! Кому? Самому главнокомандующему Кавказской армией! За это следует примерно наказать, дабы неповадно было другим становиться на стезю непокорства...

Кек, Пьери распустили людей. Здесь не на кого опереться. Довериться некому. И молодежь ныне пошла — хуже некуда. Взять подпоручика Николая Раевского. Исполнителен? Да. Но в нем дух ярыжный. Вот солдат пожалел, беглого преступника и чеченца. А что проповедует? Сколько уже было случаев: оружие у пленных отберет и отпустит. С солдатами якшается. Придумал какие-то ланкастерские школы. Разузнать бы кто Ланкастер? Не англичанин, что ружье придумал отменное? Коли так, то и занимался бы Раевский ружьем Ланкастера... Поживет — поймет: книги для черни — язвы вольномыслия. Только и спасает Раевского, что он ему, Павлу Сергеевичу, дальним родственником доводится. И не седьмая вода на киселе. Мать Николая Николаевича — племянница Георгию Александровичу Потемкину-Таврическому. А слух такой достиг и ушей Павла Сергеевича: вовсе и не племянница она Георгию Потемкину, а родная дочь ему, и, страшно сказать, императрице Екатерине.

Коли это так, то кем же доводится тогда Николай Николаевич императрице? Генерал поежился от этой мысли и решил: не гоже тягаться с Раевским, врага в нем наживать. Пусть тешится себе ланкастерскими школами. Пока. Он, Потемкин, постепенно отлучит солдат от того Ланкастера. А Раевский сам с годами освободится от пустой блажи развращать солдат, учить их: «Щадить надо горцев, просвещать». Тогда грамоту — и папуасам, и неграм — рабам североамериканцев? Нет, тут только как с Пугачевым — марциальные законы силу и власть имут...

Вспомнился генералу молодой Гавриил Державин. Тоже ратовал: с повстанцами, с пугачевцами, де, мягче нужно. Русские, башкиры, киргизы ли — не все они одинаково повинны. Есть и такие, кого ща-

дить потребно. А их, пугачевцев, всех под корень надо было изничтожать! Жалость – слабость. Потемкин ходу тому Державину не давал, чинами, елико возможно, обходил. А чего добился? Державин нынче на Парнасе царствует!

Именно в это время ему доложили, что Раевский просит аудиенции.

– Ваша светлость, – Раевский сразу приступил к делу, – за арестованного солдата прошу.

– Смутьяна? Не в твоей ли ланкастерской школе он крамольных настроений набрался? Не арестовать – на лобное место его!

– Ваша светлость, осмелюсь заверить вас, он не заслуживает сурового наказания. Доброты и послушания – необыкновенных.

– Бог мой, откуда тебе это известно?

– Моя матушка, Екатерина Николаевна, в первом замужестве Раевская, ныне – Давыдова, когда мне и года не исполнилось, приставила этого солдата, нашего крепостного, ко мне дядькой.

Потемкин крикнул, отстучал на столе бравурный марш, сопроводив его скороговоркой: «Трум-тум-тум, трумту-тум!» и сказал:

– Тлеть бы твоему дядьке в одной могиле с беглым преступником да чеченцем, да уж ладно – забирай. Да вели ему, чтоб на глаза мне реже попадался. Да гони его с Кавказа поскорее. Пусть в Каменке фордыбачит. Да пусть Екатерина Николаевна на конюшне задаст ему порку за то, что он надерзил главнокомандующему Кавказской армией.

– Благодарю, ваша светлость, – Раевский откланялся.

Потемкин посидел немного, затем открыл «Молитвослов» Почаевско-Успенской лавры и стал читать вслух тропарь: «Пречистому твоему образу пок-

лоняемся, благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе боже...». Забормотал: «...да избавиши, яко создал еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием ти...». И загремел:

– Писарь! – Когда тот влетел в хату, поморщился: – Ух и зло смердишь, аки пес. Ты хоть морду в сторону отвори. На чем остановились там? А, вспомнил... Кляксу уберешь. Нет, заново, каналья, перепишешь, перебелишь. С пакетом ротмистра Ржевского отправим. Предупредишь его... Пиши.

Он сообщал о разбитых и рассеянных за Тереком и Сунжей «скопищах татар», спускавшихся с гор.

Писарь часто с ожесточением запускал перо в рыжие волосы, будто нестерпимо зудела кожа на голове. На самом деле перо чистил, лохмы местами были черными от чернил.

Обычно Потемкину легко давались реляции. Сегодня же слова ускользали песком, исчезала связь, раздражали запах писаря и скрип пера – словно штопором по стеклу елозили – туда-сюда: зскрр-зскрр... Морозец спину покусывал. А все оттого, что перед глазами генерала возникали то Митрич, то, опять же, как и перед докладом Тимофея Крючкова о пленных, Гавриил Державин.

...Главнокомандующий граф Панин, сидя в сентябре 1774 года в Симбирске, со дня на день ожидал поимки Пугачева. Первым жаждал сообщить об этом императрице. Тут Потемкин и обошел его... Из Казани снарядил с небольшим отрядом молодого офицера Гавриила Державина в заволжские степи, на реку Ирғиз. В путь наставил так: «Буде на то возможность – изловить злодея Емельку». «Изловить» не довелось: богатые яицкие казаки, спасая свои животы, связали и привезли Пугачева в Яицкий городок. Первым об этом узнал Державин и рапортовал не графу Пани-



ну, а Потемкину, который сию секунду – гонца в Петербург. Закладывать на ямщицких станциях лошадей не пришлось: у Потемкина они наготове стояли там от Казани до стольного града империи. Кому от царицы досталась первая честь: золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, высокий рескрипт о повышении в воинском чине?

Графа Панина чуть удар от того не хватил. Рассвирепев, он припомнил Державину все его прежние вины и пригрозил повесить рядом с Пугачевым. Потемкину слово бы замолвить за своего офицера, но он рассудил по-своему: поделом строптивцу. Если не повесят, то душу как следует потрясут. Польза для отечества – и в том, и в другом разе. Отстоял себя Державин сам, как то не единожды и впоследствии приходилось ему делать.

А Митрич, имя которого генералу было вовсе незнакомо, появлялся то коленопреклоненным на площади Екатериноградской крепости, то во весь рост. В обоих случаях – большой, силы самсоньей, Еруслан Лазаревич. Ведомы ли ему страх, смирение, покорство? Вот же безбоязненно смотрел на него – генерала, грозу армейских и гражданских чинов Кавказа, всех этих Кеков, Пьери! Рухнул на колени не перед генералом, а перед убиенными. Быдло перед быдлом. После ареста только взглядом полоснул генерала – стужадохнула. Ни на синь-пороха раскаяния. Потемкин люто ненавидел, презирал плебеев, солдата, крепостных и все ж каким-то внутренним чутьем угадывал, понимал: сила армии, державы в таких мужиках, непокорных, бунтующих, бесстрашных. И несть им числа, несть конца и края. Иногда в душу генерала заползал страх: а есть ли вообще на свете сила, способная справиться с крамолой, с мятежными страстями народа? Это же как неуправляемая

стихия: гроза, штормящее море, землетрясение...  
Нешто их остановишь?

И от этих мыслей еще более лютовал. Не миновать бы Митричу беды. Обратись к генералу Кек или Пьери с просьбой помиловать солдата, наверняка последовал бы отказ...

Реляция в Санкт-Петербург у Потемкина не получалась. И генерал не знал, когда же он закончит ее...

## МАЛЕНЬКИЕ ПЛЕННИКИ

Минули сутки, другие. Алхазур, отец Али, и Джума, отец Хасина, не возвращались в Алды и вестей о себе не подавали.

Две ночи Али провел один в пустой сакле, на третью — перебрался к тете Асме. Он не предполагал, что эта ночь будет для него в Алдах последней, что скоро он окажется в чужом, неведомом краю и не будет знать, вернется ли когда-нибудь сюда.

Спал он плохо, все прислушивался, не раздадутся ли знакомые шаги отца. Лес вокруг аула смятенно гудел, умножал не только рокот Сунжи, но иногда протяжно охал, и от этого по нарам пробегала дрожь, а на деревянных полках тонко и жалобно позванивали глиняные кувшины.

Али спрашивал Асму:

— Почему лес шумит-шумит, а потом вдруг застывает? Сильно-сильно? И сакля дрожит.

— Зуда-паччахь прислала инарла Потемку с большой пушкой.

— Они злые — зуда-паччахь и инарла Потемка?

— Злые.

— Не боюсь я их, — храбрился Али. А сам теснее прижимался к Асме.

– Не бойся, мальчик, – Асма прикрывала его и своих детей овчинным полушубком.

Ночной мрак лохматым медведем заползал в саклю, наваливался на Али, и он испуганно вскрикивал:

– Не боюсь! Дада, где ты? – и горячими ручонками хватался за Асму.

Женщина тоже всю ночь не смыкала глаз. Она была готова при малейшей опасности заслонить собой детей или бежать с ними в лес, как молодая олениха со своими оленятами.

Взошло солнце. Али с Хасином на скорую руку позавтракали ячменной лепешкой, запили кружкой парного молока – и за дверь.

– Не лезьте на глубинки, – предупредила Асма. – И далеко не уходите. В случае чего – бегом ко мне.

Но Хасин и Али уже не слышали ее. Кривым сучком улочка, а потом Черная речка уходили к Сунже.

Над саклями курились мирные дымки. В воздухе разносился дразнящий запах поджаренных кукурузных лепешек. Женщина прямо на улице доила корову. Та мычала, норовила уйти к стаду на краю аула. Мажи тянул бревно, выловленное им из Сунжи. Мокрые шаровары его были высоко задраны. На белых ногах Мажи блестели капли воды. Старик сдвинул косматую шапку, обнажил лоб с глубоким шрамом – след схватки Мажи с лесным медведем в молодости.

– Купаться? – поздоровался он за руки с мальчишками. – Нынче Сунжа злая, воды много.

– А мы не боимся, – сказал Али.

– Настоящие джигиты ничего не боятся.

На том и расстались ребяташки с Мажи. У самой Сунжи из зарослей орешника вышел незнакомец, поманил мальцов пальцем. Мальчики знали в Алдах всех наперечет. Этого не встречали. На всякий случай отступили на безопасное расстояние.

– Чего испугались? – порылся в карманах и протянул белый камень. – Гостинец. Руки прячете? Ловите, – бросил. – Это не отрава. Отцы ваши дома? Мужчин в ауле много? Чего не отвечаете? Глухонемые? А, вы просто трусы.

Такого оскорбления мальчишки не могли стерпеть.

– Сам трус! – сердито сдвинул брови Али. – Мы даже инарла Потемку не боимся.

– Слышу слова мужчины. Покажите мне дом хотя бы одного мужчины, ну хотя бы старика, с которым вы только что разговаривали. Его-то вы знаете?

– Не знаем, – за двоих ответил Али: любой житель в Алдах с младенческих лет до самого смертного часа не должен был отвечать чужому на такие вопросы. А вдруг чужой пришел с черным сердцем. Вдруг это кровник Мажи! Надо предупредить старика.

И «чужой» прекрасно это знал.

– Не хотите отвечать и не надо. Найду сам. До свидания, – и стал подниматься улочкой, по которой плыл кизячный дым и запах парного молока.

Мальчишки смотрели ему в спину, пока он не скрылся из виду. Али нагнулся было за белым камнем с синеватым отливом, чтобы швырнуть – далеко ли полетит? Но Хасин опередил его, повертел в руках, потом из любопытства лизнул:

– Сладкий!

Так мальчишки впервые в своей жизни попробовали сахар. Не знали они, что дал им его лазутчик генерала Потемкина. Сгрызли сахар, прибежали к Мажи. Так, мол, и так, спрашивал его чужой. Мажи поблагодарил. Приготовился встретить гостя, но так и не дождался его ни в тот день, ни позже.

Ребята купались в разгулявшейся Сунже. Густой лес раскинулся по берегам реки, и мальчишки хватались за ветви, достававшие воды, и испытывали ра-

дось от того, что вода вокруг вспенивалась, кипела, бурлила. Они завизжали было, а потом оробело притихли, увидев, как на другом берегу пил из Сунжи медведь. Затем он почему-то шарахнулся в чащу. В ветвях над Сунжей загомонили птицы. Особенно тревожно перекликались сороки. Раньше такого Али не замечал.

Накупавшись до синих пупов, друзья побежали в сад Джумы.

– Натрасу тебе тутовника, – предложил Али Хасину.

– На дереве вкуснее, – занял товарищ.

– Отец тебя хворостиной.

– Он никогда не бьет и не узнает.

– А что твоя нана вчера сказала? «Убьетесь, последний раз предупреждаю. Ослушаетесь – отцу скажу».

– Может, не скажет? – с надеждой спросил Хасин.

– Ну, ладно, подсажу.

Они забрались в самую гущину. Оттуда было видно тетушку Асму. Она стирала на плоском камне у Черной речки детское белье. Страхи мальчиков быть застигнутыми Асмой улетучились. Ничего, казалось, вкуснее, чем ягоды тутовника, сейчас для них не было. О сахаре они уже позабыли. Сочные, крупные тутовинки, сизые, будто жареной кукурузной мукой посыпанные, – вот они, одна лучше другой.

Шелестят под легким ветром, зеленью на солнце блестят листья. Петух на плетне кричит, время отсчитывает. И над всем: над аулом, над лесом, над Сунжей, кусочек которой виден мальчикам, – веселое, звонкое утро. Только поближе к горам наползает черное облако, и лес из сине-зеленого становится черным. Впрочем, всего этого дети не замечают. Они едят тутовник.

Внезапно воздух разорвало свистом, что-то трянуло дерево, так, что градом посыпались ягоды, а посредине улочки, похожей на кривой сучок, вырос куст пыли с огнем. Петух, только что хлопавший на плетне крыльями, готовясь прокричать свое урочное «ку-ка-ре-ку», упал камнем в куст. Стайка воробьев ошалело, с шумом пронеслась над тутовником, охнули лес, Сунжа, небо. Над аулом то там, то тут вспухали белые облачка. Надрывно залаяли собаки, заржали лошади, замычали коровы, слышались людские голоса:

– В лес! Все уходите в лес!

В улочку вынесся всадник на огненной лошади.

– К оружию! – размахивал он маджарой. – Все, кто способен, к оружию!

– Хасин! Али! – выбежала из сакли Асма, а вокруг нее в кучу сбились дети. – Да где же вы, Али, Хасин? Господи, не дай нам погибнуть! – она увлекла за собой детей.

– Слезай, Хасин, догоним!

Малыш сначала окаменел, потом проворно начал спускаться, оступился и повис на суку.

А над аулом уже раскатывалось «ура», рассыпалась частая барабанная дробь. На улочке замелькали белые рубашки солдат.

– Не хнычь, Хасин, – попросил Али.

– Упаду!

– Потерпи, я сейчас сниму, – Али дотянулся рукой до Хасина, начал тянуть – ничего не получалось. – Потерпи! – Али сделал передышку и увидел, как из сакли Джумы вылетали ребячьи штанишки, рубашонки, одежда Джумы, потом показался солдат.

– Нашел что-нибудь, Липат? – спросил его подошедший усач.

– А ничего, Митрич. Старье, рвань. Голь перекатная, видно, такая же, как мы с тобой. Чем бы по-

живиться? Хоть бы на шкалик у маркитанта раздобыть. — Он посмотрел по сторонам. — А это что там на тутовнике белеет? — побежал, держа ружье наизготовку. — А ну-ка слазь! — грозно закричал. — Кому говорю: слазь! Фу ты, дьявол их побери, мальчонки!..

За спинами солдат простучали подковы.

— Дети вот, — в струнку вытянулся Митрич.

— Снять пленников и — в Екатериноградскую, — приказал всадник.

Липат — делать нечего — полез на дерево. Али с отчаянием вцепился в рубашонку Хасина, чтоб освободить его. Хасин, хватаясь руками за воздух, закружился, выскользнул из рубашонки и забился пойманным в руках Митрича.

— Не бойся, галчонок.

Хасин не понимал, что ему говорят, но в голосе солдата не было угрозы, и малыш постепенно успокоился. Так, по крайней мере, показалось Митричу.

— Сорвется же, сердечный, — сокрушался Митрич. — Эй ты, голубь, слезай. Зла тебе не будет.

Али не поддавался уговорам. Лишь, когда Хасин сказал: «Али, мне одному страшно, иди ко мне», — слез, стал рядом с Хасином и взял его за руку.

— Бежим! — неожиданно рванул Али товарища за руку.

Не успели они добежать до родного поваленного плетня, как Митрич догнал их. Али визжал, царапался, изловчился и вцепился зубами в руку Митрича.

— А, зубастый, — еле оторвал Али от руки, потеряв ее, улыбнулся. — Да разве ж так кусают. И куда вы бежали? Там же стреляют. Ненароком и подстрелить могут. Как галчат. А что, Липат, может, отведем этих бесенят подальше в лес и отпустим?

— Поручик спросит: куда дели? Приказано же: пленников в Екатериноградскую.

– Боже ж мой, пленники – курам на смех.

...Через Сунжу переправляли захваченное стадо.

Митрич и Липат несли на руках смертельно уставших детей.

– Божье творение, – ворчал Митрич, – глядя на Али. – Вот мы стреляем, в нас стреляют. А при чем тут дети – ангельские создания.

– Дети, они же после нас жить будут, – отвечал Липат. – А для чего? Друг в дружку стрелять? Бесмыслие и суета сует это. Господи, вразуми людей.

Солдаты возвращались весело. А о своих убитых говорили даже с какой-то завистью. Митрич гудел басом, но это не нарушало сна Али:

– Теперь Никифор Бережной в раю, кисель пригоршнями глотает, хлеба белого у него мешок, портянки новые, каша в подсолнечном масле плавает.

– Да, – подхватил Липат, – Никифор – счастливый. А нам – каторги горше. Сколько тебе еще, Митрич, служить царице?

– Уже три года здесь. Еще, значит, двадцать два. Ох, как там дома, на Полтавщине моей?

– А мне, Митрич, поменьше: шашнадцать.

– Счастливый.

– Как утопленник в омуте. Из омута рвусь, а он меня на дно тянет.

Вдали завиднелись силуэты Екатериноградской. Вот и крепостной вал, низенький домишко под камышом. В окошке затеплился свет.

– Николай Николаевич светильник запалил, – сказал Митрич.

– А чего в набег он не пошел?

– Болячка какая-то в ухе.

– Семнадцатый годок ему. А уже чином высок.

– Приставили меня дядькой к Николаю Николаевичу, как он только родился. Записали его в гвар-



дейский Семеновский полк. В три года он уже был сержантом, в пятнадцать – прапорщиком. Так до подпоручика и дорос.

Сам Николай Николаевич в это время, лежа на жесткой кровати, дочитывал французский роман. Но вот грянула солдатская песня. Раевский понял: войско возвращается из удачного набега. Он накинул на плечи шинель и поспешил во двор крепости.

## В КРЕПОСТИ

На плацу горел костер. Свет от него выхватывал из темноты солдат, сушивших мокрые штаны, онучи.

– Где же пленные? – спросил Раевский.

– Ваше благородие, вот они, – Липат указал на детей.

– Срамно пленными называть детей, – сказал Митрич и поведал Раевскому, как взяли мальчиков.

– Храбрые, видно, ребята?

– Истинно так, – восхищенно подтвердил Митрич.

– Отпустить их надо было.

– Приказ сполняли, ваше благородие.

– А расспроси их, пожалуйста, – Николай Николаевич обратился к толмачу, – не братья ли мальчики? Кто их родители? Словом, постарайся все узнать.

– Я сегодня, ваше благородие, утром с ними в Алдах встречался. Спросил кое о чем. Отказались отвечать.

– Что ж, это их право – молчать.

Тут прибыла новая партия солдат во главе с ротмистром Ржевским с двумя детьми. Кроме того, уже под самой Екатериноградской они наткнулись на горцев, похитивших, как выяснилось, останки чеченца и Мирона Лапина, чтобы похоронить их у себя. В

стычке у Ржевского четыре нижних чина тяжело ранены, три горца взяты в плен.

Один из них, с обнаженной бритой головой, с расплосованным надвое бешметом, со связанными руками, как только очутился на площади крепости, прыгнул к костру и плюнул на толмача, закричав:

– Шакалом сдохнешь! Не я – народ на тебя плюет!

Никто еще ничего не понял, но солдаты оттеснили пленного, который успел-таки еще раз плюнуть.

Толмач схватился за кинжал и бросился на пленного. Его опередили Али и Хасин, подбежавшие к пленному.

– Дада! Дада! – захлебывался слезами Хасин.

– Дядя Джума! – крикнул Али.

– Толмач, стыдитесь! На безоружного? Со связанными руками? – остановил Николай Николаевич.

А дети волчатами прижались к пленному, как к большому взъерошенному волку.

– Заступился, – шептал Митрич, – потому и люб ты мне, Николай Николаевич. Благодарю бога, что он послал мне тебя.

Джума от неожиданной встречи с сыном и Али присел и, не сдерживая себя, прильнул, как то позволено лишь женщине-матери, к своему сынку, к детишкам. И, совсем уж непозволительно для мужчины, у него, как успел заметить Митрич, блеснула на глазах слеза. Но вот Джума тряхнул головой, глаза его отыскивали толмача, снова загорелись ненавистью и гневом:

– Будь проклят ты и род твой, презренный раб, помесь собаки и змеи! Я знал тебя! Другом прикидывался!..

Толмач, пожирая глазами Джуму, отступил в темноту.



— Оставь его, Джума, — сказал один из пленных. — Если он ни на что дельное не способен, пусть служит гяурам. Волку шакал не товарищ.

Раевскому стало известно все это от другого толмача.

Дети все еще прижимались к Джуме. Но вот он чуть отстранил их от себя и сказал:

— Али, ты уже взрослый. Вернее: пора тебе стать взрослым. Слушай же: нет больше твоего отца. Как и матери. Мы все с тобой печалимся.

— Как нет? — не понял Али.

— Его убили по приказу инарла Потемки. Отец твой храбро сражался вместе с русским солдатом. Оба они погибли в бою. Оба будут похоронены в горах.

— Как убили? — лицо мальчика помертвело. — Зачем убили? Как же я теперь буду без него?

Али упал, забился в плаче. И сквозь слезы повторял: «Отомщу!». Сначала шепотом, потом, когда слезы враз высохли, громко.

Пленные не утешали мальчика, сурово молчали.

Молчали и все на площади. Только Митрич не выдержал:

— Бедная сирота. И почему сызмальства муки? Тяжко на свете жить. Кто с лаской и любовью к сердцу прижмет малыша?

Решение взять на воспитание мальчика у Раевского возникло внезапно. Он подошел к Джуме и сказал:

— Я возьму этого мальчика. И других мальчиков русские заберут.

— Толмачей хочешь из них сделать? — свирепо сверкнул глазами Джума. — Я знаю: все мы умрем. Пусть и дети с нами умрут.

— Поверь мне, храбрый воин, я плохого не сделаю.

– Кто ты?

Раевский назвал себя, не думая, конечно, что имя его, что-то скажет горцам.

– А, – вдруг смягчился Джума. – Дай подумать. Посоветоваться. Палку в огонь брось. Догорит – ответим.

Пленных увели в сарай. Слышно было, как они скупно, перебрасывались словами, а больше молчали. Палка догорела – Раевский с толмачом вошли в сарай.

– Слышали мы о тебе, юный воин, – сказал Джума. – Вот этого, – он ткнул в соседа пальцем, – ты брал в плен. Отпустил, оружие только отобрал. Он на тебя за это в обиде. Говорит: лучше бы ты глаз у него взял. Он простил тебя, сказал: ум приходит с бородой. Совсем плохо, когда инарла Потемка и бороду имеет и расстреливает. Мы решили так: ты скажешь слово – мы тебе поверим. Отвечай: ты уважаешь шакала толмача? Нет, не этого, что привел сейчас.

– Он преданно служит России.

– Ты не ответил.

– Я не уважаю его.

– Ты сказал правду. Мы это видели: ты не дал ему зарезать меня, и он, как паршивый шакал, уполз в темноту. Ты обещаешь не делать из наших детей врагов нашего народа?

– Обещаю.

– Мы верим тебе. А теперь поклянись именем своего бога, что не испортишь наших детей.

– Клянусь именем своего бога: я все сделаю, чтобы каждый мальчик стал достойным тебя, Джума, и твоих лучших друзей.

– Мы верим тебе. А теперь возьми этого мальчика. Других отдадим тебе утром. Дай нам перед смертью побыть с ними. Иди, Али, и помни, что мы

тебе говорили. Иди смело, сын Алхазура. Этот русский мне нравится.

Али понимал: Джума не обманет. И пошел. Шагнул не без боязни, как в дремучий лес, как в мрачное ущелье. Он шел и повторял в уме слова, сказанные Джумой. На всю жизнь врезались они в его память, как письмена, выбитые человеком на камне. Они, эти письмена на камне, не превращаются в прах, день им от роду или тысячи лет.

— Али, Хасин, сын мой, дети, — говорил Джума, — вы еще малы и многого, наверное, не поймете. Но все равно запоминайте, что я скажу вам. Вас увезут русские в Россию. Это очень далеко. Мы не знаем, как далеко и какая она, страна эта: там никто из нас не был. Но мы знаем, что и там есть люди, как этот русский молодой офицер, который хочет забрать Али. Будут, наверное, и плохие. У таких не учитесь. Не ходите по земле с позором за пазухой. Будьте чеченцами, как Алхазур, отец Али. Не станьте шакалами, как толмач или Потемка. И тогда вам в горе и радости не будет стыдно смотреть людям в глаза. Я все сказал? — Джума обернулся к товарищам.

— Все, — ответили ему.

Али не сопротивлялся, когда Николай Николаевич у себя, в домике под камышом, дал ему ломоть хлеба и кружку молока и, все что-то говоря, легонько похлопывал по его плечу. Раз даже погладил по голове, но Али отстранился. Самым удивительным для него было то, что он не понимал ни одного слова из тех, какие произносил офицер. Вода на перекатах Сунжи тоже безумолчно шумела, а о чем, Али, сколько раз ни прислушивался, не разобрал.

Николай Николаевич постелил мальчику на сундуке. Али мгновенно уснул и проспал без сновидений до завтрака.

Напрасно он ждал Хасина и других мальчиков. Николай Николаевич ходил мрачный, чем-то озабоченный. А вся крепость бурлила до поводу ночных событий в Екатериноградской.

...Уложив Али спать, Раевский написал генералу Потемкину рапорт с просьбой отдать ему, подпоручику, на воспитание Али. Посыпал бумагу песком, страшнул его и тоже лег спать.

Проснулся Мальчик от топота, резких криков команды. Взволнованный Митрич вбежал в хату:

– Ваше благородие, пленные бежали!

В считанные секунды Раевский оделся, опоясался саблей, захватил два заряженных пистолета. Во дворе – ни зги не видно. За валом – отдаленный топот, переклики голосов.

Выяснилось: незадолго до рассвета пленные бесшумно сняли часового, ружье унесли. Выдала их на валу собака, залаяла, увязалась было за беглецами, но вскоре взвизгнула и затихла. На валу не придали этому значения: здесь нередки были случаи, когда забредавшие волки могли и овцу и пса зарезать. Хватились при очередном разводе постов, наткнувшись у крепостной кутузки, или, как ее по-станичному называли, тигулевки, на связанного часового с кляпом...

Крючков с десятком «охотников» вынесся за вал. Храпя и шараясь, кони проскочили мимо бездыханной крепостной собаки. Утренняя степь с тяжелыми от ночной росы травами, с кулигами серебристого полыня и лиловых лазориков сохраняла следы...

Бежавших настигли у самого леса. Джума, прикрывая отходивших в лес, подранил двух «охотников». Крючкову левую щеку пропахал пулей, кость задел. Вреда, правда, большого не наделал, зато кровищи выпустил – до самой Екатериноградской хлестала, выжелтила правую щеку.

Крючков не охнул, рану не прикрыл, левый глаз сам от ожога прижмурился, правый по длинному стволу ружья шарил и нащупал – навзничь грохнулся Джума, слова не успел сказать товарищам, подхватившим его на руки...

Лес для горца – дома родней, казаку – там капканы всюду мерещатся. Не сунулся в лес Крючков.

Потемкин, отлучавшийся накануне в инспекционную поездку по укрепленной линии, возвратился утром. Досталось всем.

Полковника Кека отпаивали дома валериановым корнем. Офицеры порознь входили, каблуками отщелкивали стойку «смирно», тянулись перед Потемкиным во фрунте. Все узнавали, где раки зимуют.

Одному Тимофею Крючкову, с замотанной в холстину щекой, генерал из собственной табакерки – подарка императрицы – нюхательного табака щепоть сунул. Крючков бесовское зелье потом выбросил, выслушав главнокомандующего:

– С Георгием – погоди. И брату своему то скажи. Службе вы преданы, проворны, лихи. А в лес татарам дали уйти. Изловишь изменников – сотоварищей Лапина – быть тогда тебе георгиевским кавалером.

Вызвал Потемкин и Раевского.

– Молод, зелен, – начал он отеческим тоном. – Оскудевает род дворянский. Что будет после нас, старой гвардии? Нет в тебе алмазной твердости. Мягкости к солдату, к противнику – избыток. Тимофей Крючков из подлого рода, а...

– Ваше сиятельство, я не позволю, – поднял голову Раевский, – сравнивать себя с пресмыкающимся. Командир казачьей сотни более всего в ответе за все происшедшее, жесток с подчиненными, особенно с пленными. И, наверное, хорошо поступил, что прошлой ночью посты не обеспечил... Я свое мнение письменно...

– Замолчите, подпоручик!

– И с каких это пор грязные руки и совесть в чести у России? – не сдержался Раевский.

– А вам бы хотелось воевать в белых перчатках? Тимофей Крючков нам нужен. Исполнитель. Лют к врагу.

– Скорее подл к врагу, к людям.

– Ладно, не будем ссориться, подпоручик, – сдался вдруг самолюбивый Потемкин. – Я человек военный, секу беспощадно саблей и словом. Не хотел бы, подпоручик, чтобы меж нас пробежала черная кошка. Зачем вы ко мне с этим рапортом?

– Я воспитаю мальчика.

– Пустое дело затеяли. Сколько волка ни корми – он в лес смотрит. Только лишь из уважения к вашей матушке быть по сему: владейте татарчонком. А по мне: лучше обезьяну бы завели.

– Каждому свое, – сдержил Раевский.

Генерал ничего не ответил, только сердито ворохнул бровями.

Очень неприятным открытием для него сегодня было то, что мальчик, о котором хлопотал Раевский, был, оказывается, сыном чеченца, которого Крючков доставил вместе с рядовым Лапиным.

Гарнизонные добродееи донесли: мальчик видит в нем, Потемкине, виновника смерти своего отца. Толмач, оплеванный Джумой, решился сообщить: мальчишка, де, грозился: «Отомщу!». И добавил: «Кавказцы мстительны».

Генерал посмеялся. А в душе заскребло: «Не хватало мне еще и мальчишки в сонмище моих врагов».

Толмача из горцев при своей особе Потемкин жаловал, бывало, медным пятакон или чаркой водки. И все же презирал: ушел от своего народа – предаст и Потемкина. Предупреждение о мстительности кав-



казцев все же дурно подействовало на настроение генерала, как скверная погода. Обычай кровной мести – главная заповедь горцев. Только ли у них? Даже у цивилизованного народа, итальянцев, живуча кровавая вендетта. А тут – дикари. «Мне отмщение и аз воздам», – пришло на ум библейское изречение. «Надо бы кузину Екатерину Николаевну предостеречь: зачем ей заводить в семье волчонка?»

Вскоре генерал увидел, как, притаившись за углом хаты или за деревом, воспитанник Раевского следит за каждым его, Потемкина, шагом. Даже в ночи, за окном хаты, генералу чудились синие вспышки мальчишеских горящих ненавистью глаз.

Али действительно всем маленьким сердцем своим ненавидел генерала. Ему только одного хотелось: чтобы об этом не догадывались ни генерал, ни Николай Николаевич, ни Митрич и никто.

Скоро Али сделался любимцем солдат, удивительно быстро запоминал слова, уморительно коверкал их. Солдаты беззлобно помиралы со смеху. Вскоре Раевский подивился успехам воспитанника: мальчик начал сносно говорить по-русски, болтать с солдатами. Особенно он привязался к Митричу.

– А што я зараз скажу, шустрый, ласковый мой Александр Николаевич, – обычно говорил Митрич.

Так Раевский стал называть Али.

– Я бы оставил тебе твое имя, – сказал он как-то. – Красивое. Но у нас никого так не зовут. Не хочу, что бы ты среди наших людей был белой вороной. Я постараюсь заменить тебе твоего отца. Отныне ты будешь Александром. Был такой знаменитый римский полководец Александр Македонский. Митрич, мы будем называть нашего мальчика Александром Николаевичем Чеченским. Годится?

– Даже очень, господин поручик.

– Понятно? – обратился к малышу Раевский.

– Понятно, – заулыбался Али.

А на следующий день он убежал. Нашел в крепостной стене дыру и махнул в лес. Вокруг крепости пни короткие торчали, трава густела. Здесь, когда возводили крепость, вырубали лес, чтобы никто не мог незаметно подкрасться, напасть на гарнизон.

От пня к пню Али пробирался по ранней росистой траве. Вдалеке зеленой крепостной стеной манил лес, за ним – Хасин, Джума, тетя Асма...

Два конника нагнали его.

Николай Николаевич не ругал, был грустен. Думал: «Что делать? Сбежит опять. Разве стерпит? Вот он, дом, кажется, рукой до него подать. Здесь Потемкин был в какой-то мере прав. А к кому мальчику бежать? Пропадет. Нет, я воспитаю. Раз взялся. Не послать ли его в Каменку? Так и так, напишу матушке. Она поймет...».

Когда Али возвратили в крепость, Митрич запричитал:

– Сиротина ты моя горемычная, побежал за лаской, как теленок к матке, – и по голове гладил мальчика.

Солдаты, те проходу не давали Али. Норовили кто пряник, кто орех сунуть. Митрич из своих скудных запасов достал шерстяной красный шарф.

– Возьми, Сашко, – и повязал на шею. – Невеста мне моя вязала, дарила. Умерла...

В один из дней новой весны из Екатериноградской в Россию отправлялась оказия. Николай Николаевич снарядил пароконную фуру, три запасных колеса велел в задок положить, погрузил запас продуктов, вручил Митричу письмо и дал устный наказ:

– Отвезешь Александра Николаевича в Каменку. Береги его, по дороге не потеряй. Коней не загуби. Поспешай, не спеша.

Мальчику сказал:

– Прощай пока. Будешь жить у моей матушки. Расти. Учись. Постарайся не скучать без меня. Я приеду. Слушайся во всем Митрича... – Что-то еще говорил и долго, пока с другого берега Терека была видна Екатериноградская, все махал рукой.

## ДОРОГА В КАМЕНКУ

За Кубанью наши путешественники расстались с оказией и дальше ехали самостоятельно. Митрич сказал:

– Ну, Сашко, помолимся на христьянской стороне. Слава богу, живы. И уже будто дома.

– Приехали?

– Еще немного ехать.

– Да мы ж долго едем.

– А давай посчитаем. Выехали мы в день святого великомученика Георгия Победоносца. Нынче – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Значит, уже больше двух недель, как мы из Екатериноградской. С оказией, Сашок, – не на перекладных. С Николай Николаевичем я ехал на Кавказ с ветром. А наша фура...

Оказия двигалась, как солдат с побывки в свой полк. То лошадей напоить, накормить, перековать надо. То дозорные тревогу поднимут. И все останавливаются. Пушкари расчехляют, разворачивают свои единороги, с запальниками у затравок мечутся, картузы из зарядных зеленых ящиков достают. Тревога оказывается ложной. Картузы – на место. Пушки чехлят. То оказия просто привал объявляет. Солдаты надолго разуваются, дают остыть натруженным ногам, онучи сушат, накладывают новые заплаты на обмундирование, варят пищу, едят, спят...



Теперь Митрич командовал сам, но тоже не поспешал, лошадей берег: было еще ехать да ехать.

— Митрич, куда горы делись? — спросил Александр.

— Забыл — в Горячеводске прощались?

— И больше гор не будет?

— Они ж, Сашко, только на Кавказе и есть. И нигде я таких высоких не видел.

Саша не поверил. До рези в глазах смотрел вперед и оживлялся, когда они вдруг возникали. Увы, он скоро разочаровывался: то плыли облака.

А прощался — не верил.

Это было у подножия горы, похожей на большой перевернутый зеленый медный котел, в котором кашевары готовили еду солдатскую. Вокруг гудели леса, непроходимые, дремучие. Через них прорубили дорогу. На ней еще торчали пни и корневища, похожие на длинных толстых змей. Внизу, под солнцем, тоненькой лентой сверкала речка. Синюю даль перечеркивал снежный хребет с белоголовым великаном Шат-горой. А перед Шат-горой, поодаль друг от друга, высились, словно вышли в дальний дозор, причудливые каменные громады в зеленых доспехах.

— Вот эта гора, Сашок, — показывали солдаты, — как кинжал, а та сходна с горбами верблюда. Эту татары называют Бештау — пять гор значит. Попрощаемся с горами, Саша.

Александр тогда подумал: пошутили солдаты. Разве может быть земля без гор? На следующий день он напрасно вертел головой во все стороны: горы пропали. Не было их и на другой день, и на третий. Александр загрустил, поскуучнел. Было похоже на то, что эти горы у него кто-то отнял. Неосознанная обида нарастала, он затосковал.

У него пропал аппетит, он пил лишь воду. На беду, вечером в открытой всем ветрам Тмутаракан-

ской степи разразилась ужасная гроза. Она с ливнем не прекращалась до утра, завершилась крупным градом. Кони дрожали от холода и испуга, рвались с привязей, чтоб унести в степной мрак.

Митрич прикрывал попонкой мальчика, сам промок до костей.

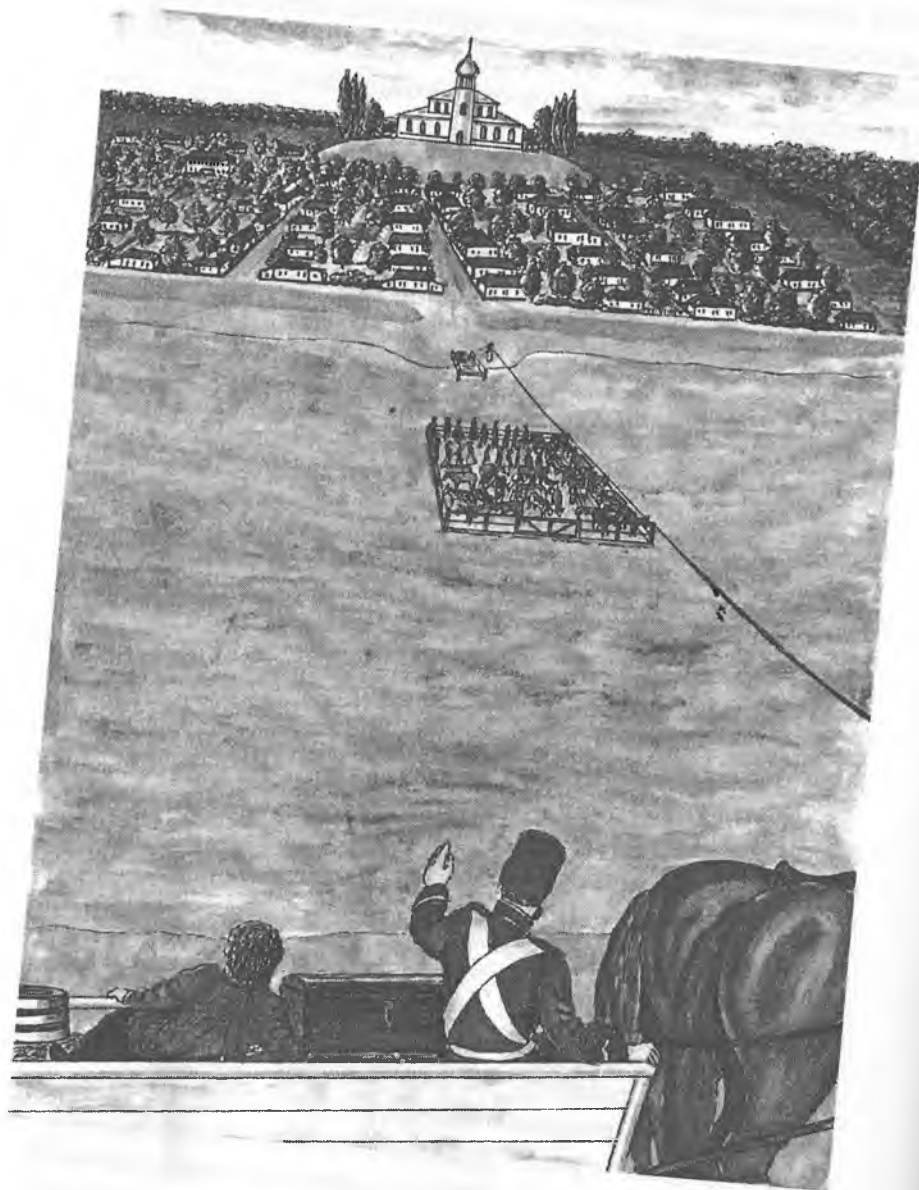
Медленно уходила ночь. Степь в предутреннем сумраке выглядела потрепанной, как после потопа: трава скрылась под водой, град растерзал дымчатую полынь, недалеко на взгорке полег ковыль.

– Сашко, гроза кончилась! – сунул руку Митрич под попонку – и обмер: мальчик пылал. – Свят! Свят!

Из-под сиденья, отовсюду сена надергал, обложил, накрыл им малыша. От фуры отодрал доску, кинжалом расщепил. Заметался, до косогора добежал, все траву какую-то искал. И духом воспрянул: нашел! С корнями надергал, в ливневой воде помыл. Кресалом трут зажег и прямо на дороге костерок раскурил, заварил в котелке траву. С мольбой к богу обратился: «Скорый в заступлении... Избави от недугов и горьких болезней...».

До самого Дона метался в жару Александр, а когда в себя пришел, потянулся к Митричу. И горячие солдатские слезы вдруг закапали на восковые ручки мальчика.

Александр приподнялся и удивленно открыл радостные глаза, замер: перед ним расстилалась широкая синяя река. Такой большой, просторной, красивой он никогда не видел. Зеркальные пятна шевелились, раскачивались на ее спокойной поверхности. Их разрезала невиданная фура со сказочным большим птичьим крылом. Белые птицы носились и оглашали воздух пронзительными криками. А по ту сторону реки, на макушке возвышенности, высоко в небе, блестели странные круглые папахи (Саша еще



не знал, что это купола церкви), по склонам же возвышенности лепились белые домики.

Через реку, прямо на Александра, двигался большой мост с людьми, подводами, лошадьми, коровами. Митрич на берегу бил поклоны: «Господи, низко кланяюсь за спасение живота раба божьего Александра...». И ничего в молитве своей не сказал, что сделал сам больше бога, извелся от лиха страшного, не спал ни днем, ни ночью, отварами трав, теплом тела своего, дыханием отогревал малыша.

Они благополучно переправились на пароме через Дон. Александр жадно вглядывался во все окружающее, радовался свету дня, а потом – свету звезд на ночном небе. У него дух захватывало от многоцветья красок равнинных просторов. Он всем существом своим воспринимал все новые и новые открытия, не понимая, как сильно жаждет познания мира. Земля оборачивалась к нему неисчерпаемостью, щедростью своей красоты.

Сразу за Доном Александр увидел море. Оно поразило его сильнее Дона. Сначала показалось, что небо упало прямо к колесам фуры. Смутило его только то, что оно было не голубое, а зеленое. По нему, как и по Дону, плыли фуры. У каждой – по крылу. И детское воображение рисовало печальную картину: кто-то злой другое крыло оторвал. А то бы фуры поднялись вверх. Море волнами подкатывалось к колесам фуры, на которой ехал Александр. И он подумал: «А может, все небо – вода?». Слушал и никак не мог понять Митрича, который все объяснял по-своему:

– Море, оно за небо, за тучи уплыло. А куда? На край света. Там заморские страны. А людей в тех странах как пшеницы в чувалах...

Чем старательнее объяснял Митрич, тем меньше понимал Саша. В памяти оставалось то, что попадалось на глаза.



— На каторгу, — отвечает конвоир. — А и люта Сибирь зверски.

— Горе! Горе! — тяжело вздыхает Митрич.

— Земли им, вишь, помещицкой захотелось, — продолжает словоохотливый солдат. — В Сибири по три аршина отхватят.

Штыки раскачиваются, заслоняют подсолнух, лиман, ветряную мельницу, которая машет крыльями, словно силится подняться в небо. Вдруг над шляхом песня поплыла. В ней то стон и плач, то раскат грозы. Поют в свитках да холщовых рубахах. В песню вплетаются звон жаворонка и еще какие-то странные звуки. Саша присматривается к шагающим и с удивлением обнаруживает: на ногах многих железные цепи или деревянные колодки.

— Зачем это у них на ногах? Как коней спутали...

— Палачи, — ответил Митрич.

Солдаты и дядьки удалялись. Пыль, поднятая их ногами, оседала. Песня еще долго слышалась. Люди скрылись, а штыки все качались.

Все для Саши вокруг потеряло очарование: цветы, шлях...

Только через несколько дней Митрич повеселел, Сашко — оттаял. К концу июня Митрич и Сашко, сменив за длинную дорогу три колеса, оказались в виду Каменки. Митрич улыбался, по лицу его катились слезы.

— Почему плачешь? — спросил Саша.

— Так земля же родная. Без нее ты что птица без крыл. Без нее никому счастья нет.

Дорога круто сворачивала к речке. Митрич соскочил с фуры, зачерпнул с низкого бережка воды, из пригоршни напился.

— Это, Сашко, Тясмин, речка-невеличка, до самого Днепра бежит — не остановится...

## В КАМЕНКЕ

В Каменке Митрича не ждали. Двухэтажный дом, стоявший на высоком холме, оброс флигельками, хозяйственными службами – амбарами, конюшнями, хлевами. Поместье славилось богатым садом. От дома к Тясмину вела ступенчатая аллея. По ее сторонам – вековые клены, тополя. Перед домом разбиты куртины. Здесь они были предметом особых забот: их любил Николенька – старший сын Екатерины Николаевны.

Мать Николеньки, выйдя замуж за Раевского, родила ему двух сыновей, рано овдовела и вскоре стала женой богатого помещика Давыдова.

Только что в кругу своей семьи – мужа, добродушного толстяка, довольного своей женой и решительно всем на свете, детей и многочисленных приживальщиков, да еще помещицы Анны Леопольдовны Зориновой и приглашенной инокини Киево-Печерской лавры, славящейся ясновидицы, Екатерина Николаевна отобедала. Ясновидица была туга на ухо, ела с жадностью, только раз на просьбу Льва Давыдова, хозяина Каменки, ответить, что ожидает Россию в ближайшем будущем, открыла рот: «Россия со крестом животворящим... Молитесь...». Туманность ответа никого не смутила, наоборот, вызвала оживленные толки и похвалу мудрости инокини-провидицы.

После обеда Екатерина Николаевна отдыхала вместе с помещицей Зориновой на террасе. Вполуха слушала жалобы Анны Леопольдовны на плохие виды на урожай гороха, картофеля, на леность дворовых. Женщины сидели в креслах, плетенных из приречных тясминских ив. Воздух был чист: ночью над Каменкой прошла гроза. Цветы и деревья были яркими, умытыми. С Тясмина и земли тянуло прохладой, по небу плыли пышными, подрумяненными пампушками редкие облака.

– Старший сынок ваш как? – поинтересовалась гостья.

– Давно никаких вестей.

– Оно и понятно: Кавказ-то – это же на краю света. Про тамошних людей ужасы всякие рассказывают. Все они как один – татары. Даже обличьем одинаковые, словно близнецы. И все разбойники.

– А Николеньку моего послушать – в рай попал. Леса стоячие не пройдешь, пока топором просеку не прорубишь. Горы – преогромные, нам такие и не приснятся. А что ни татарин у Николеньки – так обязательно герой. Его послушаешь – впору басурману саблю за храбрость дать. Жальливый Николенька мой. Павел Сергеевич Потемкин... Вы ж помните его, соседка?

– Как же, как же, мужчина – каких в наших краях на сто верст в округе не встретишь, – вздохнула Анна Леопольдовна. – Я с первого взгляда влюбилась в него.

– Павел Сергеевич сказывал мне: сердце Николеньки бесстрашно, но в нем нет беспощадности к врагу. Был случай: пленного на все четыре стороны отпустил. А тот ведь чуть Николеньке голову не срубил.

– Страсти какие!

– Уж лучше Павел Сергеевич не рассказывал бы мне об этом. Спать стала плохо. Все снится один и тот же сон: горец кружится коршуном над Николенькой и шашкой машет, машет, – Екатерина Николаевна от волнения побледнела, нашатыря из граненого пузырька понюхала, им потеряла виски.

– Ужас! Не падайте духом, Екатерина Николаевна. Кто может справиться с нашими доблестными войсками? Да ни вовек! Ох, засиделась у вас. А дома девкам вишню указала мочить. Малину надо варить.

За всем глаз да глаз нужен. Ой, не к вам ли, Екатерина Николаевна? Со шляха свернули.

— И на Полтаву могут свернуть, — подняла Екатерина Николаевна к глазам лорнет.

Анна Леопольдовна, засобиравшаяся было домой, снова села, теперь уж из любопытства: вдруг к Раевским в самом деле гость из Киева! В глухой стороне даже появление странника, поклонившегося или собирающегося поклониться святым мощам, — событие. А тут — фура! Если сюда — на целый месяц Анне Леопольдовне хватит разговора с соседями!

Между тем Митрич давал мальчику последние свои наставления:

— Ну, постреленок, а видишь ли ты этот белый дом? Такого большого дома Александр еще нигде не видел. В том доме, по словам Митрича, и проживала матушка Николая Николаевича. Александр представил ее по-своему: она как Асма. Если такая, то зачем ей такой большой дом?

— Она чурек мне испечет?

— Какой чурек? Не печет она ничего. А хлеб белый будет. Борщ с мясом, наверное. И много другого будет. Я за столом у них не сидел. Нельзя мне... А что я хочу тебе еще сказать? Счастья желаю. Найди его. Никому не говори, что ты худого рода, а говори: княжеского или мурзы какого.

— Зачем, Митрич? Мой род — не худой.

— Неразумное ты еще дитя, родненький ты мой хлопчик. Если скажешь: из князей ты — в масле, сыре будешь купаться.

— Мой отец — выше князя: он не боялся ни Потемку и никого!

— Ну и хорошо, сынок, — внезапно согласился Митрич. — Так и говори: горец — выше князя. Да шапку снимай, да кланяйся в ножки барыне.

Остановившись во дворе, Митрич бросил лошадям травы, снял с фуры мальчика и строевым шагом направился к барыне. Не доходя до террасы, сдернул с себя бескозырку и с Сашко. Но мальчик натянул на себя шапку. Митрич склонился в низком поклоне. Александр смотрел на двух красивых женщин, тонкую и полную. Та, что полнее, приставила к глазам стеклышки, потом удивленно-тревожно протянула:

– Митрич, что случилось с Николенькой? Что же ты молчишь?

– Жив-здоров, вот письмо написал, – достал из-за пазухи пакет.

Екатерина Николаевна нетерпеливо разорвала пакет, вся погрузилась в торопливое чтение, изредка перемежая его короткими возгласами:

– Слава богу! Слава... Господи, какой еще мальчик? Александр Николаевич Чеченский? Сын? Да когда же и с кем Николенька успел прижить мальчишку?

– Ах, как это интересно! Черкешенки там, говорят, каждая – принцесса! – подала голос Анна Леопольдовна.

– Фу ты, господи, – облегченно вздохнула Екатерина Николаевна, дочитав письмо. – А я-то, грешная, подумала...

– Княжеский сын, – сказал Митрич.

– Мой отец, Алхазур, летящая птица, – выше князя, – сказал Александр.

– Николенька ничего об этом не пишет.

– Забыл, значит. А оно и так сразу видно: хлопчик – из княжеского рода.

– И в самом деле, Екатерина Николаевна, в мальчике так и сквозит княжеское. Так и сквозит...

– Николенька, – Екатерина Николаевна уже обратилась к Анне Леопольдовне, – называет себя крест-

ным отцом этого мальчика. Тебя в плен взяли? Бедный. Николенька пишет: славный мальчик, живой, проказливый, с острым умом.

– Ах, как это интересно, – всплеснула руками Анна Леопольдовна. – Такой маленький – и уже пленник. Дорогая Екатерина Николаевна, я с первого же взгляда определила – он из князей. Осанка, нос породистый, жгучие черные глаза. Ах, он непременно будет дамским сердцеедом... Ну, я поспешу. Мне еще нужно успеть к Обозиным, к полковнику Дудникову, к Жанель Петушковой...

– А как же вишня, малина? – лукаво улыбнулась Екатерина Николаевна.

– Ах, с этим успеется и завтра.

Через час Сашу, выкупанного, в одежде младшенького сына Екатерины Николаевны – Александра Давыдова, усадили за стол. Сбежалась вся многочисленная дворня, из всех дверей глядела на кавказского пленника...

...Минуло четыре листопада. Воды из Тясмина и Днепра набежало, наверное, за это время с половину Черного моря. Александр подружился с домашними учителями, с гувернером-французом, которого ему приставили, бойко вместе с детьми Давыдовых болтал по-французски, днями не вылезал из библиотеки.

Здесь, в дубовых шкафах за цветными стеклами, скрывался огромный загадочный мир. С медными застежками, с золотыми обрезами и без них, в хлопчатобумажных и кожаных переплетах – книги были с церковно-славянской вязью, на французском, немецком, латинском языках. Для мальчика это была пока ужасная путаница эпох, событий. В них он бился перепелом в тенетах, со слабой надеждой вырваться на простор. Мир за тенетами был красочным, шумел прибоем океана. Еретик на костре инквизиции про-

клинал своих палачей. Русские мечи звенели о головы крестоносцев. Малороссияне поднимали цепями на шляху пыль. Почему так неспокоен океан? Почему жгут еретиков на кострах? Почему кандалы?.. Этого и многого другого Александр не мог понять. Потому, набираясь сведений из книг, и чувствовал себя перепелом в тенетах.

Екатерина Николаевна чуть ли не каждый год рожала Давыдову детей. Кормилицы, няньки, дядьки были у каждого ребенка. К Александру приставили Митрича. Своей семьи солдат не имел, и всю нерастратченную силу любви и ласки отдавал Александру. На рыбалку, в лес по грибы или ягоды, за травами разными – куда только Митрич не ходил со своим Сашко. И всем тем лучшим, что было в Александре, он был обязан прежде всего Митричу, а потом уж – библиотеке, окружению в Каменке да неистребимой памяти о днях безоблачного, как ему казалось, детства в Алдах.

Саша полюбил и Николая Николаевича, бесконечно был благодарен Екатерине Николаевне, чопорной, кичливой, но при всем том сердечной матери большого семейства. Душой сросся с названными братьями и сестрами Давыдовыми. Дружил, как и все дети Давыдовых, с крестьянскими ребятишками, но ни к кому так крепко не был привязан сердцем, как к Митричу.

Только в смутных воспоминаниях о прошлом, таком далеком, что его, казалось, и не было, ему грезились теплые, заботливые и сильные, как у Митрича, руки отца, да еще дружба с Хасином.

Был в Каменке у Саши еще друг – Петро, сын управляющего именем. Но тот уже второй год как учился в Московском университете. Обещал на летние вакации в Каменку, да почему-то не приехал.

В день собора двенадцати апостолов, в конце июня, Саша возвращался из церкви. В селении варили пиво, и запах хмеля густел над хатами. После богослужения у всех было приподнятое, праздничное настроение. Кое-где уже слышались веселые песни. Митрич, возвратившись с зажженной в церкви свечой, копотным фитилем ставил на притолках дверей и окон кресты в своем флигеле. То же самое делалось и в барском доме.

– Вурдалаков и всякую нечистую силу крестами отгоним, – говорил Митрич.

Саше было скучно. Пошел на Тясмин. В омуте вылавливал яблоки, кислые – рот сводило, но они чем-то напоминали сунженские, и Саша набивал ими оскомины. Нырял. Из трещин выдирал и снова отпускал раков. Раньше боялся тясминских омутов.

– Русалка поймает за чуб, – говорил Митрич, искренне веря, что так оно и бывает... – Она ж какая? Дюже красивая, а хвост – рыбий. Поймает и щекочет – аж до смерти.

За четыре года так и не увидел Саша ни одной русалки, хотя, до жути обмирая, хотел этого. Он облазил весь Тясмин, обследовал все деревья окрест, где, по словам Митрича, русалки любили сушить и расчесывать свои зеленые волосы. На Сунже ни о каких русалках Саша не слышал. Зато видел, как медведь чуть ли не рядом со всадником воду пил... Хорошо бы в птицу превратиться, до Алдов, леса густого, дремучего долететь, краем глаза взглянуть на заоблачные вершины гор, нарвать тамошних вишен, тутовника.

С такими мыслями он возвращался с речки, забрел в сад и неожиданно услышал:

– А, сокол, а ну-ка подойди ко мне поближе!

Саша растерялся: в гроте вместе с Екатериной Ивановной пил чай его крестный. Мальчик стрем-



глав бросился, головой уткнулся в его грудь. В третий раз со времени первой разлуки приезжал в Каменку Николай Николаевич. И всегда для Саши это была огромная радость.

— Скучал?

Саша оторвался от теплой груди крестного, посмотрел на Екатерину Николаевну.

— Бойтся меня обидеть, — улыбнулась она. — Кто же за тобой, Коленька, не тоскует?

— Из пистолета умеешь стрелять? — неожиданно спросил Николай Николаевич. — На-ка, пальни! — Поискал глазами, во что бы выстрелить, схватил старый брыль, молча отмерил ровно десять шагов и повесил его на пень. — На, стреляй! — протянул маленький изящный пистолет.

— Господи! С ума сошел! Ребенку — пистолет!..

— Стреляй! Вот так подними.

— Знаю. Митрич и солдаты еще в Екатериноградской из ружья учили, — мальчик прицелился, Екатерина Николаевна в ужасе закрыла руками уши, зажмурилась.

Бабахнуло — брыль подскочил. Екатерина Николаевна ахнула, перекрестилась.

— Молодец! Я же говорил тебе, мама: он прирожденный воин. Вот что, крестник, дарю тебе этот пистолет. Бери, бери. Только, чур, уговор: из Каменки, пока ты не поедешь ко мне на Кавказ, в полк, ты никуда не будешь брать его. Согласен?

— Да, — прошептал счастливый мальчик, не веря, что ему дарят пистолет. — Да вас в чине повысили! Полковник уже!

— Гляди ж ты, — радостно рассмеялась Екатерина Николаевна. — А я, старуха, и не заметила. Поздравляю, Коленька!

– Растем, – скромно улыбнулся Николай Николаевич. – А вот Саша все еще мал. Однако же, не пора ли тебе, крестник, в Москву? Учиться?

– У нас же, Николенька, дома гарнизон учителей.

– Ах, мама, для настоящего воина этого мало. Пусть, как все в нашей семье. Генерала без Москвы не получится. У Павла Сергеевича одна скотина выслужилась до сержанта. Но дальше он, хоть сто лет прослужит, не пойдет. А Саша у меня записан солдатом в полк. Вахмистра за выслугу как раз получит после учения. Решено – повезу тебя, крестник, в Москву.

## МОСКВА

По бревенчатой мостовой от Никитских ворот Николай Николаевич вывел Сашу к деревянному мостику через Неглинную к Заиконоспасскому монастырю. По мосту – лавки букинистов. В монастыре – знаменитая славяно-греко-латинская академия. Над ее воротами – вывеска с изображением горящей свечи. Здание мрачное, с узкими, почти квадратными окнами в толстых стенах. У монастыря в странной одежде юноши. Позднее Саша часто встречался с ними и все никак не мог понять, зачем заиконоспассцев обряжали в длинные балахоны, походившие на платье Асмы. Учащиеся все были почему-то великовозрастные. Многие из них при трехлетнем сроке обучения засиживались по двенадцать-пятнадцать лет...

– Мне сюда? – оробел Саша.

– Нет. Вон туда. – На взлобке, сразу за монастырем, возвышалось здание причудливой архитектуры. С Красной площади оно смотрелось, как огромный кирпичный куб о два этажа с большими арочными окнами. – Пока пойдем дальше. Обсмотримся.

Сашу поражало не обилие высоких и низких зданий, каменных, кирпичных, деревянных. С этим он как-то сразу свыкся. Но он никак не мог привыкнуть к скоплению людей. Площади и прилегающие торговые ряды кишмя кишели пестрым людом. По немощеной площади, с выбоинами, рытвинами, двигались кареты, телеги. В кучи сбивались и растекались по ней люди, шумели, говорили, громко торговались, расплачивались. Позже он с товарищами нарочно посчитал: в торговых рядах было четыре тысячи лавочек! Торг из палаток, с телег, навесов, в разнос. Сбитенщики, лотошники... Все источало запахи, просилось в желудки: блины и оладьи, подовые пироги, студень, связки баранок, копеечная брага. Почти рядом с Заиконоспасским монастырем широко распахнуло двери питейное заведение с надписью по всему фронтону – «Под пушкой». Это главный московский кабаk.

Вся площадь была замусорена: в обрывках рогож, тряпья, изношенных лаптей. Середину площади занимали высокие столбы. У одного из них пороли старика, а он басом оглушал: «Неповинный я! Неповинный!».

В конце площади, над всей Москвой поднимался, как гора Казбек, о которой в Москве мало кто слышал, светился, сверкал разноцветными куполами, золотыми крестами дом.

– Собор Покровский, – сказал Николай Николаевич.

– Что такое собор?

– Ну, церковь, как у нас, в Каменке.

– У нас? Игрушка. А это... – Александра потрясли величие и красота сооружения.

За Кремлевской зубчатой стеной тоже возвышались золотые купола, один из них цеплялся крестом за облака.

— Колокольня Ивана Великого, — перехватил взгляд Саши Николай Николаевич.

— А это что? — Саша указал на возвышение перед собором.

— Лобное место. Указы царя отсюда объявляются, церковные службы отправляются.

Почти рядом еще деревянный помост.

— Плаха. Воров, разбойников государственных казнят здесь.

— Кровь? Это кровь? — Саша указал на стенку деревянного помоста из свежеспиленных бревен. На ней застыли ржавые полосы, а на земле темная лужица, от которой лениво оторвался ворон, проплыл над площадью и сел на ближний крест собора.

— Пойдем в университет, — заторопился Николай Николаевич, так и не ответив на вопрос Саши.

В университете было два отделения: «благородное» — для дворян и «разночинное» — для других сословий. Сашу определили в «благородное».

— Я учился здесь, — сказал Николай Николаевич.

У московских родственников Раевских Саша не поселился: сманил к себе Петро Войтинский, сказал:

— В пансионате хоть и надзиратели, а все ж — вольное казачество.

— Быть по сему, — согласился Николай Николаевич. — Казенный кошт тебе обеспечен. Да по рублю с полтиной в месяц я тебе еще на разные расходы положу. Не хватит — проси еще. Подрастай. Набирайся ума. Будь честным. Люби правду. А там — на службу. Прощай, мой сокол, — обнял, поцеловал на прощанье и укатил на Кавказ, забрав с собою Митрича.

— Что ж, Петр, не приехал летом в Каменку? — спросил Саша.

— Отец велел служить. На мой алтын, говорит, не проживешь. Устроил писцом при столоначальнике в



Через короткое время Александр убедился, что при всем внешнем послушании многие студенты умели прекрасно обходить любой параграф устава.

От крамолы, как от майского с грозой ливня в чистом поле, укрытий в Москве, как и во всей России, не существовало.

С Китай-города на Красную площадь приволокли медника. Заиконоспасские школяры в белых стихарях и студенты, в том числе и Саша, бегали и слушали, как медник у высокого столба непотребными словами называл царицу, пока его насмерть не забили.

Из Петербурга, как из глубокого подземелья, доходили потаенные вести. Их передавали шепотом, да и то не всем: опасались фискалов. Однажды Петр передал Саше: в Шлиссельбургскую крепость упрятали на пятнадцать лет известного столичного книгоиздателя Новикова.

До дыр студенты зачитали запрещенный роман Федора Эмина «Письма Эрнеста и Дорвара». Саша был потрясен, найдя в романе слова о том, что помещики – тираны, которые «не только не знают, что есть добрый крестьянин, но и точно не понимают, что есть человек».

Петр раздобыл журнал «Живописец», издававшийся Новиковым. При коптящей свече Саша наугад открыл страницу. Уже первые строчки заставили учащенно забиться Сашино сердце: «Бедность и рабство повсюду встречались со мною во образе крестьян. Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению, всегда находил, что помещики их сами тому были виною». Саша пощупал бумагу – настоящая! И снова погрузился в чтение.

Очнулся, когда перед глазами неожиданно оказалась другая раскрытая книга, накрывшая журнал.

– Ну что ты сам читаешь, а я, значит, так сиди? – сказал Петр и незаметно локтем Сашу в бок. – Читай! Да читай же! – побелевшие глаза Петра были ужасны. – Громче!

– Я есмь, – еще ничего не понимая, но уже почувствовав – неспроста все! – Я есмь первый и последний и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти...

На книгу упала черная тень. Саша повернулся и внутренне похолодел: за спиной стоял надзиратель.

– «Откровение» Иоанна Богослова... Сие дозволено. Читай, коли тебя просят, вслух.

С той поры у Александра ушки всегда были на макушке.

А из Петербурга новая весть: казнить собираются человека за то, что книгу сочинил и издал. Допрашивают в тайной экспедиции. Книг тех днем с огнем не сыщешь: арестованы, в котле сварены. Московские купцы за чтение сохранившихся экземпляров той книги по пятьдесят рублей платят! Одну из книг, сказывают, палач топором на плахе на куски разрубил. Фамилию сочинителя называют: Радищев.

Петр учил Сашу находить в книге то, что в душе будило чистую мысль. Как-то Саша нетерпеливо перелистывал «Риторику» Ломоносова – учебник.

– Читаешь? – спросил Петр.

– Неинтересно.

– А ну-ка дай, – полистал быстро. – Я тоже сначала так думал. Умные люди надоумили: плевел тут нет. Здесь одни перлы. Ну-ка вот это.

Саша прочитал: «Кто лютостию подданных угнетает, тот боящихся боится и страх на самого себя обращает». И подумал: «Кого же тут деспотом можно назвать? Царицу? Помещика?». Так он научился читать книги внимательнее и с великой пользой для себя.

Учился он, как и многие, сразу в трех классах: низшем, среднем и высшем. Отсутствием памяти и прилежания не страдал. В больших нарушениях дисциплины не был замечен.

А Петр Войтинский однажды исчез. Бесследно. Как это случалось на Руси со многими. В Каменке отец Петра, старый управляющий имения Давыдовых, занемог и не поднялся больше от страшной вести: сына в тайной экспедиции батогоми за крамолу до смерти забили...

Саша места себе не находил, письмо за письмом слал Раевскому: «Хочу в армию!» – «Потерпи, – отвечал Николай Николаевич. – Без образования в армии нечего делать».

И, стиснув зубы, Саша терпел.

## ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

– Что же не подходишь, Александр Николаевич? – на глазах Екатерины Николаевны блеснули такие же слезы, какие он видел у нее не раз, когда она встречала его крестного. – Дай обниму. Вижу – баньку изрядно истопили. Березовым веничком пахнешь, – теплые руки Екатерины Николаевны коснулись головы мальчика, она горячо, по-матерински поцеловала его в лоб. Он прильнул к ней. Он по-своему крепко привязался к этой женщине. Никого из своих детей и Сашу – крестника своего первенца – она не обделила своим материнским вниманием. Может быть, только больше ласки и тепла отдавала самому маленькому.

– А вот и Васенька, – Екатерина Николаевна расцвела, слегка отстранила Сашу. – Давайте его сюда, – протянула полные руки к вошедшей кормилице. – Ну, как спал, Василий Львович? Как кушал? Вижу,

вижу — доволен. Ну и слава богу. А пойдём-ка, Василий Львович, ещё и пообедаем с нами. Саша, чай, с дороги да с казенного кошту проголодался. В Москве ведь не скушаешь того, что у нас.

Все приступили уже к обеду, когда в столовую шумно вошел гость, которого Саша никак не ожидал увидеть в Каменке.

— Павел Сергеевич, военным неприлично опаздывать к столу, — шутливо погрозила пальцем Екатерина Николаевна.

— Пардон, дорогая кузина. Всепокорнейшую релянцию в Петербург готовил, — и он подошел к ручке хозяйки.

— Будто Петербург не мог подождать вашей релянции.

— Никак нет, дорогая кузина. У нас, у военных, свой регламент на все. И прежде всего по регламенту тому — дела государственные, здоровье нашей матушки царицы Екатерины Алексеевны, слава оружия и казна отечества. Государыня печется о благополучии народов нашей земли. А мы, военные то есть, верные помощники ей в том, — генерал говорил громко, несколько снисходительно, желая, вероятно, внушить всем, насколько важна его персона в делах российской империи и вообще на земле.

Он не переставал говорить, одновременно шумно ел, пил, крякал от испытываемого удовольствия.

Горячая кровь ударила в голову Саши, как только вошел гость. Хотелось выскочить из-за стола, убежать. Но он тут же сообразил: нельзя было ничем объяснить его более чем странного поступка. Не мог же он сказать, что ему не хочется сидеть за столом с тем, кто повинен в смерти его отца.

И он решил дожидаться конца ужасного обеда и сбежать за пистолетом. Он представлял себе, как По-



темкин падает, сраженный меткой пулей. И сладостное чувство, что наконец-то отец отомщен, все более наполняло его существо. Где подстеречь злодея? Какие слова сказать ему на прощанье? Или все молча сделать?

Генерал вытер салфеткой губы, из графина синего стекла налил в стакан красного вина. Он что-то говорил, но Саша его не слышал. Потемкин увлекся, зажестикнул и опрокинул стакан. Вино растеклось по скатерти большим пятном.

– Ах, боже мой, какое красное! – воскликнула Екатерина Николаевна. – Видеть не могу красное! Как кровь!

Слуги бросились вытирать скатерть, застелили ее салфетками.

– Пардон, кузина, – пробасил Потемкин. – Женщины не в пример мужчинам – слабые существа. А мы, военные то есть, даже радуемся крови, но, конечно же, чужой.

– Пожалуйста, расскажите, Павел Сергеевич, – попросила случившаяся за столом Анна Леопольдовна, – что-нибудь интересное о стычках на Кавказе... О вас столько говорят... Орлы российские.

– Чего рассказывать? Все, как на войне, – ответил Потемкин, но таким тоном, что все почувствовали: расскажет! – Вот разве о поимке одного абрека, как называют на Кавказе разбойников из черкесов...

– Разбойник? – Анна Леопольдовна кокетливо округлила глаза.

– Злодей. Шесть лет я охотился за ним. Людей терял...

– Неуловимый? Интересно! – помещица явно любовалась генералом.

– Ну так вот, последнее дело началось в Кизляре. Окружили мы абрека. Лазейки, казалось, не оставили. Два дня и две ночи сражались.

– И схватили злодея? – не унималась Анна Леопольдовна.

– Ушел.

– Ах! Но разве мог он от вас уйти?

– Это не человек – дьявол. До морской крепости Анапы гнались мы за ним. Ни со стороны моря, ни с суши к ней не подойти. Стены крепостные – с аршин толщиною. В бойницах – пушки, в погребах пороха – на десять лет запаса, военный провиант. Штурмуем. В стенах бреши пробили. Все в дыму, в огне. Взяли мы крепость. И пашу турецкого, их командующего, захватили в плен, а абрека не нашли.

– Ах, какая досада, – посочувствовала Анна Леопольдовна. – Прямо оборотень какой-то этот ваш абрек.

– Главного нашего лазутчика тоже не могли найти. Ему-то ведомо было, как мог абрек скрыться. Но вот лазутчика нашли под развалинами, нашатырю дали понюхать. И забрали абрека с его двенадцатью верными ему наибами.

– Как Христос со своими двенадцатью апостолами, – удивилась Анна Леопольдовна.

– В потаенном пороховом погребе обнаружили. «Выходи!» – предлагаем. Отвечает: «Взорвем порох!» Мы и так и эдак. А лазутчик, он родом из тех же черкесов, предложил абрека хитростью выманить. Я и пообещал абреку: парусник, мол, дам и убирайся на все четыре стороны со своими наибами. Пришлось мне, честное слово дворянина, генерала дать. Вышел он из погреба.

– И вы его отпустили? Какой вы благородный! – заплескала в ладоши помещица.

– Я приказал заковать его в железы, как Емельку Пугачева, и вместе с его наибами отправил подальше от Кавказа.

– Какое вероломство! – воскликнула Екатерина Николаевна.

– Бедный абрек! – крикнул Саша Давыдов. – Зачем обман? – и убежал из столовой.

Дети молча поднимались из-за стола и в первый раз, сколько помнил Александр, не помолившись после обеда, грустные и печальные, удалялись. Их никто не удерживал.

– Ну, зачем расстроил? – невесело спросила Екатерина Николаевна. – Все так хорошо шло. Все так слушали. Зачем же в самом деле было так вероломно поступать с абреками? Ты же дал честное дворянское слово. Ведь не позволил бы ты так поступить с французом, скажем, или с немцем?

– Помилуй, дорогая кузина, французы или немцы – европейцы. Нам сродни. А абрек... Он же дикарь.

– Неправда, ваше высокопревосходительство! – вскочил Александр, голос его дрожал, звенел. – Горцы Кавказа ничем не хуже французов или немцев! Люди они! – и, круто повернувшись, твердым шагом вышел из столовой.

– Да что же это такое происходит? Отчитывают! Кто это? Да как он посмел?! – загремел генерал, хотя уже узнал мальчишку. – Вырос! Зубы уже показывает! Я же предупреждал Николая Николаевича! Вот к чему непослушание старшим приводит. К бунту! И дети твои, кузина, тоже хороши! Чему научила ты их? И полк твоих учителей? Вот кто нравы портит нашим детям! Кому посмели устраивать афронт? Мне, заслуженному генералу. Я самой императрице руку целовал!

– Не шуми, Павел Сергеевич. Хоть ты и генерал и руку царице целовал, а мне – не указ. А худому детей мы своих не учим! Вот тебе и весь мой сказ! –

Поднялась и, высоко держа голову, величественно, впору самой императрице, удалилась.

Потемкин встал, с досадой двинул стулом, залпом осушил подряд два стакана вина и, багровый, злой, как при неудачном штурме вражеской крепости, двинулся к выходу. Половицы под тяжестью его тела жалобно стонали и трещали.

А Саша в это время уже бежал к конюшне. За узорчатым поясом синего казакина торчал незаряженный пистолет и болтался мешочек с порохом и пулями.

Из столовой он вышел с решением: «Убью!». И только когда начал было заряжать пистолет, поостыл. На миг представил себе, как Екатерина Николаевна, все Давыдовы, люди Каменки будут смотреть на убитого и на него, Сашу, на убийцу. Если Екатерина Николаевна не могла смотреть на разлитое красное вино, то что с нею будет, если она в своем доме увидит настоящую пролитую кровь, пусть и злейшего врага его, Александра Чеченского.

И простит ли Николай Николаевич своему крестнику эту кровь? Убить Потемкина, конечно, следует, но не здесь. Хорошо было бы вызвать его на дуэль. Вообще все как следует нужно обдумать. Он седлал норовистого резвого скакуна, которого разрешил ему брать Николай Николаевич.

— Далеко собрался, Сашко? — спросил конюх Степан, брат Митрича.

— В лес. Куда глаза глядят.

— В лесу развелось зверья, как тараканов в подполье. В воскресенье коняку лесника зарезали. Возьми мой самопал, — он протянул Саше ружье. — Картечью заряжено.

— Спасибо, дядька Степан. Ружье — стоящая вещь. Схорони пока пистолет, а то потеряю невзначай, — и с места пустил коня в галоп.

Из-под копыт – снег хлопьями. Лес сразу надвинулся темной стеной. Он расступался и смыкался за спиной, стонал и гудел, пылил колючим снегом.

Александр забрался в самую чащу, лошадь пошла тише, пробивала себе дорогу через густой подлесок. Неожиданно она тревожно запрядала ушами, начала всхрапывать. Над лесом всполошенно закаркала ворона. Потом послышался частый стук молотка по дереву. И вдруг – зов о помощи:

– Мама! Помогите! Ма-ма!..

Александр пришпорил коня, вынесся из чащи. По поляне скакал вороной конь с белым всадником. Почти настигая их, по снегу прыгали серые клубки. Волки! Шесть или десять! Вороной вырвался на пустынную лесную дорогу.

Конь Александра еще больше захрапел, вздыбился гривой. Александр натянул поводья, сорвал с плеча ружье, прицелился в ближайшего волка.

Зверь перевернулся в воздухе и растянулся. Стая сразу же накинулась на него. Замелькали клочья шерсти. Волки пожирали своего собрата.

Александр догнал всадника. Рядом поехал. Тот трясся в плаче, закрыв рукавами шубки лицо.

– Ну, чего расплакался? Стыдись! – хотел успокоить Саша.

– Ага, тебе бы так... Чу-уть волки не съели... Я так испу-уга-а-лась! – Рукава опустились, и Саша увидел залитое слезами лицо с черными локонами, выбившимися из-под беличьей шапочки, глаза – голубые, как вода в Кезеной-Ам – горном озере Кавказа.

– Девчонка! – невольно вырвалось у Саши, и он ругнул себя в душе: настоящий мужчина ничем не должен показать, что чем-то удивлен. По неписанным законам в Алдах Сашу за это презирали бы все: Мажи, Хасин...



– Они так гнались за мной...

– Сытые не побежали бы, – с оттенком превосходства покровительственно произнес он. – Не этим ли вы хотели отбиться от них? – он указал на короткий хлыст в руках девочки.

– Мне и сейчас страшно, – она пугливо озиралась по сторонам.

– Мадмуазель, – этому галантному обращению с девушкой Александр научился у московских студентов. – Вы под моей защитой, – и остался доволен собой: не растерялся, слова подходящие нашел, волки отстали...

– Вы спасли меня.

– Лучше жизнь дарить, чем отнимать ее... Любой другой на моем месте... Дело случая, – и подумал: где эти слова вычитал? Лихо выходит!

– Нет, нет! Не любой! Как вас зовут?

– Александр.

– Меня – Софья. Только зачем нам чиниться? Называйте меня просто Соней, а я вас – Сашей. Договорились? Ох, уж эти волки! Бр-р! Мороз по коже.

Слабые следы полозьев и копыт, видно, редко по этой лесной дороге ездят, – снег на лапах сосен, черные вороны, что-то клевавшие на дороге, хотя она была белым-бела, неожиданно с опушки леса распахнувшаяся степная даль, морозное синее небо – все сверкало, переливалось яркими красками. Солнце, казалось, запуталось в крыльях близкой мельницы. И крылья тоже сверкали, как хрустальные. Цокали копыта. Позванивали уздечки. Конь Софьи кружил, хоть на вольты его пускай, из ноздрей его вырывались клубы пара.

Мальчик и девочка молчали. Пришел в их жизни такой час, когда слова были бессильны выразить красоту открывшегося перед ними мира.

- А вот и мой дом, – нарушила молчание Софья.
- Уже?
- Увы, мой славный рыцарь. Ты позволишь мне так называть тебя?
- Тебе все можно позволить, – серьезно ответил Александр.
- Это очень опасно. Берегитесь меня, – Софья освободила из муфты руку и погрозила пальцем.
- Беречься? – улыбнулся Александр. – Вот снег на мою шапку упал. Зачем от него беречься?
- Да ты поэт!
- Державина читал. Оды.
- А, – несколько разочарованно произнесла Софья. – Я думала – сам... Ну что ж, пора и прощаться. Где ты живешь?
- В Каменке. В усадьбе. Только я не Давыдов, а Чеченский.
- О, мой рыцарь, я знаю тебя. Мне тетя Зоринова рассказывала. Кавказский пленник – это как из чудесной сказки... Сражения... Храбрецы. Там, наверное, на Кавказе, все такие, как ты.
- И здесь много смелых людей.
- Здесь не всякий волка убивал. Спас меня... А в Петербурге расскажу – высмеют: придумала!
- Почему в Петербурге?
- Разве я не сказала, что приехала к тете из Петербурга? Скоро уеду. Ну, прощай, Саша, – она протянула руку. – Тетя, наверное, беспокоится: «Куда пропала Софья?». Расскажу ей – ахнет!
- Не надо. Мне хочется, чтобы об этом знали только мы...
- Да? Странное желание, но раз тебе хочется... Прощай, мой спаситель, – она легонько хлестнула Вороного.



Александр смотрел ей вслед, пока она не скрылась за снежным вихрем, так ни разу и не оглянувшись.

«Вот и все, — с грустью подумал Александр. — Уеду. Она тоже. Даже адреса не спросил...»

По снегу поползли синие тени, гасла голубизна неба, крылья мельницы выпутались из солнца, темнели. Дорога в Каменку была безлюдной. Только далеко по шляху в Киев виднелся возок, да доносилось глухое треньканье бубенцов,

— Павел Сергеевич изволили уехать, — первое что он услышал от Степана.

«Наверное, это к лучшему, — вяло подумал Александр. — Вот доволен же Потемкин собой. А принес ли он кому-нибудь хоть раз в жизни, хоть по ошибке добро? А по чьему приказу гнали каторжан по шляху? Не на совести таких ли, как Потемкин, — муки и слезы крепостных?»

Чтение запретных книг в университете, беседы с Петром с беспощадной ясностью говорили: народ страдает и надо что-то делать, чтобы страданий не было. Но как это сделать? Может, так, как Николай Николаевич? Он ведь, не в пример Павлу Сергеевичу, старался облегчить участь своих солдат, горцев Кавказа».

Впервые за многие ночи, проведенные в Каменке, Александр забылся в сне только перед самым утром. Но и во сне его не покидали, причудливо смешивались события минувшего дня: и радость нынешней встречи с Каменкой, с Екатериной Николаевной, и Потемкин, и Софья. Потемкин бежал впереди возка и стрелял по воронам... Саша догонял хохочущую Софью, увязал в сугробах, а за ними вдруг появился Потемкин, впряженный в единорог. Вот он развернул его и начал посылать чугунные ядра в сто-

рону Каменки. Выстрелов почему-то не было слышно, только пороховые облачка клубились над Тясмином...

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Обещания сохранить в тайне свою встречу с Александром Софье хватило до утра. Ночью она вскакивала, металась по постели. Обеспокоенная тетушка не раз подходила к племяннице, а за завтраком сказала:

– Велю Вороного тебе не седлать: амазонка – тебе не впрок.

– Но, тетушка, я же прекрасно езжу. Папа на конюшне в Петербурге держит специально для меня орловского рысака. В манеже и на выезде я держусь в седле крепко.

– Знаю – наездницей ловкой стала. А ночью плохо спала.

– Так волки же! – и прикусила язык.

– Что волки? – всполошилась тетушка и не отстала от племянницы, пока не выудила у нее все.

– Кавказский пленник? Собирайся! В Каменку!

– Зачем? – вспыхнула Софья.

– Она еще спрашивает! Ты хочешь прослыть неучливой, неблагодарной? Молодой человек спасает ее, а мы даже спасибо не скажем Екатерине Николаевне. Собирайся!

Заложили сани. Лошади нетерпеливо рыли снег копытами у подъезда. Тулуп в сани бросили такого размера, что в него можно было завернуть сани вместе с упряжкой. Анна Леопольдовна, торопясь, подгоняя всех, сама задерживала отъезд: платья все на Софье и на себе перемерила, прическу делала, ломала... Наконец выплыла в шубе.

Кучер, главный егерь с двумя ружьями на тот случай, если в пути зверь или лихой человек объ-

явятся, — впереди; на запятках саней — двое слуг. Тройка с места тронула, бубенчики весело зазвенели. Скрип полозьев, жгучий морозный ветер в лицо — хорошо нестись по зимней дороге! Улыбается Софья и не замечает, что брови, ресницы ее серебрятся инеем.

Но вот лошади вдруг захрапели, сбавили ход, забились ногами о передок саней. Егерь на ходу спрыгнул.

— Что там? — обеспокоенно спросила Анна Леопольдовна.

— Кровь на снегу.

— Боже мой! Разбойники учинили злодейство!

— Тетушка, успокойтесь! Здесь Саша вчера волка убил. Они его съели.

— Кавказского пленника съели? Что ж ты раньше мне об этом не сказала?

— Да не Сашу волки съели — убитого Сашей волка.

— Фу ты, господи, до смерти напугала,

— Понятно, — говорит егерь, — у лошади чутья больше человеческого. Волки и снег грызли, а все равно кровь осталась. Волкоеды. Наши кони учуяли запах волчьей крови. Испугались, глупые. Поехали.

— Софья, а почему ты молодого человека назвала Сашей? — Анна Леопольдовна подозрительно уставилась на племянницу. — С молодым человеком неприлично уже после первой встречи быть так накоротке. А может, ты с ним встречалась до этого?

— Да когда же? Просто так вырвалось, — покривила душой Софья, — ну, конечно же, мне надо было сказать Александр.

А сама смотрела на показавшуюся заснеженную крышу каменского барского дома. Дымы из трубы вились высокими столбами, прозрачный сад расступался. На Тясмине дети катались на санках, бегали.

«Как Саша встретит меня?» Ей интересно было знать, чем он сейчас занят, думал ли о ней, как она всю ночь о нем. И как это чудесно, что именно он, а не егерь или кто-нибудь другой убил волка...

Екатерина Николаевна неожиданным гостям обрадовалась: зимой они так редко заглядывали в Каменку. Она отставила томик «Новой Элоизы» Руссо, который подарил ей Павел Сергеевич в собственном переводе.

— Ах, дорогая Екатерина Николаевна, — обняла Анна Леопольдовна хозяйку. — Я не могла к вам не приехать. Вы уже знаете почему? Не знаете? Он вам ничего не сказал?

— Кто?

— Ваш воспитанник, крестник Николая Николаевича, кавказский пленник.

— Боже мой, он что-нибудь натворил?

— Так вы и в самом деле ничего не знаете? Счастлива выразить нашу с Софьей глубокую благодарность. Он так отважно, так решительно... Кланяйся, Софья! — ее рассказ был длинным, изобиловал подробностями, о которых Софья даже не подозревала.

— Позовите Александра, — велела Екатерина Николаевна горничной. — Ты что же это, мой друг, молчал? — спросила она Сашу, когда тот явился.

Александр, увидев Софью и Анну Леопольдовну, густо покраснел, всем видом упрекнув девочку: «Мы же договорились!». А вслух:

— Я что-нибудь не так сделал, Екатерина Николаевна?

— Бог с тобой, от крестника Николая Николаевича я ничего другого и не ожидала. Ты очень порадовал меня. В нашем роду, роду Раевских и Давыдовых, никто иначе и не поступал. Я рада, что ты не осрамил нашего рода, Сашенька. Ну что ж, Анна

Леопольдовна, а пусть нас дети оставят. Наши разговоры не для их ушей. Александр, займи гостью.

Александр повел Софью к себе. Она рылась в книгах, боязливо прикоснулась к пистолету, но так и не решилась взять его в руки.

— Пошли на Тясмин, — предложил Саша, засовывая за пояс пистолет,

— Зачем пистолет?

— Рыбу в проруби будем глушить.

На Тясмине всюду раздавались звонкие детские голоса. Дети катались на льду, а с высокого берега на санках — до самой середины Тясмина. Было весело, радостно всем. Но вот со стороны деревни показалась бегущая собака.

— Спасайтесь! — послышался мужской крик с берега. — Собака покусала Николая Нечипора! Бешеная собака!

Дети бросились врассыпную. Только малыш, запутавшийся в веревках саней, беспомощно барахтался на снегу. Собака направлялась к нему. За нею гнались мужики, а навстречу ей спешил Александр.

— Берегись, паныч! Мы ее кольями!

Собака была уже в нескольких шагах от малыша, когда Саша выстрелил.

— Прямочки в голову, — удивился мужик, подбежавший первым.

Собаку уволокли. Тясмин снова огласился звонкими детскими голосами.

— Тебе не жалко собаку? — спросила Софья.

— Бешеную? Ты слышала: Николая Нечипора покусала. Жив ли будет? А Нечипор — лучший пасечник в Каменке. Могла и детей погрызть. Бешеная — пострашнее, поопаснее волка.

— Прости, я не подумала об этом. Мне ее уже не жалко.



Рыбу они не глушили. И домой в тот день Софья не уехала.

— И не думай, Анна Леопольдовна, не отпущу, — решительно сказала Екатерина Николаевна, как только та засобиралась. — Греха на душу не возьму. Дело уже к ночи. День-то короткий. И дел, чай, у тебя дома неотложных нет. Вишен не мочить, малину не собирать. И приметы все худые: вчера на племянницу твою волки напали, сегодня бешеная собака у нас. Как бы по дороге разбойнички на вас не напали.

Вечером Софья и Александр снова пошли на Тясмин.

Небо золотилось звездами, и отблеск его вспыхивал на лопастях водяного колеса старой мельницы, на отполированных закраинах проруби, откуда Степан черпал воду и наполнял ею обледеневшую бочку на санях.

В проруби, когда все успокаивалось, плавала одинокая звезда. Александр выпросил у Степана ковшик и начал, шутки ради, ее вылавливать. Для Софьи. Звезда рассыпалась на тысячи осколков. Софья радостно смеялась.

Мороз набирал силу. Вскоре прорубь подернулась ледяной коркой, и теперь на ней отражался лилово-синий свет ночного неба.

— Красиво как! Хорошо мне! — сказала Софья.

— И мне.

— Саша, тебе в Москве еще долго учиться?

— Летом заканчиваю — и на Кавказ, в армию.

— Там же война! Убить могут!

— Там моя родина. Хочу, как Николай Николаевич быть полезным людям.

— Саша, поклянись мне, что будешь осторожным... Для меня. Я буду в своих молитвах просить бога, чтобы он тебя берег. Чтобы сабля не зарубила, чтоб из ружья не попали...

– Просить бога? – удивился Саша и обрадовался: значит, Софья, эта девочка, красивее которой он еще не видел, будет поминать его в своих молитвах?

– Неизвестно, когда мы опять встретимся. Прошу, Саша: возьми у меня медальон, – она расстегнула шубку, сняла беличью шапку. В свете звезд сверкнула цепочка, и Саша почувствовал на ладони тепло металла. – Одень сейчас же на шею, под рубашку. И пусть отныне он сохранит тебя от смерти, от увечья, от дурного глаза, от когтей зверя лютого и от всего злого.

Александр покорно надел медальон. Тепло еще не остывшего металла передалось его груди. И все-таки он спросил, что в том медальоне.

– Портрет человека, которого я люблю.

– Зачем я буду носить этот портрет? – Александр потянулся к цепочке, чтобы сорвать его с шеи.

– Не смей! Ты его полюбишь. Он страдал за народ, покровитель земледельцев. Ему палач отрубил голову. Давно. Он святой. На портрете Георгий Победоносец. Он победил чудовище, которое приносило страдания людям.

– Ты специально для меня подготовила?

– Я давно ношу его. Он очень мне дорог. Это наша семейная реликвия. Бабушка моя дарила его бабушке, когда он молодым еще пошел на войну против шведов. Вернулся и умер в глубокой старости. И бабушки уже нет. Перед своей смертью она отдала мне медальон. «Софьюшка, – сказала она, – носи, отдашь самому дорогому для тебя человеку. Пусть он хранит его для тебя». Вот я и решила отдать его тебе. Чтобы ты не забывал меня. А я тебя не забуду, я всегда буду ждать тебя.

– Спасибо, Соня. Обещаю: этот медальон всегда будет со мной, а ты в моем сердце, – сказал он горячо и испугался: вдруг она за «сердце» обидится.



Но Софья ничего не ответила. Молчал и Александр. Они и не подозревали, что это молчание сейчас им было нужнее всего. Не понимали, не знали еще, что их чувства, состояние душ называется любовью.

## РОДНОЙ АУЛ

Неделю назад Александр Чеченский прибыл в Кизляр, в Нижегородский драгунский полк.

— Привыкай к службе, вахмистр, — встретил его командир полка Николай Николаевич Раевский. — Осмотрись. И вот тебе мой наказ. В армии пряниками не кормят. Беда, бывает, приходит, откуда ты ее не ждешь. Кровь, смерть, увечья, злость, зависть и злоба — неизменные спутники войны. Не ожесточись. Не жестокость — доброта к человеку — главный бог, которому не уставай молиться.

— Крестный...

— Отныне, вахмистр, я тебе полковник, а потом только крестный.

— Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться. Генерал-полковник Потемкин по доброте своей заковал абрека в Анапе?

— Вахмистр, ты юн, потому спрашиваешь предерзостно. Мне худое про свое начальство не пристало говорить: статут не велит. Скажу тебе только: я не сделал бы этого. Я принимал участие в той кампании с Митричем. Взяли крепость, а радости не было у меня. А генерал Потемкин нынче в Петербурге обретается.

— Жаль, — вырвалось у Александра.

— Ты так привязался к нему?

Александр промолчал. Он очень рвался на Кавказ. Не забывал, как гулко билось его сердце в Ка-

менке при встрече с Потемкиным. Разве мог он рассказать Николаю Николаевичу о затаенном, сокровенном? И о том, что еще успел узнать о Потемкине?

Александр сразу же был определен адъютантом при штабе полка и к выполнению своих обязанностей относился ревностно. Почти всегда находился рядом с Митричем.

— Сынок, — прослезился тот при встрече.

Радостно приняли Александра и старые знакомые — солдаты. Удивлялись: «Гляди же ты, вырос и уже — вахмистр! Не зазнался бы! Ежели нос задерет высоко — потечет осока». Их рассказам не было конца. Александр слушал с интересом, вел себя просто.

Услышал он тут и продолжение истории с поимкой абрека в Анапе, о чем Потемкин умолчал или не успел рассказать в Каменке.

Один из наибов, когда абрека заковали в железо, сказал:

— Ты, генерал, — грязная собака, — и схватился за пояс, позабыв, что на нем уже нет оружия.

Заковали и двенадцать наибов, побросали на повозки и повезли, а вот куда — неведомо...

Продолжение истории об абреке и наибах Александр неожиданно услышал однажды ночью. Проснулся он оттого, наверное, что велся неторопливый разговор. Приглушенно, точь-в-точь надоедливое жужжанье осы и густой шмелиный бас. И оттого еще — это уже наверняка было причиной пробуждения, — что в хате, где он жил с Николаем Николаевичем, полно было табачного дыму, терпеть не мог его Александр.

Спросонок он повернулся на другой бок, натянул на голову одеяло, спасаясь от жужжания осы, шмелиного баса и дыма. Спать хотелось страшно. А шмелиный бас пробился через одеяло:

— Абрека с наибами везли без роздыха. Это, друзья, было ужасно. Генерал Д., вы ж знаете, туп, как банник. Одно время служил в Гатчине. И хоть Потемкин не поклонник гатчинской муштры и гатчинского военного регламента, все же Д. отличил: исполнитель, педант. Мы, сопровождавшие офицеры, осторожно намекали Д.: мол, черкесы тоже люди, надо снимать с них цепи хоть на время еды. «Ваша позиция — афронт нашему главнокомандующему. Не позволю! — и потрясал ордером: — За собственноручным генерала предписанием на мое имя указано: держать плодеев в железе! Заклепать холодной заклепкой! Гордыню и злоумышления сокрушать крестным знаменем и веригами...»

— Так за всю дорогу ни разу и не расковали? — спросил Николай Николаевич.

— Куда там! Мчали почти без роздыху. В деревнях мужики и бабы окружают. «За что их, сердешных?» Иная баба — не выдержит, слезами зальется. Хлеб, соль, снедь всякую суют. Тем и жили черкесы. К казенному кошту не притрагивались. Даже воду отплеснут из ковша, пошепчут что-то по своему, сто поклонов отобьют, потом мелкими глотками выпьют...

— И куда же их?

— Куда ж еще?.. В Сибирь, наверное...

Замолчали. Слышно было только посвистывание, хрипение чубуков. Кто-то хлопнул створками окна. Дым пополз, поплыл в черную дыру, хата наполнялась свежим воздухом.

— У нас в Сибирь или к Шешковскому, — пробасил шмель. — И везде — тиранство. Я недавно из Парижа...

— Что? Как там? — раздались нетерпеливые взгляды.

– Ничего особенного... Брожение. У нас – помнее, там – поболее, – замялся говоривший.

– Говорите, полковник, смелее, – разрешил Николай Николаевич. – Здесь все свои. Ручаюсь: не осудят, не донесут.

– Ну что ж, извольте, так и быть: доверюсь вашей чести, господа. Франция давно бурлит. Уже дед Людовика XVI не появлялся на улицах Парижа, опасаясь расправы плебеев, фабричных людей, мастеровых. Я был свидетелем похорон Поля Джонса.

– Адмирала на Черном море у нас? – удивился Раевский. – Он из простолюдинов, сын шотландского садовника. И так неожиданно исчез из России.

– Умер в мансарде нищего без медного гроша в кармане. Хоронили его с небывалыми почестями. Народ, санкюлоты – революционный эскорт – сопровождали покойного. Я слышал в толпе кричали: «Джонс – враг рабства, деспотов!». Кто-то под копыта лошадей, впряженных в катафалк, бросил королевское знамя с ненавистными для черни лилиями.

– Ну, а Людовик XVI как? – прожужжала оса.

– Вы не слышали: голову отрубили. И королеве Марии Антуанетте. Но об этом я уже дома узнал. Этого следовало ожидать.

– Вот же не убоялись ни бога, ни дьявола – подняли руку на короля – помазанника божьего, – загудел шмелиный бас. – И земля не разверзнулась под ногами дерзнувших.

– Неизвестно еще, чем это обернется для Франции позже, – сказал Раевский. – А царице нашей мы – надежная и крепкая опора. Не все у нас хорошо. Но чем истинный россиянин и тут может отечеству помочь? Елико возможно, оберегать его от вторжений чужеземцев, народ добром приближать к себе, не расторгать с ним уз. Откуда мы, дворяне? Из лона народного.

– Оно-то так, – загудел шмелиный бас, – Николай Николаевич. Извинить прошу: не по титулу обращаюсь.

– Не будем чиниться, Кондратий Федорович.

– Оно-то так, да мужик-то у нас из хомута не вылезает. Барщина. Оброк. Кнуты. Тюрьмы монастырские. Та же Сибирь...

– Зачем сажей все мазать? – зажужжала оса.

– Сажей? Может, вам больше по душе акафист сладчайшему господу нашему Иисусу Христу? Извольте. С молоком матери вытверживаем: «Иисусе пресладкий, Иисусе преславный, Иисусе премилосердый, помилуй мя». А может, вам слух ласкает акафист ко пресвятой богородице? «От всяких нас бед свободи, да зовем ти: невеста невестная». В тайной экспедиции стены в иконах. Идет допрос, на дыбе мужик кровью исходит, просит пощады. А Шешковский читает акафисты сладчайшему Иисусу и богородице.

И снова осиное жужжание:

– Один мужик, один Шешковский – это же не вся Россия.

– Не вся? Послушайте же, что произошло в нашей Исетской провинции в Долматовском монастыре, что в ста пятидесяти верстах от Челябинска. Игумен монастыря пригласил крестьян из окрестных деревень, поддерживавших Пугачева, послушать «всемилоостивейший» манифест. Обратите внимание, господа, «всемилоостивейший». Пришли мужики. Тут их армейские экзекуторы штыками в монастырский двор загнали.

В соборе свечи освещали лики святых в серебряных и золотых окладах. Шла обычная монастырская служба. Пели заутреню, обедню, вечерню. И во все это время экзекуторы и монахи с усердием кнутабой-

ничали. От несмолкаемых стенаний и воплей крестьян, заглушавших службу, Иисус не сорвался с распятия, богородица не прослезилась...

– Не кощунствуйте, – раздалось осиное жужжание.

– Не перебивайте, – подал голос Николай Николаевич.

– Забитых насмерть людей уносили и сбрасывали с высоких крепостных стен в снег. Полуживых тоже. Там всем им и конец был: еще лютовали морозы. А трупы не разрешали убирать целую неделю.

Чубуки трубок не хрипели, дым табачный выветрился, хата выстудилась, пора было и окно закрыть: с гор тянуло стужей.

– Кондратий Федорович, да могло ли быть такое? – кто-то спросил. – У храма божьего, в святом месте... Монахи...

– Честью своей, матерью моей клянусь, – правда.

– Вы так рассказывали, – тонко прожужжала оса, – будто там были.

– Есть живой свидетель всему этому. О ту пору он по Яику, Оренбуржью и другим весям и градам скорый суд и расправу чинил. А в тот день бражничал с игуменом Долматского монастыря. Это генерал Павел Сергеевич Потемкин. А я при нем адъютантом числился. С кем только судьба-злодейка не сводит!..

– Господа! – поднялся Николай Николаевич. – Мне кажется: мы тут немного погорячились, лишнее, может быть, сказали... Надеюсь, все останется между нами. У нас есть служба, долг. И мы им преданы всей душой. Жаль, Кондратий Федорович, что ты проездом. Пожелаем ему, господа, доброго пути...

Александр до утра не смыкал глаз. Он был потрясен. Мысли не допускал, что офицеры потаенно могут говорить о запретном. Не обвинили парижан,

которые отрубили головы королю и королеве, и пугачевцев, которым не удалось это сделать с Екатериной П. И, по всему видно, осудили тайную экспедицию, экзекуторов и монахов в Долматском монастыре.

А дальше что? Вот так же ночами уединяться узким кругом и, приглушая голоса, отводить душу подобными разговорами?..

...Александр на Кавказ прибыл в относительно спокойное время. Солдат не подвергали изнуряющей пустой муштре. Николай Николаевич наставлял всех:

– Любых сражений не проигрывать. Это не я – Суворов говорит.

И солдаты старались, особенно на глазах своего полковника. Так было и сегодня, после ночного разговора офицеров о запретном. Учения шли полным ходом. Солдаты делали перебежки, оттачивали ружейные приемы, ползали по-пластунски, рыли волчьи ямы. В общем, все шло, как всегда.

Вахмистр Чеченский на горячем аргамаче рубил лозу; вернее, пытался. Сабля была тяжелой, норовила выскользнуть из рук, почему-то лишь иногда задевала лозу. Та гнулась и торжествующе, издевательски раскачивалась. А у Николая Николаевича – что ни взмах сабли, то – молния: лоза, не шелохнувшись, не качнувшись, срезанной частью втыкается рядом с шестом.

Старые драгуны, как могли, утешали своего вахмистра.

– У нас попервах еще хуже получалось.

– Научишься, – по-доброму улыбался Митрич. – Хватка рубаки у тебя есть.

Александр со стыда сгорал, потел, старался изо всех сил, а выходило еще хуже.

– Не спеши, сынок, – наставлял Митрич. – Смотри, как я делаю. – Во весь опор гнал коня и, хищно наклонясь, незаметно взмахивал саблей.

Когда к обеду появились кашевары, расстроенный Александр отъехал сначала к ближней рощице, потом поскакал в чистое поле. Остыл. Залюбовался хребтом. «Где-то там и мой аул. Цел ли дом?»

– Хорошо на земле родной, Саша? – раздался голос крестного.

– Да, – просто ответил Александр.

– Вижу. С первого дня, как только ты в Кизляр прибыл. А не поехать ли тебе в родные места? Возьми в проводники нашего толмача. Завтра же. Ну как, согласен?

На следующий день Александр поехал с сыном толмача Халидом. Солнце еще не взошло. Но звезды уже меркли, купол неба светлел, а внизу все было подернуто черным бархатом. Спала земля, в листве деревьев по всей Кизлярской долине уже гомонили птицы, и вдалеке золотом и пурпуром, огромными изумрудами и синим пламенем вспыхивали горные вершины.

Воздух был студен. Александр и Халид надели черные бешметы, мохнатые шайки, обулись в легкие ичиги, опоясались кинжалами – в общем, все у них, как у горцев.

– Значит, ты из здешних? – спросил Халид. – Язык вайнахов знаешь?

– Почти забыл.

Дорога настолько мало наезжена, что между колеями кустился бурьян, особенно много было полыни и чертополоха, а по обочинам трава – лошадям по гриву. За травой – девственный лес. Зверя в нем обязательно встретишь, человека – не всегда.

Вот и река. То петлей из леса выскочит, то в чащу надолго убежит.

– Алды, – сказал Халид.

– Где?



Впереди и кругом могучие бронзовые, серебряные стволы заслоняли все, но вот они начали редеть, разбегаться. Открылись сакли, кривая улочка, заброшенный сад, бурьян в человеческий рост. Совсем не то, что сохраняла память! Сакли – маленькие. Разве что мальчишки в улочке были те же, похожи на Хасина. Они, громко крича, играли в альчики, но когда заметили всадников, оставили свое занятие и с любопытством воззрились на них. Овца выщипывала траву из рассыпавшегося в прах плетня. У развалин бывшего жилья, от колышков ворот которого не была протоптана даже тропка, стоял дуб. Большой. Александр придержал коня.

В зеленых берегах – горный поток. Уж не Черная ли речка? Ну, конечно же, она! Вон даже плоский камень знакомый. В последний раз он видел здесь тетушку Асму. Она стирала. Он совершенно точно помнит это. А где же сакля Джумы? Да вот же она! С проваленной крышей, с пустыми глазницами окон. Значит, развалины – бывшая сакля Александра? И, значит, этот дуб – тот самый? Александр соскочил с коня, подбежал к дубу, как живого обнял. Если бы Александру сказали, что дуб ему не обрадовался, он бы не поверил. Руками, сердцем, всем телом он почувствовал, как дуб задрожал, как ласково зашептали бронзовые листья...

А дальше, за камнями развалин, в глубине запущенного сада огромной вершиной размахивал тутовник. Оторвавшись от дуба, Александр подбежал к тутовнику, верхушка которого терялась в вышине, так же, как и тогда, когда Александр в белой рубашке убегал вместе с Хасином от Митрича и Липата.

– Вахмистр! – крикнул Халид.

С Халидом разговаривал старик. Длинная борода. Из-под кустистых бровей на Александра смотрели

еще зоркие глаза. Вахмистр почтительно поклонился старику, с трудом выговорил приветствие.

– Говорит не на языке вайнахов, – заметил старик.

– У русских вырос, – ответил Халид.

– Похож на мать. Ты сын Алхазура. Ты Али.

– Вы знали мою мать?

– Я здесь всех знаю. И тех, кого похоронили. Тебя мальчиком взял молодой русский офицер Раевский.

– Вы и это знаете? Или это ты, Халид, рассказал?

– Друзья всегда в моем сердце, а для врага – кинжал на поясе.

– Для Раевского?

– Он настоящий воин. С добрым сердцем. А Потемкин – злой.

– Знаю, – глухо ответил Александр, глаза его потемнели.

– Вижу – сын Алхазура, – с удовольствием произнес старик. – Кинжал на поясе у тебя не для того, чтобы тесто им резать, – и сдвинул шапку. На лбу старика темнел большой шрам.

– Дедушка Мажи! – вскрикнул Александр и обнял старика.

– Узнал, узнал-таки, – растроганно произнес старик и горделиво тронул белые усы. – Да будет к счастью твое возвращение к родному очагу. Что же мы стоим? Пошли ко мне! Я первый встретил тебя и никому не уступлю! – и, не ожидая ответа, старик бодро зашагал к своей сакле.

– Дедушка Мажи, я не пойду, – остановил его Александр.

– Что? – гневно повернулся Мажи. – Ты не желаешь в мой дом?

– Дедушка Мажи, я не то сказал. Не так. Я не отказываюсь. Только я прежде хочу пойти на могилу моей матери. А могилы моего отца я не знаю.

– Прости меня, старика, что я сам не догадался сказать тебе об этом, – глаза Мажи потеплели. – Это хорошо, Али, что сердце твое попросилось к матери. Ее звали Рахимат. Она была самой красивой девушкой в Алдах, когда Алхазур позвал ее к себе в жены. Я поведу. И отец твой похоронен рядом с матерью твоей. И русский солдат. А Джуму тогда похоронили в горах.

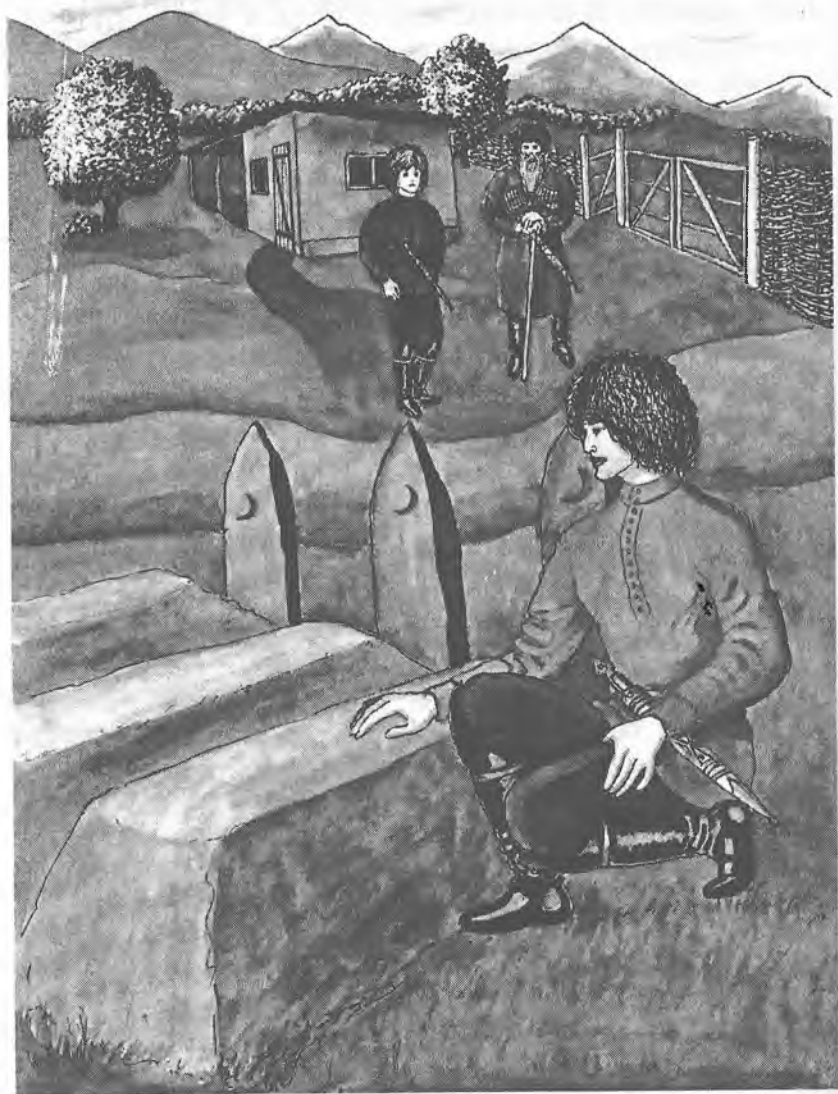
На кладбище Мажи отошел в сторонку и Халиду велел:

– Не иди. Пусть Али побудет с матерью и отцом. Мы помешаем.

Мажи ни на минуту не сомневался в том, что Али поговорит с матерью и отцом и что родители укрепят силы сына, дадут ему добрые наставления и что это будет на благо не только Али, но и людям, с которыми судьба сведет Али, потому что мертвые не дают худых советов живым.

Могилы осыпались. Александр где руками, где кинжалом поровнял их, очистил от бурьяна. Постоил. Помолился.

В доме Екатерины Николаевны он привык молиться с детьми и домочадцами. В каменных двух церквушках дети Давыдовых не столько молились, сколько шалили. Александру нравились трепетный свет свечей в паникадилах у образов с позолотой и мишурой, церковное песнопение, запах ладана, почему-то напоминавший запах кавказской сосны. Даже причастие нравилось, когда с ложечки поили вином, называя его христовой кровью, и давали закусывать просвиркой. В доме Давыдовых «Отче наш» и другие молитвы вытверживались задолго до заучивания аз-



буки. Часто устраивались в доме молебны с приглашением не только церковного притча, но и церковных светил из Киева и Печерской лавры.

В общем, Александр верил в христианского бога искренне, но молился, как и многие в семье Давыдовых, за исключением самой Екатерины Николаевны, без особого усердия.

В университете же, где над всем довлел закон божий, посещение университетской церкви превращалось для Александра, впрочем, как и для большинства его сверстников, в тягостную обязанность.

Молитва просилась, лишь когда душа в ней нуждалась.

И сегодня, у могил родителей, молитва была вызвана исключительным состоянием души. Перед Александром вставали полузабытые картины детства. Вот он с отцом у могилы матери. Александр даже могилы поправлял, как это делал отец. И стоял, подражая отцу. Вот разве слова, просившиеся из души, были другими.

«Я не блудный сын, — шептали губы юноши, — пришел к вам, отец и мать, только сегодня, не зная, что вы похоронены вместе. От Мажи я узнал твое имя, мать, но ты и без него навеки в моем сердце. Судьба распорядилась со мною по-своему. Не знаю еще, ко злу, к добру ли. Но плохого я от своего крестного не видел. Добрых людей на земле, далекой от края вайнахов, немало. И злых много. Благословите же меня оба, моя мать Рахимат и мой отец Алхазур, на добрые дела, укрепите мой дух, дайте мне сил никогда не мириться с моими и людей врагами...»

Молчал Мажи и возвращаясь с кладбища, думая, что Али и по дороге к его, Мажи, дому все еще беседует или находится под впечатлением встречи с Рахимат и Алхазуром. Александр и в самом деле все еще жил своей молитвой.

К сакле Мажии тянулись алдынцы, прослышавшие о госте старика.

Давно не ел Александр кукурузных лепешек, такого вкусного вареного мяса, приправленного лесными и степными травами. А мед! Душист, тверд, бел. Слава о нем гремела в Трапезунде, Персии, по всему Востоку. Турки меняли на мед ткани, воск, девушек. И такой простокваши не пил Александр, почитай, с того дня, когда его взяли в плен. И такого сердечного разговора у него не было ни с кем ни в Каменке, ни в Москве. Халид едва успевал переводить вопросы и ответы. Сначала спрашивал Александр.

Он узнал о том, как погиб Джума.

Тетушка Асма поселилась в горах у родственников, Хасин недавно был в Алдах. Оружие отца при нем. Вспоминал Али, сказал, что, наверное, Али на чужбине умер от тоски по родной земле.

Александр рассказал все о себе. Люди дивились: значит, велика страна Россия: на лошадях до города с русской царицей скакать полгода, поперек страны поедешь — до самого края света! — года хватит! А Чечню — с солнцем встанешь — к обеду, не поспешая, пересечешь. Еще больше поразились, когда Александр поведал о подневольных людях.

— Может, Потемкин и царица рабом меня хотят сделать? — сказал Мажии. — Может, продать меня хотят, как турки продали моего старшего брата на рынке в Стамбуле, когда я еще мал был и спрятался в дупле дуба? Где мой брат Муса? Передай им, Али, что я этого не желаю. Живым не дамся.

— Крестьяне в России тоже не хотят быть крепостными. Было большое восстание.

И он рассказал о тюрьмах в Петербурге, о кандалах на шляхах Украины, о том, что услышал минув-

шей ночью в хате Николая Николаевича, разумеется, не сказав, что об этом говорили сами офицеры.

— Так вот, значит, как все получается. Гибнут, значит, не только наши, а и русские, и в других странах. Я помолюсь за них.

По сакле прошел одобрителный гул.

— Мы не знали, где ты, но всегда ждали и надеялись, что ты вернешься. Ну а дальше как, Али, думаешь жить? Земля, ты видел, заждалась тебя...

Все притихли. Александр долго молчал, а потом спросил:

— Что посоветуешь, Мажи?

Мажи погладил бороду, подбросил в очаг корявый пень — и огонь вспыхнул с новой силой.

— За меня, Али, твоя жизнь подумала, — ответил он. — Половина твоего сердца всегда будет здесь, другая — приросла к русским. Разве можно рвать пополам? Я думаю так: ты будешь там, где больше пользы принесешь вайнахам и тем русским, которые не любят Потемкина и царицу. Посоветуйся с собой. Я так говорю? — обратился он к окружающим.

— Так, — ответили все дружно.

— Ты попал, Али, в дом к хорошему человеку, в большую страну. Может, там есть люди, которые лучше нас знают, как сделать так, чтобы без войны, без рабов. Может, вместе и поднимемся на святое дело. А то ведь сманивали нас. Султан шлет фирман: «Турция вам родная мать, не даст в обиду, вы найдете в ней вторую родину, мусульманский рай». А зачем нам вторая родина? Нам хватит и одной. Турции мы не верим. Султану не верим.

Утром весь аул вышел провожать Али.

Чеченский спрыгнул у родного дуба, пошарил в траве, в дорожную сумку желудей набрал.

– Того солдата, что погиб с моим отцом, где похоронили?

– В горах, где его два товарища живут. Привыкли. Обзавелись семьями.

– Передайте им, пожалуйста, эти желуди, – отсыпал. – Пусть посадят у могилы русского...

В Кизляре Александра ожидала нечаянность: Николай Николаевич вручил ему письмо.

– Я тут гадал, кто мог тебе написать. На конверте вензеля «З. С.». Из Петербурга. У тебя есть там знакомая? О, да ты, братец, краснеешь!.. Извини, я не думал и не имею права вторгаться в твои сердечные тайны, – улыбнулся он. – У меня своих тайн преизбыточно. Из Каменки Екатерина Николаевна благословение свое посылает тебе, молебен отслужила за вечный живот воина Александра...

– Спасибо, я отвечу.

– И от меня тебе наказ. Григорий Александрович Потемкин наставлял меня на заре моей юности: «Старайся испытать, не трус ли ты: если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

– Я запомню.

– Ну вот и договорились. Теперь читай письмо. Чай, сгораешь от нетерпения.

Александр залпом прочитал, потом поскакал в чистое поле. Аргамак в травы ушел, Александр перечитывал письмо.

«Милый Саша! – писала Софья. Степной ветер шевелил траву, остужал разгоряченное лицо Саши. От полуденного солнца блестели лес и небо. У края посеребренного солнцем одинокого облака парил орел. – В Петербурге сыро и мокро. Было наводнение. По нашей улице плыли барки со спасенными, большая красная перина, какие-то деревянные клетки, теле-



нок. Его затащили на барку. У нас деревянный флигель унесло. Прислуга выскочила, с нами в каменном доме отсиделась. А во флигеле батюшка мой хранил съестные припасы. Представляешь, как нам пришлось без них?

Недавно я возвратилась от тетушки Анны Леопольдовны. Была в лесу. Летом не страшно: о волках не слышно. Ездил с тетушкой в Каменку. Пусто там. Совсем тоскливо на Тясмине, у мельницы.

Я ходила там и все ждала чуда: вдруг ты появишься!

Береги, Саша, себя. Пусть тебя пуля облетит, и сабля вострая не достанет, и хворь минет. Не переведут ли тебя, ваш полк ближе к Каменке, а всего лучше – в Петербург?»

Ну кто его, Александра, ждет так, как Софья? В его власти, в его бы воле – он сейчас же уехал бы в Петербург!

## РАЕВСКИЙ ПОКИДАЕТ АРМИЮ

За два года для Александра на Кавказе постоянными оставались только белые горные вершины. Все остальное менялось. Он уже давно научился рубить лозу. И успел отличиться в экспедициях против персов на Каспии, особенно при штурме Дербента, в баталиях против турков на Черноморье. И стал «вашим благородием» прапорщиком.

Произошли изменения и у Раевского, но другого рода – абшид. В августе уехал в Петербург за получением очередного повышения в чине. А к концу декабря возвратился в Кизляр. Впереди него торопился слух: полковник возвращается с царским рескриптом об удалении на покой.

Вмешалась злодейка-фортуна в лице нового императора России.

На прощанье Николай Николаевич устроил пирушку. Офицеры между общими разговорами подбрасывали петербургские новости.

Ротный Ржевский, поживаясь, словно от озноба, сказал:

– Почем фунт лиха, узнал я рано. На ту пору наша царица от двора и дел удалила царевича Павла на мызы Гатчина. А чтоб от лени и праздности не ослабел, дала ему в забаву войско потешное малое, в коем я был вахмистром. Кому потеха, а кому – мордобой и шишки. Царевич рано воспылал к экзерцирмейстерству. Во дворце гатчинском – цирлих-манирлих, на плацу – зверобойство. На много верст в округе черно-красно-белые шлагбаумы, будки не со стражей – сие слово царевич запретил произносить под страхом экзекуций, – а караулами. И хвастался: мыза – образец будущей России. Когда он, Павел, взойдет на престол, Россия станет гатчинской.

Граф Растопчин подарил ему стол с заводными игрушками, выигранный им по пьянке в покер у немецкого майора в Пруссии. Угодил царевичу: тот днями напролет смотрел, как при нажиге кнопки, выскакивая из днища стола, один солдат трубил сбор, другой – колотил в барабан... Как под звуки органчика, исполнявшего марш-генерал, на столе начинали маршировать оловянные солдаты.

Более всего царевич обожал трепет людской. Чтоб солдат дрожал. А забыл косички мукой присыпать – сквозь строй его. Семью свою тиранил. Сам отравы страшился: ни к чему съедобному не прикасался, пока дворецкие на его глазах пробы не снимут.

Мне повезло: на параде споткнулся. Царевич отходил меня фухтелем, разжаловал в солдаты и велел сослать на Кавказ. Пришлось все начинать сначала.

– Меня вот тоже велел отставить от войска, – вздохнул Николай Николаевич. – Не ропщу: воля государева – свята.

– Мы тоже не ропщем, – сказал ротный. – Просто нам будет не хватать вас. А отставка – что? Армию, как и Россию, от вас не оставишь! Как и от нас.

– Спасибо, друзья. Душе – тяжело. А вот с вами побыл – и легче.

– Ваше высокоблагородие, расскажите, как там в Петербурге?

– Обычно: присяга новому императору. Но, друзья, служим мы отечеству. Главное – человеком останься навсегда...

Поостерегся полковник рассказать о том, чему невольным свидетелем оказался, о чем слышал от петербуржцев.

О том, как Николай Зубов – зять прославленного полководца Суворова – прискакал в Гатчину с сообщением: императрица парализована, лишилась дара речи. Осторожный царевич усомнился: не ловушка ли? Не хотят ли выманить его из Гатчины и, как годовалого царя Ивана Антоновича, в одиночном заключении сгноить? Младенцем в тюрьму бросили и через двадцать три года в Шлиссельбурге по приказу матери Павла убили.

– Мать моя крепка плотью и духом. И сто лет ей жизни, – ответил Павел и выставил Зубова.

После этого он не находил себе места всю ужасную долгую ночь: вдруг и взаправду мать кондрашка хватит. Слух доходил: мать все предприняла, чтобы лишить его права на престолонаследие, сенату внушила: быть после нее императором Александру – сыну Павла. Ан, не бывать тому!

На рассвете мрачной ноябрьской среды гофмейстер граф Безбородко послал в Гатчину Растопчина,

того самого, который свез царевичу в свое время кабацкий выигрыш – стол с заводными куклами-солдатами. Растопчину Павел поверил.

Царицу уже обрядили в саван. Царское ложе пропахло ладаном, а в спальне матушки не выветривался дух лаванды и других косметических снадобий.

Павел лихорадочно искал завещание. Граф Безбородко при полном параде помогал ему. Пол спальни был усеян бумагами, женскими кружевами, бельем, в пятнах просыпанной пудры и помады. Завещания не было. Безбородко предложил вызвать всемогущего Платона Зубова – последнего фаворита Екатерины, великого князя римской империи, генерал-фельдцеймейстера, новороссийского генерал-губернатора, начальника черноморского флота и прочее, прочее...

– Где завещание? – спросил Павел и уставился на Зубова немигающими завораживающими глазами удава.

Фитили зажженных в хмурое утро свечей метались по спальне, подчеркивая дикий беспорядок, столь не свойственный для усопшей и Платона Зубова. На кончике курносого носа царевича поблескивала капелька пота. В широко расставленных серых глазах кипело бешенство. Зубов внутренне усмехнулся: бульдожья физиономия царевича была одновременно и смешной, и страшной.

Зубов нажал плашку секретера – из множества ящичков открылся один. Зубов еще что-то нажал, раздался бубенчатый звон – и глазам присутствующих предстал резной слоновой кости ларчик, обернутый черной лентой.

– Открой, секунд-ротмистр! – ледяным тоном приказал Павел.

– Я князь, – побледнел Зубов.

– Червь! Прах! Щенок! – затопал ногами Павел, вырвал из рук Зубова ларчик.

На дне его лежала свернутая в трубочку бумага. Царевич нетерпеливо развернул ее. Буквы, лопаясь, растворялись, как соль в воде. Но Павел выловил мгновенно самое важное и ужасное для себя: «После моей смерти передать сенату...». Значит, он не царь! Столько ждать и... Дикая злость охватила его, хотелось ломать, крушить все кругом. Но вот он выпрямился во весь свой куцый рост, протянул бумагу Платону Зубову:

– Сжечь, секунд-майор!

Зубов понял, что он с неба упал на землю. Принял бумагу, круто на каблуках сапог – подарке самой Екатерины! – повернулся и бросил царский рескрипт в пылающий камин. Бумага корчилась в огне, рассыпалась сначала в кроваво-огненную, затем в черную пыль.

А Павел уже превращался из карлика в великана, как он думал. Он решительно направился в тронный зал, где с глубокой ночи придворные ожидали оглашения завещания. Опираясь правой рукой о тронное кресло, на котором недавно восседала его мать, Павел обозрел это собрание пышно разодетых сановников, немых и неподвижных, как царскосельские изваяния из мрамора, и, ничем не выразив сыновней скорби по поводу смерти своей матери, фальцетом, как на гатчинском плацу перед каре вымуштрованных болванчиков, крикнул:

– Я ваш царь! Зовите патриарха! Будете присягать мне!

Зал безмолствовал. Но вот с противоположного конца его вприпрыжку побежал брадобрей Павла – Кутайсов. Он весь светился. Впереди него – доберманпинчер – дар цесаревичу от прусского короля Фридриха II – идола Павла. По сторонам зала одни гнулись с подобострастием перед новым императором,

ожидая от него милостей; другие были мрачны: понимали, что фортуна повернулась к ним спиной, и бог знает, чем все это кончится для них.

Доberman-пинчер подбежал к Павлу. Тот ласково потрепал его за холку и, указывая на тронное кресло, подал команду:

— Садись, самый верный из всех моих верноподданных!

Доberman-пинчер уселся в кресло, в раскрытой пасти его шевелился красный язык, дерзкие глаза пса уставились на сановников.

В зале ахнули, кто-то истово крестился...

Так начал свое царствование Павел I.

На следующий день он приказал вскрыть в Благовещенском соборе Александро-Невского монастыря могилу своего отца Петра III, который умер будто бы от «гемороидалных впал и преежестокых колик», а на самом деле был умерщвлен заговорщиками его жены тридцать четыре года назад. Павел короновал останки отца императорской короной и похоронил в один день с одинаковой пышностью его и свою мать.

Это было ужасное зрелище: гроб со скелетом в императорской ризе и гроб с нетронутой при ноябрьских холодах старухой, на щеках которой были густо наложены румяна.

На царскую гвардию надели прусские мундиры, волосы гвардейцев мочили квасом, затем посыпали мукой, к вискам крепили букли из шерсти, позади кисточку, заплетенную в проволоку. Столица с утра глохла от барабанного боя и визга флейт. Солдаты маршировали оловянными идолами: ноги не гнулись. Колени для этого специально заключали в твердый лубок.

Раевского новый царь не принял, волю только свою объявил: «В отставку!». Свыше четырехсот офи-

церов оставили службу; частично те, кого жаловала своим вниманием императрица, большинство же — кто оставался верен суворовской выучке.

Буквально перед отъездом в родной полк Николай Николаевич узнал о неожиданной смерти Павла Сергеевича Потемкина. Генерал не сомневался, что с кончиной царицы ему не будет места у подножия трона. И тем не менее, неизвестно, на что надеясь, посмел во всем своем генеральском блеске явиться в Гатчину. Новый царь, люто ненавидя всех потемкинцев, просто онемел от такой неслыханной дерзости. Потом разразился бранью, из которой можно было разобрать:

— Вор!.. Вор! Кровь Идаст-хана на его руках! Вор!..

Понял Потемкин, что имел в виду Павел. Это была давняя темная история.

Тогда Персию раздирали кровавые междоусобицы. И страдал от этого только народ. Персидская знать металась в поисках могучего покровителя и в то же время вынашивала мечту стать владыкой Востока и Севера. Заигрывая с Англией, дала ей в своих южных провинциях колонию, право строить фабрики. С северным же соседом старалась не ссориться, всячески, в том числе дипломатическими миссиями, усыпляла его недоверчивость.

Десять лет назад с одной такой миссией в Россию был направлен принц Идаст-хан. Последним его в Екатериноградской видел Павел Сергеевич.

Раевский свидетельствовал: сразу же после отъезда каравана Идаст-хана генерал Потемкин снарядил небольшой отряд во главе с Тимофеем Крючковым. Через сутки в Екатериноградской прослышали: принца Идаст-хана убили, караван с богатыми дарами для Екатерины разграбили. Крючков долго отсутствовал, а возвратившись, кому-то проболтался: сопровождал

в имение Потемкина обоз, заезжал с богатыми гостинцами в родную станицу. Раевский спросил его: «С чем обоз?». Крючков с нагловатой ухмылкой ответил: «С орехами».

Улик против Потемкина было более чем предостаточно. Но дело замял всесильный Потемкин-Таврический, хотя все в Петербурге громко говорили: ограбление персидского принца – дело рук кавказского генерал-губернатора.

Вот эту историю Павел и припомнил Павлу Сергеевичу.

Потемкин поспешил удалиться. По дороге в Петербург его хватил жестокий апоплексический удар, отнялся язык. Всего три дня полежал граф и отдал богу душу. Прах его в дубовом гробу свезли в фамильный склеп. Молодая вдова не особенно убивалась по усопшему.

Александра Чеченского весть о смерти Потемкина не взволновала. Просто он подумал: хорошо, что одним скверным человеком в России стало меньше. Теперь Александр как бы издала, с высоты своего жизненного опыта, снисходительно вспоминал о том мальчишке, который в Каменке страстно желал отмщения. Нет, в нем не остыли ярость, ненависть к Потемкину. Они стали острее, крепче, как клинок, превращающийся после закалки в булат.

Они б не исчезли, если бы даже Потемкин принял смерть от руки Александра, потому что таких, как Потемкин, было много. А рядом жили Николай Николаевич, Митрич, мужики, оживал ремесленник из Китай-города на Лобном месте в Москве. Воображение рисовало вооруженные толпы, шедшие за Пугачевым, и парижан, отсекающих голову королю...

Все эти люди – имя им легион – жили и живут только для того, чтобы мешать – кто Потемкину, а



кто и царю, королю, а в общем – всем им вместе. Правда, они, по всему видно, еще не знают, как это лучше и понадежнее делать. Сердце Александра Чеченского тянулось к этим людям. Он понимал: с ними легче, они искали в людях не то, что их разлучает, а то, что роднит, сближает.

Перед самым отбытием из Петербурга Николай Николаевич встретился у своих родственников с девушкой.

– Вы с Кавказа... Как там Саша? – робко спросила она.

– Какой Саша? – удивился Раевский.

– Ваш воспитанник.

– Софья? Извините за такую вольность. Вы, конечно же, Софья. У меня к вам от Александра письмо. Закружился здесь. Хорошо, что вы, милое создание, обратились ко мне, а то бы я увез письмо назад. Вот оно, – он извлек из кармана мундира измятый конверт. – Тут написано: «Софье Зориновой». А адреса, шельмец эдакий, не указал. Давайте с вами договоримся, – он заговорщически зашептал: – Пусть у нас будет тайна от Александра: ни я, ни вы ему не скажем о моей оплошке-забывчивости.

– Да, да, – рассеянно отвечала она, с нетерпением разрывая конверт.

Прочитай эти слова Софья в чужом письме, они были бы холодными. Но эти предназначены ей и потому волновали. Николай Николаевич с удовольствием наблюдал за девушкой. Ее лицо, движения излучали столько неподдельной радости, что для него не оставалось сомнения: девушке Александр небезразличен, и подумал: «Слава богу, я могу быть спокойным за его будущее. С такой девушкой он будет счастлив. Шустрый, однако. Когда успел познакомиться?».

Раевский и позавидовал, и вдруг почувствовал пустоту вокруг себя. Кавказ, ежедневное ощущение опасностей, поджидающих тебя на каждом шагу, неожиданное отлучение от дел – все это стало незначительным, мелким, ничтожным по сравнению с тем, что ожидало его в Каменке: любимая жена, сын, мать, дела хозяйственные.

А Софья все не могла оторваться от письма. «Здравствуй, Соня. О чем писать, дорогая, не знаю. Наверное, тебе скучно будет читать. Слог мой тяжелее драгунского палаша, которым, кажется, я научился сносно владеть.

Жизнь наша на Кавказе – тоже скучная. Затишья мало. Все в боевых стычках. Мне помогают, я думаю, твои молитвы и Георгий Победоносец. Пули не отлиты, сабля не откована еще для меня. Запомнился один случай, когда пушечное ядро скалу раздробило. Мой Вороной отпрыгнул, я в седле удержался. Шишку на лбу набил с кулак величиной. Бедная лошадь бедро ободрала о камни. Все уже зажило на Вороном, только шерсть у него на бедре побелела.

Беспокоят нас не столько местные жители, сколько Турция и Персия. У себя дома порядка не наведут, а еще Кавказ беспокоят.

Кто вражду сеет между людьми в Персии, Турции, в любой стране? Народу от того только горе. Старый солдат Митрич сказал: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Вражда разлучает страны, людей. Ты, Софьюшка, спросишь, зачем я тебе обо всем этом пишу. Отвечу: мне, кроме тебя, не с кем говорить по душам.

Я радуюсь солнцу: оно всходит и для тебя. Я радуюсь вечерней заре. Знаю: она горит и для тебя. Я хватаюсь за палаш. Знаю: он может послужить добру. А добро мне хочется делать и для тебя. Ты жи-

вещь. И это делает меня счастливым. Все, что я ни делаю, — все это для тебя, ради тебя, Соня...»

Она читала, вернее, перечитывала долго. А потом ни на шаг не отпускала от себя Николая Николаевича. Смущаясь, она не могла остановиться, засыпала полковника вопросами: и не болеет ли, и, не дай бог, не спит ли на сырой земле, и скоро ли будет в Петербурге, и...

Николай Николаевич понимал, что творится в душе девушки, и искренне от всей души желал ей счастья.

Из Петербурга он увез письмо Софьи. Ему хотелось, чтобы злой рок не вторгся, не растоптал чистоту чувств девушки и юноши, в сущности, только что вступающих в жизнь и не подозревающих, что их могут ждать тяжелые, может быть, смертельные испытания.

...Провожал своего крестного Александр далеко за Кизляр. Всю дорогу каждый по-своему переживал разлуку. Только перед тем, как надолго проститься, Александр сказал:

— Как же так? Ни в чем не провинились...

— Э, прапорщик, поживешь — не то встретишь. Перед сильными, а особенно перед царями, и невиноватый — виноват.

— Грешно такому царю служить.

— Э, буйная головушка, остерегись бросаться такими словами перед другими. Запомни: не царю — людям мы служим с тобой.

— Убегу в Чечню!

— Что? Повтори-ка.

— Убегу. Это ж какие времена наступили. Вот вас со службы долой.

— Беги, — Николай Николаевич устало махнул рукой. — Разве я тебе запрещал это делать? Но преж-

де послушай меня. Наверное, это нужно тебе: я не знаю, надолго ли мы расстаемся с тобой. Если бы в моей власти, в моей возможности, я взял бы на воспитание не только тебя одного. И ты, наверное, убедился, что я это сделал не для того, чтобы повредить тебе или твоему народу. Или это не так?

– Так, крестный.

– Полковник. Я, черт возьми, все еще полковник. Этого даже царь не посмел отнять у меня, хотя мог. Так вот, прапорщик, я стоял и буду стоять на том, что благополучие любого народа, его грядущее без просвещения невозможно. Я тебя увез с Кавказа, но не для того, чтобы превратить в раба или как-то приспособить для подлости. Ты понимаешь могучую силу просвещения для людей? Чеченцев? Русских? Французов?..

– Понимаю.

– Иначе – зачем нам жить? Багратион – кизлярец. Он Россию не защищал бы, если бы не было Грузии, его народа. Я так думаю. Ну, а что со мною произошло – это не страшно. Бывает буря, может быть и ведро. Попрощаемся. Побереги себя. Знай, что ты для меня родной. Дай перекресту. Да благословит тебя бог на добрые дела.

## В ОТПУСКЕ

В конце апреля 1801 года Александр Чеченский спешил по петербургскому тракту. Лошади, заляпанные грязью от крупов до грив, ныряли вместе со скрипящей каретой в колдобины, выбирались на косягоры. По сторонам разбитой вдрызг дороги тянулись хмурые осины, голые сосенки, раздетые березки. Рябили в глазах черно-красно-белые верстовые столбы, шлагбаумы, будки. Кое-где караул в наголь-

ных тулупах. Серое небо, как набухшая от дождя солдатская шинель, уходило за черный горизонт.

До Петербурга оставалась одна подстава. Безрадостно, убого все было кругом: черные, сбившиеся в кучи избы, дорожные одры, стожки сена на деревянных отмостках, как избушки на курьих ножках, грязные лишаи снега в тени, синюшная талая вода, от которой тянет промозглым холодом.

Петербург предстал зловещей громадой, застилавшей хмурое небо, раскрывался каменными строениями, приземистыми лабазами, фабричной копотью. На Невском проспекте студёный ветер с Балтики гнал мокрую морось, и здания, камни мостовой, казалось, плакали.

Но на душе Александра Чеченского было светло, радостно: кончались дорожные мучения, предстояла встреча с Софьей.

Ржевский – и тот, клевавший носом почти всю дорогу, перед Петербургом тоже оживился: добрался-таки до дома.

Вечером они сидели за шумным столом в кругу друзей и домочадцев. Горели свечи в канделябрах, жарко пылал камин в столовой, дразнили запахи жареного и пареного, вина, не смолкал гул голосов.

Еще вчера всего этого не было. Сегодня же людей – весь Петербург – словно расковали. С утра всюду шептались, еще не веря в возможность такого, а уже к ночи заговорили в полный голос: умер царь Павел I. Были и такие, кто не страшился заявить: убили. Смерть царя сделала людей смелыми. Называли тех, у кого не дрогнула рука. Будто Александр Аргамаков, родственник самого Радищева, которого Екатерина II упекла в Сибирь за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», командир ночного караула при царском дворце, провел заговорщиков в спальню

Павла. Будто Николай Зубов повредил золотой табакеркой с изображением матери Павла темечко царю, а граф Пален да командир Преображенского полка Талызин увечили чем попало лик царский. Царь трепыхался и ужасно, по-бычьи, мычал, раскрывая и без того большой рот. Граф Пален будто не смог этого перенести, сорвал с шеи Аргамакова шерстяной шарф и удавил царя...

Кто-то под общий смех рассказывал:

— А знаете, что было? Гремит это по дороге карета. По гербам — царская. Падают на колени. Ну и я упал, кланяюсь. А грязи кругом — по уши. Вдруг слышу: «В батоги! В батоги его!». Скосил глаз — башки-светы! Схватили одного в камзоле с золотыми кистями и разложили прямо на дороге, оголили зад и давай стегать. Кого ж бы вы думали? Валериана Зубова. А он — ни звука, стерпел, значит. Разве ж Зубовы такое унижение дворянину могли снести?

И чего только еще не услышал Чеченский в тот вечер!

Павел запрещал зачесывать волосы назад, носить круглые шляпы, женщинам — белые блузки и синие юбки.

...Стал кавалером католического ордена мальтийских рыцарей, заказал себе далматик, собираясь участвовать в богослужениях. Направо и налево раздавал крепостных, ничуть в том не уступая нелюбимой матушке.

Казнил полковника Грузинова, когда тот отказался от «царского дара» — тысячи крестьян. Лейтенанту, который непочтительно отозвался о царе, вырезал язык и сослал в Сибирь «для удобнейшего размышления...».

В конце обеда в общем шуме трудно было что разобрать, зато все услышали, когда кто-то затянул уличную песенку:

Павле, Павле,  
Кто тебе удавле?..

Утром следующего дня Александр отправился к Зориновым.

Петербург преобразился. Совершенно незнакомые люди на улицах улыбались друг другу, поздравляли с наступлением весны, с надеждами на лучшее будущее.

Именно в это утро на улицах появились первые подснежники.

Александр запросил их целую корзину. Цветочница испугалась, но когда Александр насыпал ей, не считая, горсть серебра, чуть от радости не заплакала. Так с корзиной подснежников Александр и предстал перед растерянной Софьей. На подснежниках еще сохранялась обильная полевая роса.

— Саша? Вы?.. Ты?..

Он и сам оробел: перед ним стояла совсем не та девушка, образ которой он носил с собой в армейской беспокойной жизни. Краска смущения залила ее чистое лицо, сияли глаза. И вся Софья, в утреннем розовом пеньюаре без всяких там воланов, рюшей, с пышными каштановыми волосами, наспех скрученными на затылке в узел, была удивительно стройной, еще более прекрасной, чем прежде. И если она, хоть и заикаясь, задала вопрос, он не сразу ответил: онемел от несказанного восторга.

А она все еще во все глаза смотрела на него, порываясь броситься к нему. Перед ней стоял не мальчик. Военный мундир так шел юноше. Из-под кивера смотрели глаза сурового воина, с которым смерть не раз уже ходила в обнимку. Пулям, пушечным ядрам он не кланялся, а здесь его охватил страх: вдруг эта девушка только вид делает, что рада встрече с ним, а сама готова выгнать его. Разве в Петербурге мало

удальцов для такой красавицы? А кто он? Простой солдат. У него только и родни – Николай Николаевич Раевский. Но у Раевского поместья, крепостные. А что у Александра за душой? Клинок, скакун да медный солдатский котелок. Он медленно поставил у ее ног корзину.

– Вот... Весна.

Она схватила корзину, прижала к груди и погрузила в подснежники лицо. А когда подняла его, Александр увидел на ее лице росинки.

– Что ж мы стоим? – первая пришла в себя Софья. – Хорошо же я встречаю дорогого гостя, – она поставила корзину на стол у окна, схватила Александра за руку. – Ну, пошли же... Хотя, знаешь, что мы сделаем? Мы пойдем гулять, пока папа на службе! – и, не ожидая его согласия, крикнула: – Глаша, помоги одеться! Саша, потерпи минутку, – и упорхнула.

И вот они уже на улице. Она доверчиво протянула ему руку. Он повел ее по булыжной мостовой так бережно, словно боялся, что под ее ногами будут рваться пушечные ядра. А кругом все ликовало. В будний день уже вторые сутки людей разных сословий не будил барабанный бой, и они, празднично разодетые, впервые за несколько лет разговаривали в полный голос и даже пели:

Павле, Павле,  
Кто тебе удавле?

И никто их за это не наказывал.

Над Петербургом, над Невой дул свежий ветер. Нева вся, казалось, в белых чайках. Но то лохматилась кипень волны, а чайки смятенно и радостно носились в воздухе. За адмиралтейской золотой иглой вставала высоченная колокольня Петропавлов-



ской крепости с сияющими золотыми крестами. Гранитная набережная утвердилась незыблемо, навечно, как ветер с Балтики.

Голубой капор с белой опушкой не скрывал волну Софьиных волос, ветер подхватывал их, и они падали на Сашино лицо. Он не отстранялся... Он был счастлив. Софья что-то говорила, он впопад и невпопад отвечал, но оба этого не замечали.

Пролетело несколько дней. Над Петербургом пронеслась весенняя гроза, обильный ливень смыл копоть со зданий и земли. Деревья начали покрываться мелкой, но уже удивительно яркой листвой.

Все в эти дни казалось Саше и Софье вечным: их любовь, клики чаек, проспекты, каналы, мосты, адмиралтейская игла, отсчет времени пальбою из пушки в Петропавловской крепости, каменные мостовые, отполированные ногами петербуржцев, чистые и гладкие, как паркет из дорогих пород дерева в гостиной Зориновых.

Но неумолимо приближался день разлуки.

– Не уезжай, – попросила Софья.

– Надо. Служба.

– Саша, я буду ждать тебя.

– Софьюшка, я уверен, что если чего-то в жизни добьюсь, то потому, что ты у меня есть. Я боюсь только одного: вдруг тебя потерять. Но этого не случится. Правда же?

– Да, Саша. Не разлюби, заклинаю, – она рыдалась. – Я умру, если ты разлюбишь меня...

## НАКАНУНЕ

Чтобы стать полковником, Раевскому Николаю Николаевичу потребовалось более двадцати лет жизни. Александру Чеченскому понадобится гораздо

больше. В двадцать четыре года ему присвоили чин подпоручика. Для устройства семейной жизни этого оказалось мало. Кавказ успеха в продвижении по службе не сулил: здесь было затишье. А на Западе погромы хивали пушки. Совсем недавно все тяжело пережили ретираду русских под Аустерлицем. А там ведь был Кутузов! Правда, в войсках с раздражением поговаривали: «Все испортил царь, отстранил Кутузова. Сам возглавил войска. Вообразил себя даровитее Наполеона. А потом срам сражения свалил на Кутузова и отправил его генерал-губернатором в Киев». Солдата не обманешь: он всегда знает правду.

Ржевский, близко сошедшийся с Чеченским, по секрету надоумил товарища: «Подадим рапорт. В России формируются полки. Предстоит горячее дело с французами. Поедем».

И вот опять замелькали верстовые столбы, вот знакомый синий Дон и те же чумаки с возами крымской соли. И, кажется, та верба, под которой Митрич с чумаками варил саламату...

Каменка. Раннее с морозцем утро. На дороге тонким ледком прихвачены лужи. Тясмин вороненой синей волной лижет высокий берег, блестит на середине узорами булатного клинка. Лодка плывет, словно сизый селезень. А в лодке дядька из-под ладони разглядывает: а кто же это там едет? И не иначе как в Каменку.

Александр спрыгивает с козел, приминает придорожную щеточку травы. Дядька срывает вдруг с головы брыль, машет им, что-то кричит. Потом весла поднимают столбы серебряных брызг...

— Саша! Саша, родной мой!

«Не может быть!» — на месте замирает Александр.

А дядька уже врезался носом лодки в пологий берег. На ветру полощутся его широкие холщовые шаровары и рубашка, брыль уносит река.

– Саша! Родной! – дядька обнимает подбежавшего поручика. От него пахнет рекой, свежей рыбой, степью и чем-то неуловимо родным, близким. – Это ж гляжу я, кто едет. А это ты, – он утирает с лица не то речную воду, не то набежавшие слезы радости. На лице остаются перламутровые рыбки чешуйки. – Эге ж, и господин Ржевский?.. Ох и обрадуется же Николай Николаевич!

– Где он? – прерывистым голосом спрашивает Александр, не менее Митрича взволнованный этой встречей.

– Да где ж он будет, как не в саду. Спозаранку. Живет по регламенту, как и в армии.

Николай Николаевич смолоду был педантом. При любых обстоятельствах вставал в пять часов утра, в шесть уже пил кофе и сразу приступал к делам. Все расписывал до минутки. Спать ложился всегда рано, в одно и то же время. Он не изменял этой армейской привычке и в Каменке. Только плац, порядки и дела военной крепости или баталии заменялись садом, пашнями, лесом, библиотекой...

С подветренной стороны сада горело несколько костров. Дым стелился, окутывал аккуратно обрезанные яблони, груши, вишни. В дыму появлялись и исчезали, как призраки, люди. Среди них можно было узнать Николая Николаевича. Он был в старом брыле, поношенном военном мундире без эполет, с засученными рукавами. Вместе с мужиками и бабами охалками носил ветви и солому, заготовливая из них костры.

– А, господа военные! – он, кажется не удивился. Сердечно обнялся с приезжими. – Рад приветствовать вас. Сразу ко мне? Польщен! Митрич, распорядись там, ради бога. Сашину комнату в порядок приведи. Господина Ржевского во флигеле поместим.

Только, чур, Митрич, барыням – Екатерине Николаевне и моей Софьюшке – пока ни слова. Нагреем вместе. А уж как обрадуется Екатерина Николаевна! Вчера, словно сердце ей вещало, что едешь, вздыхала: «От Саши ничего не слышно. Уж не случилась ли с ним, не дай бог, беда какая?». Ну что ж ты, Митрич, стоишь? Еще насмотришься на своего любимца. Исполни приказ.

– Слушаю, ваше высокоблагородие.

– Иди, Митрич, иди. Вижу – рад. И я рад. Вы, господа, подождете меня?

– Мы с вами, – ответил Александр.

– Спасибо, дорогие. Значит, и вправду соскучились по мне и знаете, черти, что я тоже соскучился по вас, по полку. Рассказывать потом будете. А сейчас я займусь пока кострами. Приготовиться нужно. Кто знает, в какую сторону в ночь потянет ветер. Долго зайцы не линяют, – значит, к заморозкам. Червь из земли повылез – к ненастью.

– Мы поможем вам, ваше высокоблагородие, – вызвался Ржевский.

– И то дело. Узнаю своих орлов. Лениость – смерти порождение.

К обеду однополчане, уставшие, пропахшие дымом, но довольные, вошли в барский дом. На лестнице, с порога столовой послышался голос Екатерины Николаевны:

– И что это ты, Митрич, возишься там?

– Да как же, Екатерина Николаевна, может, Саша приедет. Тут пыли – хоть лопатой выгребай.

– Дай-то бог. Я уж к заутрене велела батюшке помолиться во здравие воина Александра. Покличь, Митрич, Глашу. Женские руки – они всегда лучше в таком деле. А кто там шумит сапогами? Ты, Николаенька? Обед готов.

– Я, матушка. Ко мне тут военные приятели приехали, так вели, пожалуйста, накрыть на две персоны.

– Накрою, Николенька. С дороги-то, я думаю, им ополоснуться впору. Поленька, воды горячей снеси ведро господам военным.

– Матушка, не срами меня. Солдаты без студеной воды быстрее умирают. Ты же не желаешь солдату скорой смерти?

– Упаси бог, что ты говоришь, Николенька?

К обеду Николай Николаевич явился в полной полковничьей форме. В качестве адъютантов его сопровождали Александр и Ржевский. За столом уже сидело все семейство. Недавно овдовевшая Екатерина Николаевна была в торце стола, по левую сторону – черноокая Софья, жена Раевского, со своими детьми – Еленой, Марией, Николаем и Екатериной, по правую – малые дети Екатерины Николаевны: Василий, Александр.

– Матушка-свет Екатерина Николаевна, я и мои однополчане, воины доблестной русской армии, явились засвидетельствовать вам свое почтение.

– Ну и шутник же ты, Николенька. Не извольте, господа военные, опаздывать. А ну-ка погляжу я на вас, – она подняла лорнет, рука ее дрогнула, лорнет маятником закачался на черном шнурке. – Господи, Сашенька, – она обняла его, потом отстранила, перекрестила. – Ну как же ты повзрослел и возмужал, – она прослезилась. А ты тоже хорош, Николенька, мог бы заранее меня, старуху, предупредить. И Митрич, и все вы в заговоре против меня. Ужо, я с вами поквитаюсь, – она улыбнулась, на лице ее разглаживались добрые морщины. – Садись, Саша, вот сюда, а Николенька будет сегодня сидеть с наказанным моим Васенькой. Впрочем, я Васю на радостях прощаю. А Николеньку... Ну что с ним поделаешь: тоже прощаю. И велите-ка подать вина...

За столом было шумно, весело, как всегда, когда в Каменке появлялся желанный гость.

После обеда мужчины уединились в кабинете Раевского.

— Кальяна, господа, нет, а добрый турецкий табак есть, — Николай Николаевич не спеша набил трубку с длинным чубуком и вскоре утонул в ароматном облаке. — А вот и шато-марго, шамбертен. Наливайте, господа, не стесняйтесь. И рассказывайте, побольше рассказывайте.

Беседа текла, как горный ручей: то бурно, когда поток бьется в узких берегах, то спокойно, когда ровное место, но все равно ни на минуту не умолкая. Вспоминали живых, не забывали и мертвых, сечи кровавые, дымы бивуачных костров, непокоренный, вольнолюбивый дух кавказцев...

— Славный народ, — сказал Николай Николаевич, — не тьма-тьмы их, а он живуч, выстоял от <sup>у</sup>полчищ турков, персов. Кого только не бывало на Кавказе. И все за кровавой добычей, все — смять, поработить народ. А мы? Чего греха таить: всегда ли мы несли добро своим оружием?

Гости слушали, затаив дыхание. Такое им еще не приходилось внимать ни от Николая Николаевича, ни от кого бы то ни было.

— Завоеватели Кавказа — шахи и султаны — сознательно идут на истребление населения. А у горцев и своих забот хоть отбавляй: у них, к их несчастью, к их беде, не затихает межплеменная и межсословная вражда.

— Что же делать? — подался вперед Александр.

— Пока мы установили болезнь, а вот лечить ее... Уверен, однако, что кавказские племена нуждаются в покровительстве сильного и доброго правительства. Только где оно, доброе правительство? Вот мы сегодня

ня в саду потрудились во имя спасения деревьев от заморозков. А кто от заморозков будет спасать людей? Может, наше поколение еще не сможет ответить на этот вопрос. Но несомненно одно: наше поколение будет искать ответа на это...

– А мой народ, он будет искать? – спросил Александр.

– Он ищет, как и всякий другой народ. Рабы не везде. У нас в России совсем недавно даже вольных хлебопашцев – запорожское казачество в крепостных обратили. Только небольшая часть казаков подалась за Дунай. А там турки. От них казаки добра дождутся? Ни один русский царь не рискнул еще закрепить хоть одного азиата кавказского. Почему, как вы думаете?

– Боятся, – предположил Ржевский.

– Горцы ни у кого не были рабами, – сказал Александр.

– А турки угоняли их по кровавым горным тропам Кавказа толпами на свои рынки работоторговли.

Александр вспомнил: «У Мажи угнали брата». Но сказал:

– Не всех же.

– Это слабое утешение. Они просто не успели. И никому не под силу сделать безропотными, покорными всех. Рано или поздно народ обретет свободу.

– А долго ждать? – чуть не простонал Александр.

– Если б я знал, Саша.

Они помолчали. Николай Николаевич выколотил из трубки пепел в цветочный горшок и снова набил ее табаком.

– Не знаю, господа, и дорого отдал бы за то, чтобы узнать.

– Что же делать? – спросил Александр.

– Не стать подлецом среди подлецов. Жить. Искать.

– Ваше высокоблагородие, – обратился Ржевский. – Как у вас со службой в армии?

– Пока не беспокоят. Хотя военная гроза не за горами. Вы вовремя подоспели.

– Брат мой, он полковник, пригласил меня к себе. А вот Александра никто не приглашал...

– Требуется моя помощь? Когда едете? Завтра? Ну что ж, не смею задерживать. Александру я дам рекомендательное письмо к моему старому приятелю. Есть такой: Кондратий Федорович...

## ДОЧЬ И ОТЕЦ

В Петербурге Александр сразу же поспешил к Зориновым.

Улицы столицы принарядились по-летнему. Еще со времен Петра I кое-где в могучих темных латах стояли дубы, лохматились бело-черной корою березки, покачивались строго-печальные осины.

Железные шины экипажа весело выстукивали на камнях: «Еду, еду к Софье в дом! Еду, еду!...».

Знакомый парадный подъезд. Гранитные ступени. По бокам затаившиеся, готовые к полету в прыжке изваяния львов. Дубовая дверь. Служанка в белом переднике, величественная, с высокой, как на портретах у Екатерины II, грудью.

– Софья дома?

– Как доложить?

– Гость издалека.

В большой, с высоким лепным потолком гостиной – занавески, мягкие кресла с гнутыми, как львиные лапы, толстыми ножками, софа, покрытая персидским ковром. Со стены сверлит глазами хозяин дома – действительный тайный советник – в мундире с позолоченным стоячим воротником и Анной на шее. Лицо аристократа – холодное, надменное.



Слегка запела дверь, послышался слабый вскрик – и Александра обвили теплые руки.

– Саша, милый, я так долго ждала... Без письма, без предупреждения. Саша, да в самом ли деле это ты? Мне ничего не пригрезилось? – она ощупывала его лицо, руки.

– Ну, поцелуй же меня!

– Что? – растерялся он.

– Поцелуй.

Его обдало жаром. Он осторожно, словно боясь причинить боль, неумело коснулся губами ее щеки и забыл все на свете.

Она первой пришла в себя.

– Усы густые. Загорел. Ростом стал выше. А талия, боже, какая тонкая!

– Это что – плохо? У нас на Кавказе так: если кошка проскочит под поясом лежащего на боку мужчины, хвала ему! А у тебя?

– Ну и смешной же ты. Терпеть не могу толстых и лысых.

Так, болтая, перескакивая с одного предмета на другой, они и не заметили, как пролетело время, как на пороге появился отец Софьи.

Он обрадовался гостю, точнее – оживленности Софьи. После смерти жены, случившейся два года назад, дочь на его глазах таяла, искала уединения. А отец любил ее и чего бы не отдал, чтоб только не видеть ее печальной.

– Здравствуйте. Знаю вас. От Софьи. Не пообедаете ли с нами, молодой человек? Софья, я голоден. Если сейчас же не накроют стол, завтра об эту же пору побежишь за гробовщиком. – Он совсем не был похож на того, что глядел с портрета. И за столом старик не терял учтивости, был любезен...

– Как на Кавказе? Ну что там войны сейчас нет, я знаю. А все ж интересуюсь, как идут дела по усми-

рению собственных подданных? Как с перестрелками? Бывают?

– Случаются.

– Ну что ж, воюйте.

– Я покинул Кавказ.

– Что так рано? Не собираетесь ли оставить военную службу вообще? Одобряю. Смотрю на вас: пора вам обзаводиться семьей.

Александр чуть не поперхнулся куском мяса. Едва прикоснувшись к блюдам, он ушел, окрыленный встречей с Соней. Неужто ее отец намекнул ему: не пора ль, мол, сватов засылать?

Предзакатный вечер гнал с запада, с моря, серые облака, и хмурь ложилась на камни и каналы Петербурга. По улицам спешили, словно искали спасения от надвигавшейся тмени, горожане. В дальнем конце улицы показалась бешено мчавшаяся дорожная колымага. С козел то и дело раздавалось: «Поберегись!». Прохожие шарахались к стенам зданий. Мимо Александра пронесся вихрь, раскатился лихой по свист возницы, щелкнул, как пистолетный выстрел, в воздухе кнут. Александр, чертыхаясь, отчищал от мундира ком грязи, отлетевший, по-видимому, от колеса колымаги. Но это ему настроения не испортило.

– Женюсь! – сообщил он Ржевскому.

– Так вдруг?! Ты же никогда не говорил. И давно это у вас?

Александр рассказал.

– Ну что ж, я рад. Первым поздравляю...

Ночью Александр почти не спал. В радостном возбуждении все представлял себе, как сделает предложение Софье.

Рано утром он уже снова оказался в прихожей Зориновых и, никого там не встретив, поднялся наверх. Он уже собирался постучать в неплотно при-

крытую дверь гостиной, когда услышал слабый, дрожащий голос Сони:

– Он спас мне жизнь.

– Ну а если бы это сделал мой конюх?

– Я люблю Сашу.

– Блажь! Он дворянин? Богат?

– Его воспитали Раевские.

– И все-таки он не сын Николая Николаевича. За сына Раевского я тебя отдал бы без раздумья.

– У него нет родных.

– А кто они были? – отец все более раздражался. – С кем, глупая, хочешь связать свою судьбу? Я тебе приказываю: выбрось его из головы. Он тебе не ровня. Не опозорь мои седины. Именем умершей матери заклинаю: одумайся! Надеюсь, ее-то волю ты уж не осмелишься нарушить!

– Но меня это убьет! – Софья разрыдалась.

Мужество Александра покинуло. Не дослушав, чем же закончится разговор, он стремглав слетел с лестницы и выскочил на улицу.

Хлестал холодный дождь – Александр не чувствовал его, только видел перед собой бугристую, как вода в Неве, каменную мостовую. От камня того веяло погребным холодом и рябило в глазах.

Два следующих дня прошли у Александра, как у солдата, попавшего в волчью яму. Беззащитность Софьи сразила его. Казалось, спасения ждать было не от кого и неоткуда.

– Александр, у тебя неприятности? – спросил Ржевский. – С женьбой?

– Ты угадал, – и все рассказал.

– Еще не все потеряно.

– Не утешай. Сегодня же пойдем в военную экспедицию.

...Чеченского и Ржевского встретили два с иголочки одетых молодых офицера и велели ожидать

приема. Штабисты с подчеркнутым пренебрежением поглядывали на потертые мундиры военных, прибывших, видно, из какой-нибудь провинциальной дыры.

Чеченский нетерпеливо ерзал на стуле.

— Неуемный, — шептал Ржевский. — Заняты они. До нас ли?

— Я не жареные каштаны собираюсь грызть, — громко ответил Александр и обратился к хлыщам: — Простите, господа, но мне нужно к генералу.

Те сначала от такого моветона пришли в замешательство, потом один из них снисходительно объяснил:

— Вы же видите, мы заняты, — и к своему собеседнику: — Ужасная невоспитанность... Ах, эта Аннет — пальчики оближешь...

Чеченский наклонился к Ржевскому и, сдерживая ярость, прохрипел:

— Как только стрелка достигнет павлиньего хвоста, я без разрешения доложусь.

— С ума сошел!

— К черту этих штафинок, тыловых блюдолизов!

Хлыщи почувствовали, по-видимому, что-то неладное, перестали посмеиваться, но посетители замолчали. Чеченский угрюмо уставился на часы в деревянном футляре, занимавшем целый угол. За зеленоватым стеклом мерно раскачивался маятник, на круглом большом циферблате был нарисован павлин с распущенным ярким хвостом. Стрелка, казалось, застыла на месте.

— Начальник канцелярии не освободился? — спросил Ржевский, зная, что Александра теперь уже ничто не остановит.

— Нет, — надменно, не оборачиваясь, ответил один из хлыщей.

Чеченский решительно встал, одернул мундир и строевым шагом устремился к двери. Хлыщи преградили ему дорогу.

– Как доложить о вас генералу?

– Теперь уже никак! – Чеченский отстранил их от себя.

За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидел тучный генерал, погрузившись в размышления: перед ним лежала кипа бумаг. Чеченский сделал три шага, лихо щелкнул каблуками, отдал честь.

– Ваше сиятельство, разрешите обратиться! Поручик Чеченский прибыл из Нижегородского драгунского полка!

– С чем, дружок? – не отрываясь от бумаг, спросил генерал.

– У меня письмо к вашему сиятельству.

– Давай сюда, – протянул руку генерал, – и можешь быть свободным.

– Ваше сиятельство, прошу меня извинить, письмо касается лично моей дальнейшей службы, и я хотел бы, если это возможно, ответа сегодня же.

– Господи, и куда вы все спешите? – генерал недовольно пожевал губами, костяным ножом вскрыл пакет и, пробежав первые строчки, ожил: – От Раевского Николая Николаевича? За Сунжу ходили вместе. Слышал о Сунже, подпоручик? Или тебе неизвестна та земля?

– Я там родился, ваше сиятельство, служил в армии.

– Там? – изумился генерал.

– Вместе с Николаем Николаевичем Раевским.

– Вот оно, значит, как получилось. Что ж ты, голубчик, сразу не сказал мне об этом? Как поживает мой любимчик, Николай Николаевич?

– Плохо, ваше сиятельство. В саду, в Каменке, работает. Цветы разводит. Я только что оттуда. Ждет не дождется, когда его в армию позовут.

– Недолго ему уже сидеть дома на привязи млейшей его жены Софьи, внучки знаменитого бунтаря Михайлы Ломоносова. Ну, куда же тебя? В действующую?

– Да, ваше сиятельство.

– Похвально. А что, голубчик, если в гусары?

– Согласен, ваше сиятельство.

– Быть по сему, – генерал позвонил в серебряный колокольчик, влетел хлыщ, ожидая разноса за то, что без доклада впустил этого бешеного подпоручика. – Вот что, чернильная твоя душа, напиши-ка полковнику Шепелеву. Отправим-ка мы подпоручика Александра Чеченского в Гродненский гусарский полк! А ты, подпоручик, отпиши от меня привет и добрые пожелания здоровья полковнику Раевскому. Так и отпиши: от Кондратия Федоровича...

И тут Чеченский вспомнил его: это он, будучи проездом, вел опасный ночной разговор в кизлярской хате Раевского...

Ржевский, когда вышли из военной экспедиции, смеялся:

– Ну, что было!.. Эти штафирки к дверям прилипли, а войти к генералу робеют. «Почему он – это ты, значит, – спрашивает один из них, – не сказал, что он родственник Раевского? Я бы сразу доложил».

– Черт с ними, с этими штабниками. Главное – я гусар. Генерал, спасибо ему, видно, человек стоящий.

– Почему так решил?

– Не все любят моего крестного...

...К Софье Александр все-таки отважился пойти. И опять с корзиной цветов. Увидев ее, вздрогнул – она за эти дни превратилась в тонкую былиночку, на

бледном, почти без кровинки лице выделялись одни большие глаза.

– Я рада, Саша, видеть тебя, – но это прозвучало грустно. – Кажется, сто лет ты отсутствовал. Почему ты в другом мундире?

– Новое назначение.

– Какие чудесные цветы, – она склонилась к ним. – Спасибо. Пахнут лесом. Отчего, Саша, ты печальный?

– Люблю тебя.

– Потому и грустный? – она слабо улыбнулась.

– Нет. Я все знаю.

– Что ты знаешь? – дрогнуло измученное лицо.

– Я слышал твой разговор с отцом обо мне...

– Подслушивал? – побледнела она.

– Случайно вышло. Я не до конца слушал, убежал. Считаю – вел себя постыдно. Мне надо было открыть дверь и сказать: «Я из рода, из племени, которое никогда не знало рабства. Мы вольны, свободны, как птицы, и не унижали себя презрением к человеку, какого бы происхождения он ни был. В нашем роду-племени главное – быть честным, справедливым, гордиться званием человека...». Вот что я должен был сказать твоему отцу... Хочешь – я украду тебя, как это делают у нас на Кавказе?

– Это невозможно. У нас это грешно. Давай пождем. Может, обойдется все... Может, отец уступит...

## ПЕРВЫЕ РАСКАТЫ

Наполеон Бонапарт подмял под себя Европу, как волк свою добычу. Он бряцал оружием перед Англией, а подтягивал войска к границам России. Не дремали и русские: уже скрещивали оружие на предприус-

ских полях. То была рекогносцировка боем Наполеона перед замышлявшимся генеральным сражением с Россией.

В местечке Озерки, под самым Вильно, Александр Чеченский со своим полуэскадроном отрабатывал приемы атаки лавой. На широком поле лишь кое-где зеленели истерзанные островки выбитой копытами почти до корня травы.

Вечерело. Из-за леска показались всадники. Чеченский увидел командира эскадрона, лихого кавалериста Кульнева, Александра Давыдова и незнакомо-го офицера.

— Полуэскадрон, вольно, — скомандовал Чеченский. — Расседлать, в поводу прогулять коней! — и поскакал навстречу всадникам.

— Здравствуй, подпоручик, — осадил жеребца Кульнев.

— Кланяется тебе матушка наша Екатерина Николаевна, — обнял Александр Давыдов Чеченского, — Василий, девчонки Мария, Катя и все то ж. Ну, а ты, — обратился он к незнакомому всаднику, — узнаешь его? — показал на Чеченского.

— Нет, но убей меня бог, если я с ним не встречался раньше, — засмеялся незнакомец.

— Ну а ты, Саша, узнаешь?

— Где-то видел...

На него смотрело улыбающееся лицо с чуть вздернутым носом, с глазами навывкате, с круглым, как репчатый лук, подбородком. Гусар был в небесно-голубой венгерке, расшитой серебряными шнурами на груди, в малиновых штанах с серебряными позументами, за плечо отброшен раззолоченный ментик, кивер — слегка набекрень.

— Так и быть, познакомлю, — сжалился Александр Давыдов. — Адъютант Багратиона — Денис Давыдов. А это — гордый сын Кавказа...



— Саша Чеченский! — подпрыгнул в седле Денис. — Вот, значит, куда ты забрался! Как же это я сразу не вспомнил? Когда же это было, дай бог памяти? Десятка два лет назад! На Тясмине раков ловили, а нам все попадались, как на грех, одни лягушки. Сашка Давыдов тянет меня сюда: «Побьюсь об заклад — старого знакомого не узнаешь». Что ж, Львович, шампанское за мною. Надеюсь, Озерки им не обеднели. Приглашаю всех! — он широко улыбнулся, оглядел просторное предзакатное небо, даль земли, счастливый, веселый...

До поздней ночи пировали гусары. И здесь под звон стаканов, нещадно раскуривая трубки, друзья вывели у Дениса, как ему недавно удалось избавиться от опалы.

— Э, друзья, — разоткровенничался непьянеющий Денис. — Если ты в опале, чуда не совершит ни сабля, ни вино, ни даже всемогущий Багратион. Не будь на свете друзей, особливо же царских любовниц, — сдыхать бы мне от тоски и меланхолии в армейском резервном полку. Женщины могут и в бездну низринуть и воскресить из мертвых, потому что они сильнее царей. Друзья, в многоглаголании несть спасения! Выпьем за женщину, даже если она любовница царя! За всеилие женщины!

Только теперь Александр Чеченский узнал, за что Дениса из блестящего кавалергардского полка упекли в худое захолустье.

Кульнев умолил-таки Дениса вспомнить некоторые строки его крамольных стихов. А тот их до самой смерти не забыл. После очередного стакана вина, счет которым был потерян в самом начале пирушки, Денис сказал:

— Только для вас, окаянные. И, чур, никому ни звука, а то вновь мне гореть, как шведу под Полта-

вой. Не дай бог опять прибегать к услугам царской любовницы. Вот вам из басни. Пернатые после смерти августейшей

ужасным тоном  
со стоном  
хвалы покойнице поют...

Кого ж потом пернатые в цари избрали?

...Туртухана!  
Хоть знали многие,  
что нрав его крутой,  
что будет царь лихой,  
что сущего тирана  
не надо избирать...  
...В цари избрали птицу-кровопийцу.

Но вот не стало Туртухана.

И все согласно захотели,  
Чтоб тетерев был царь,  
Хоть он глухая тварь,  
Хоть он разиня бестолковый...  
...И сущий стал разврат  
во всем дичином царстве...

Все примолкли. Чеченский даже почувствовал: трезвеет. И бодрящий морозец по коже, как при чтении запретного в Московском университете, добытого Петром Войтинским. Басня хлестко, беспощадно высмеивала усопших Екатерину II, Павла I и ныне царствующего Александра.

– Денис, а тебе не страшно? – зябко повел плечами Александр Давыдов.

– С друзьями? – озорно сверкнул очами Денис. – Теперь я уже не тот, что был. Не пишу такого. Опасаюсь длинной царской длани.

– Как же ты выбрался к Багратиону?.. Ты, о котором в Петербурге говорят: «Самый ярый якобинец!»?

– Я же сказал: у друга моего, не скажу, кто это, сестра – любовница царя. Друг ей словцо, она – просить царя... Могущественная сила в женщине. Однако в многоглаголатии несть спасения... Поднимем бокалы, друзья!..

Только перед самой зарей все уснули. Кудрявая голова Дениса покоилась на ладони Чеченского. Александр Давыдов сладко причмокивал губами, словно продолжал посасывать дымящийся чубук.

Спавшие и не предполагали, что военная судьба свела их надолго.

...Землю сковал мороз. Полк Кульнева отмахал уже около двухсот верст. Сугробы вокруг возвышались, как гробницы на необозримых кладбищах. И странным было среди гробниц встречать редкие необитаемые фольварки или выстуженную, с разбитыми окнами корчму. Свирепые ветры поднимали колючий снег. С лошадиных морд свисали ледяные сосульки, а гусары обрастали мохнатым инеем.

Франция и Россия привели в движение большие массы людей с единственной целью: как можно больше убить, изувечить друг друга.

На запад от Бялы наступали русские под командованием Беннигсона, угрожая левому флангу маршалов Нея и Бернадотта. Сам же Наполеон вел свою армию от Алленштейна на север с намерением отрезать от России русскую армию и разгромить ее.

Будь Беннигсон от природы не тугодумом, человеком с военной косточкой, порасторопнее и решительнее, он бы легко смял Нея и Бернадотта. Увы, бог лишил его всего этого. И Наполеон достиг бы цели. Арьергард Багратиона, надежно прикрыв глав-

ные силы русских, с боями отходил от Прейсиш-Эйлау, где Беннигсон решил дать французам сражение.

У Прейсиш-Эйлау солдаты долбили лопатами мерзлую землю, готовили флешы. Наконец изготовились к бою. В резерве держали кавалерию.

С рассвета, это было в самом конце января, с той и другой стороны заговорили пушки. Три часа не прекращался ужасающий гром. Пушечные ядра визжали, взметывали снежные гробницы, делали кровавые бреши в боевых порядках и французов, и русских.

Потом в действие вступила пехота.

Наполеон нервничал: не удавалось продвинуться ни на шаг. Император бросил маршалов Ожеро и Даву в обход русских. Заблудившись в снежном буране, кавалерия Ожеро напоролась на замаскированную русскую батарею. Пушкари растерялись, но раздавалась звонкая властная команда:

— Картечью... огонь! Огонь!.. Беглый огонь!

Команду подал Ржевский. Ее подхватили другие батареи. Многие французы при первых же залпах семидесяти карронад погибли. Наполеон опешил: почему карронады? И понял: бьют крупными ядрами и на короткое расстояние. Значит, Ожеро и Даву попали в беду! И, горя нетерпением во что бы то ни стало смять, сокрушить русских, двинул в атаку все свои семьдесят пять дивизий.

Конь Чеченского — Верный — слушался повода, скакал легко. Всадники уже различались на расстоянии. Бешено мелькали лошадиные ноги. Сверкало оружие. А дальше все заволакивалось белой мглой, поднятой тысячами копыт.

И вот лавы столкнулись. Не у одного Чеченского кровь в жилах побежала быстрее от первого нечелове-

ческого предсмертного вопля, — неизвестно: русско-го, француза ли. Вопля, леденящего душу, быстро-течного, как все в бою, заглушившего гул земли под копытами, ржанье обезумевших лошадей, вскрики сошедших с ума людей, звон оружия.

Чеченский взмахивал и взмахивал саблей. Не удивился, когда увидел перед собой обезглавленного всадника, исчезнувшего в белой круговерти.

«Где же мой полуэскадрон?» — подумал он. И увидел, как французский драгун заносит саблю над головой его вахмистра Волкова. Чеченский гикнул, стегнул саблей плашмя по крупу Верного. Взмах саблей — драгун развалился надвое.

Внезапно Верный грянул оземь. Александр покатился под копыта обезумевших лошадей. «Конец! Затопчут! — пронзила мысль. — Вспомнит ли? Помолится ли за меня Соня?..» Сгоряча, не чувствуя ушиба в колене, вскочил и отпрянул в сторону: здоровенный француз взмахнул саблей — ветром и свистом обожгло Александра. Он инстинктивно подставил свою пашку. В руке остался только эфес. Француз развернулся для нового замаха — тут его настигла пика Волкова.

— Садись на моего! — закричал вахмистр, не замечая, что ему самому грозит опасность: сзади настигал француз. Александр прыгнул на круп гнедого вражеского коня, пустил в ход кинжал. Вахмистр на лету выхватил из рук сползавшего с лошади драгуна саблю и сунул ее Чеченскому...

Бой затих к ночи. И снова закипел, когда часа через два к французам подоспели войска маршала Нея. Наполеон не решился сказать своим маршалам, что близок к поражению: лишь значительно позднее публично признался: «Я объявил о своей победе под Прейсиш-Эйлау лишь потому, что русские сами отступили».

Действительно, слишком осторожный и вялый Беннигсон отдал приказ отступить к Кенигсбергу.

И снова арьергард Багратиона с неуловимыми казаками Матвея Платова и гусарами Гродненского гусарского полка не давали французам покоя и вынудили их отступить за реку Пассарга. Поспешно, беспорядочно. Прославленные маршалы Наполеона теряли косяками пленных, бросали на произвол судьбы раненых, больных, пушки... И трубили на весь мир: русские воюют не по правилам!

За отвагу, проявленную в боях под Прейсиш-Эйлау, Чеченский был награжден орденом святого Георгия 4-й степени с бантом. Такой же орден за эту кампанию получил Багратион.

Стычки с французами не прекращались.

Гнедой, добытый в бою, Александру пришлось по душе. Да и сам конь быстро привязался к хозяину. Потому, наверное, что Александр сам не попьет, не поест, прежде чем не накормит, не напоит коня. Не плетью, а лаской заставит коня в атаку и на марше идти, повода слушаться. От отца это пошло, от Алхазура. Тот, бывало, с поля возвратится – и до тех пор к сыну, к Али, не подойдет и не допустит к себе, пока коня не прогуляет, корма не задаст, не почистит, подстилку ему свежую не сделает.

Однажды полуэскадрон Чеченского возвратился с богатой добычей: вражеским обозом, двумя десятками французских солдат и офицеров. Кульнев поздравил Чеченского с военной удачей и сообщил:

- А к нам кто-то приехал.
- К кому это – к нам, ваше высокоблагородие?
- У Багратиона чай пьют.
- Не гусарское это дело – чай пить.
- Гость про тебя спрашивал.
- Да кто же это?

– Пойдем – узнаешь.

Штаб авангардных войск Багратиона помещался в низенькой бревенчатой избе. Денис Давыдов встретил в сенях:

– Тебя уже спрашивали. Не гоже задерживаться.

– На аванпостах горячо. Кто же спрашивал?

– Э, так я тебе и сказал... Собирается рать орлиная, чертушка ты мой разлюбезный. И первый орел – Багратион, а второй – сам узришь, а другие орлы – наш Кульнев, генералы Марков, Богговут, ну и мы, конечно, с тобой, – Денис широко улыбнулся. – За тобой шампанское! – скрылся за дверью и мигом назад: – Зовут!

Александр перешагнул порог – и взглядом встретился с крестным. Смешавшись, двинулся было обнять и остановился, не зная, можно ли это делать в присутствии командующего. Багратион молча улыбнулся, явно любуясь смущением бесстрашного Чеченского, а Николай Николаевич сам уже шагнул к Александру.

– Здравствуй, поручик. Ну иди же, иди, лихой рубака. Наслышан о тебе. Награды что тебе, что командующему – одни. Похвально.

– Земляк мой, – с оттенком гордости сказал Багратион. – Не будь лихости в нем да удали молодецкой – ни за что бы за земляка не признал. Садись, чай будем пить. Или, Николай Николаевич, по такому случаю – вина? Нет, лучше чай.

Александр еще более растерялся. Пить чай с Раевским – еще куда ни шло, но с Багратионом?! С командующим?! Он нерешительно топтался.

– Что ж не садишься? Забыл кавказский обычай – не обижать хозяина, когда он просит тебя за стол?

– Да я же, ваше сиятельство... – еще более смутился Александр.

– Садись, поручик. Считаю, что это мой приказ! – нарочито сурово сдвинул густые, сросшиеся на переносье черные брови. – За неподчинение приказу командующего знаешь что грозит? То-то же!

Александр примостился на краешке скамейки. А Багратион уже наливал в оловянную кружку из самовара, сам добавил заварки, подsunул тарелку с мелко колотым сахаром.

– Пей, поручик! – и, видно, чтоб не смущать его, обратился к Раевскому. – Вот ведь какая беда, Николай Николаевич, с этими кавказцами. В бою – первые, с женщинами – спуску не дадут. А при старших робеют. А вообще мои земляки не чета французам. Хотите расскажу один случай?

– Охотно послушаю, Петр Иванович, – ответил Раевский. – Да и поручику, думаю, в науку пойдет.

– Дело было так, – приступил к рассказу Багратион, время от времени прихлебывая чай и доливая новую порцию. – Забрался наш отряд однажды в Чечню. Слух прошел – турецкие лазутчики там появились... Лес дремучий, еле продираемся. Тетерева токуют. По вершинам сороки стрекочут. Переправились мы вплавь через Сунжу. И тут началось все то, на что способны кавказцы: пальба со всех сторон, крики: «Ля илля, илля алла! Мухаммед расул иллях!», потом на кинжалах сошлись. Дрались мы отчаянно, и вдруг я провалился, как в бездну. То произошло днем.

Очнулся я – кругом мрак. Ничего не пойму: звезды надо мной в хороводе, как рыба чешуя на бурке. Люди незнакомые с огнем в руках, и отблеск пламени на палатке. Какой-то офицер склонился надо мной.

– Князь, вы слышите меня?

– Чем закончился бой? – спрашиваю.

– Он зашевелил губами, – радостно сообщил офицер окружающим. – Громче, князь, я вас не слышу!



– Бой чем закончился? – напряг я голос.

– Многие перебрались на этот берег. Другие погибли. Ну и в плену, наверное.

– Вы меня спасли?

– Нет, они.

– Кто – они?

– Чеченцы. Видите вон огни?

Я приподнялся. За Сунжей трепетали удаляющиеся огни.

– Ничего не понимаю, – сказал я.

– А чего тут не понимать, князь? Чеченцы принесли вас на этих носилках.

Я нацупал под собой жерди, перевитые гибкими прутьями лозы.

– Они не потребовали ни выкупа, ни обмена. Самый старый из них сказал... После боя они хоронили убитых, подбирали раненых. Наткнулись на вас. Старики узнали: «Кавказец... Кизлярский. Дрался, как волк. Промойте настоем трав раны, перевяжите. Возвратим русским». Вот они какие люди – мои земляки, – с гордостью закончил командующий. – Не дали погибнуть Петру Багратиону раньше времени.

Александр жадно внимал рассказу и не заметил, как выпил чай.

– Да, что ни говори – славный народ кавказцы, – сказал Николай Николаевич. Помолчал и продолжил: – А почто это, Петр Иванович, не идут наши дела с французом? Силен? Или мы не храбры?

– Суворова недостает. Беннингсон – он кто? С полковым обозом он еще управился бы, да и то если б обоз находился верст за триста от фронта. А ему – армию! Шутка ли?

– Петр Иванович, такое... про главнокомандующего при поручике?!

– Пусть слушает да Александра Васильевича Суворова, как мы с тобой, почитает. Он однажды – это

когда в начальники авангарда меня назначил в Италии – сказал: «Князь Петр, помни: голова хвоста не ждет. Атакуй, голубчик, внезапно, как снег на голову». А у нас что?

– Значит, теперь некем заменить Суворова?

– А Кутузов?

– Сможет.

– Ну, поручик, – обратился Багратион к Александру, – побьем французов?

– Надо постараться, – осмелел Чеченский.

– Побьем, тем более нашему войску прибавилось. Вот и крестный твой – не шуточная прибавка нашим авангардным войскам. А чаю мы еще попьем. Вот закончим дела с французами – и ко мне в Кизляр. Вы не знаете, чем чаи заваривают у нас в Кизляре! Не чета этому!..

\* \* \*

Бои продолжались с переменным успехом. От молний военной грозы страдали обе стороны. Третья сторона – Англия – радовалась: «Очень хорошо! Кости ломают, кровь пускают друг другу!..».

Май шумел зелеными дубравами, реки – половодьем. Маршал Ней из-за Пассарги вывел под Гутштадт войско, потерял три тысячи воинов и вновь спрятался за Пассаргу.

В этом бою чуть было не погиб Чеченский. Французы узнали своего гнедого жеребца, принадлежавшего, оказывается, командиру их полка. Пять французов обступили Александра. В правой руке у него французская сабля, в левой – кинжал. Двух сразил. Трое уже одолевали его, когда на выручку подоспели гусары.

О бесстрашии Чеченского к тому времени шла молва во всей армии. Наслышан был о нем и главно-

командующий Беннигсон. Однажды он спросил Шепелева:

– А не отдадите ли вы мне его в адъютанты?

– Прирожденный командир. Гусары за ним в огонь и в воду. Да и люблю его, ваше сиятельство. Отбираете гордость полка.

– Гордость армии будет. А покликать его.

На предложение Беннигсона стать его адъютантом Чеченский ответил:

– Ваше сиятельство, подчиняюсь любому вашему приказу!

– А без приказа, значит, не желаешь?

– Ваше сиятельство, я люблю своего командира полка, гусаров.

Беннигсон сначала рассердился, потом неожиданно гнев сменил на милость. Отпустив Чеченского, сказал Шепелеву:

– Я вам завидую, полковник. А храбреца мы наградим.

Уже на следующий день Александр снова предстал перед Беннигсоном, расстроенный тем, что ему предстоит расстаться с полком. Главнокомандующий был окружен свитой генералов, адъютантов. В избе пахло свежей хвоей. Была причуда у Беннигсона: обожал запах соснового леса и ужасно ненавидел избяной запах. В походе за ним всегда следовала фура со свеженарубленной хвоей, которую раскладывали в избе или палатке...

Он сидел в орденах, лентах, опершись локтями на столешницу, покрытую домотканой скатертью.

– А ну-ка подойди сюда поближе. Знаешь ли, поручик, зачем мы позвали тебя? Не знаешь? Скажи, как на духу у попа, страшно тебе бывает в бою? – В серых глазах Беннигсона вспыхнул огонек любопытства.

— Ваше сиятельство, случается. Вот вчера французы чуть не зарубили. С белым светом прощался уже. Спасибо — товарищи подоспели.

— Это хорошо, поручик, что лукавства в тебе нет. И давно ты узнал, что воину бывает страшно?

— Отец мой, Алхазур, говорил мне еще пятилетнему: «Запомни, сынок: и врагу бывает страшно. И делай все, чтобы ему от тебя было страшнее».

— Однако рано ты хорошую науку прошел. Адъютант, а ну-ка подай, — и на двух руках протянул Чеченскому саблю. — Принимай, ты заслужил ее.

По избе пронесся гул. Чеченский вздрогнул и не сразу нашелся, что ответить.

— Сил, жизни не пощажу за отечество, народ! — наконец сказал не по-уставному и уже вовсе не помнил, как выскочил из штаба, прижимая к груди золотую саблю с надписью: «За храбрость».

\* \* \*

Французы вновь навели через Пассаргу мосты, и легкая кавалерия маршала Гюйо в стремительной атаке овладела весьма важной в стратегическом отношении деревней Клейнфельд, открывавшей дорогу на Кенигсберг.

Генерал Раевский с полками егерей, гусаров и казаков окружил французов, наголову разбил их. Гюйо в том бою убили.

Наступило временное затишье. Беннигсону бить бы по переправам Пассарги, а он, опасаясь наступления превосходящих сил противника, оставил даже отбитый Клейнфельд и занял оборонительный рубеж под городом Гейдельсбергом, развязав, таким образом, руки Наполеону. Тот незамедлительно двинул через Пассаргу два корпуса, навис над Кенигсбергом и вынудил Беннигсона совершить новый многодневный изнурительный для армии марш.

Люди изнывали от зноя. Полуэскадрон Чеченского, накрытый тучей пыли, не видел солнца. Лошади, люди исходили потом. Александр уже перестал смахивать его с лица, и грязные струйки стекали за ворот, разъедали тело. Воспаленные красные глаза сами закрывались от усталости. Он спал. Иногда поднимал тяжелые веки. Облака плыли по-прежнему, все завлакивали вокруг, сотрясаясь от немолкнувшего гула, как от землетрясения, от топота кавалерии, громыхающих на ухабах пушек...

Наконец остановились. Все ждали отдыха. Но загрели барабаны, засвистели дудки, раздались резкие команды. Из тучи вынырнул до неузнаваемости черный Денис Давыдов.

– Полковника Шепелева! – кричал он, размахивая пакетом.

– Где мы? – спросил его Чеченский.

– В преисподней, дружище! Фридлянд, Саша! – и ускакал.

...Войска наспех разворачивались.

Наполеон, располагая прекрасной разведкой, давно разгадал нехитрый замысел Беннигсона, успел занять удобные для атаки рубежи, мог бы внезапно напасть на русских, но понимал, что сил для этого у него маловато.

И вновь Беннигсон из-за своей хронической нерешительности и полного незнания местности допустил оплошку. На марше он получил донесение Багратиона: Наполеон поджидает маршалов Даву и Ожеро. Главнокомандующий сам видел с церковной колокольни Фридлянда тучи на горизонте. Это могло означать одно: движется подкрепление Наполеону.

Бонапарт более всего опасался, что русские с ходу всей армией навалятся на его жалкие два корпуса. Но случилось невероятное: русские стали окапывать-

ся! Да где? Худшей позиции нарочно нельзя было выбрать: в овражистой местности вдоль реки Алле. Наполеон сначала глазам не поверил, потом решил: уж не хитрит ли Беннигсон? Не успел ли подтянуть скрытые резервы? Затем успокоился: эта перечница и в молодости не была способна на военные сюрпризы.

Император, предвкушая сладость очередной виктории, занял командный пункт на господствующем холме, зашарил по местности подзорной трубой, разослал адъютантов, решив, что теперь старая перечница от него не улизнет.

Сразу выбить русских с занятых позиций Наполеону не удалось. Отчаянно, врукопашную схватились с врагом боевые порядки Багратиона, егери Раевского, гусары полковника Шепелева, иррегулярная кавалерия Платова. Но развернуться, контратаковать неприятеля они не могли: были прижаты к реке Алле Беннигсоном и слишком уж неравными оказались силы и огонь пушек.

Половина людей погибла, другая – в беспорядке отступила к Тильзиту.

Французы не преследовали: приходили в себя после сражения. Наполеон был недоволен: уж слишком большие потери он понес.

Багратион собирал отступавших, искал отбившихся. Очень обрадовался встрече с Александром Чеченским:

– Жив, земляк? – и помрачнел. – Так немного осталось от твоего полуэскадрона? Ну, ну, не вешай носа. За все отомстим. Будет на нашей улице праздник! – и сурово погрозил саблей в сторону Фридлянда. – На этот раз мы потерпели неудачу, но дух солдат крепкий. Поручик Давыдов! – повернулся к своему адъютанту, – так и отпиши главнокомандующему: крепок дух солдата!

В Тильзите не задержались, переправились через Неман.

Минуло несколько дней, и на середине Немана заколыхался плот, разукрашенный гирляндами цветов, с роскошным шатром. Наполеон и Александр на лодках поплыли к плоту каждый со своего берега. На левой стороне реки выстроились в парадной форме французы, на правой – русские. Под мощное русское «ура» и французское «виват» императоры на виду у всех обнялись, облобызались и подписали мирный договор, по которому царь Александр I уступал императору Наполеону Европу, согласился на континентальную блокаду Англии, на полный с нею разрыв торговых и дипломатических отношений, себе же выговорил право военной силой присоединить к России Финляндию, а в недалеком будущем учинить с Францией раздел Турции.

Как вскоре же выяснилось, Тильзитский мир для Наполеона был ширмой, очень нужной ему для тайной подготовки большой войны, может – главной в его жизни. Искусный мастер плести сети международных политических интриг, он подкупом, запугиванием уже склонил Турцию бросить стотысячную армию против России, обещая уступить ей Крым и все Причерноморье. А в общем по всем двадцати пунктам договора Наполеон получил большие выгоды.

## В ФИНЛЯНДИИ

– Зачем нам воевать? Финляндцы нас попросили помочь им? Война всегда мешает жить людям, – в юношеской запальчивости голос Василия Давыдова, сводного брата Николая Николаевича Раевского, звенел по-отрочески свежо, сочно, с вызовом, явно не терпя никаких возражений.

– В самом деле – зачем? – поддержал Чеченский. Разговор происходил на бивуаке, в глухой лесной чаще между Петербургом и Выборгом. С месяц собиралось здесь русское войско. В разговоре принимал участие и Денис Давыдов.

В костре потрескивал сухой валежник, от него пахло печеной картошкой. Собеседники выковыривали ее из угольев, чистили, обжигая пальцы, посыпали рассыпчатую мякоть крупной солью, ели со ржаным хлебом.

– А зачем люди вообще воюют? Ох, ты ж злюка! – Денис затряс рукой, подул на пальцы, обжегшись раздавленной картофелиной. – Свист картечи, звон сабли, лихой гусарский конь, черт возьми, что может быть прекраснее!..

– Из Державина? – спросил Раевский.

– Сами с усами, – закрутил ус, едва не достававший бакенбарды, и продекламировал:

Но коль враг ожесточенный  
Нам дерзнет противустать,  
Первый долг мой, долг священный –  
Вновь за родину восстать...

– Ты не ответил на вопрос Васи и Саши.

– А вы, генерал?

– Постараюсь. Насколько мне известно, Финляндия – страна многострадальная. Испокон веков ее ели норманны. Военная знать, король Швеции и католики лишали жителей Финляндии земли.

– И финляндцы терпели? – спросил Чеченский.

– Да разве ж такое вытерпишь? Лет двести назад всем миром поднялись, безоружные. «Дубинной войной» назвали тот мятеж. Потом тоже поднимались. Реки крови финляндской... Вот мы с вами и поможем...



– Войной? – не успокаивался Василий.

– Другого способа не вижу. Шведский король, шведская военная знать не хотят лишаться своей власти и богатства в завоеванной стране. Финляндцы в тенетах разбоя. Им самим из тех тенет не вырваться.

– А их не сделают крепостными, как наших запорожцев?

– Не думаю, Вася.

\* \* \*

Тремя колоннами русские войска перешли границу Финляндии.

Гродненский гусарский полк находился в авангарде Раевского. Почти без всякого сопротивления были взяты Гельсингфорс, Або, быстро очищен от шведов весь север страны.

Александр Чеченский сразу был покорен неброской суровой красотой Финляндии, ее всхолмленностью, циклопическими нагромождениями камней, позеленевшими от мха валунами с трехэтажный дом, вековыми лесами, множеством озер, рек, речонков. Зверя лесного было превеликое число, рыб в водоемах – хоть руками выгребай. Образ жизни людей в редких поселениях чем-то напоминал ему Чечню, родные Алды. Здесь люди получали одежду, пищу, жилье от леса, земли, воды, камня. И по крайней бедности их видно было: как и чеченцам, нелегко им все доставалось.

Серьезнее дела русских складывались на юге, особенно на островах Финляндии. Из Швеции на крупный остров Карлов прибывали транспорты с оружием и провиантом. Дерзкие вылазки шведов отсюда сильно беспокоили русское командование.

Спасительную мысль подал Кульнев. Он сообщил командованию, что Денис Давыдов предложил смелый план нападения на Карлов остров.

Под покровом ночи он повел в метель по крепкому льду эскадрон гусаров и полтысячи казаков. Шведы, привыкшие к позиционной войне, к безнаказанности своих вылазок, конечно, сидели в тепле, не выставили даже дозоров.

Безмолвные всадники с факелами и огненными саблями, как дьяволы из преисподней, появились среди пакгаузов, магазинов, островных построек. Остров запылал вулканом. Редкому шведу удалось вырваться живым.

Когда сюда приспели неостровные шведы, то никого не нашли.

Давыдов к положенному сроку не возвратился. Оценив обстановку на месте, он решил сделать маршбросок в тыл противника. Зашел ему во фланги и снова, наведя на них страх и ужас пламенеющими факелами и саблями, разгромил их.

— Почему поздно объявился? — встретил Кульнев Давыдова. — Мы тут тревожимся! Под суд захотел?

— Никак нет, ваше высокоблагородие! — вытянулся Денис и доложил об исходе военной вылазки.

— За опоздание — пять суток гауптвахты! — загремел вновь Кульнев и, не сбавляя тона, через небольшую паузу добавил: — После войны. А за военную смекалку, за суворовскую находчивость, за удачу и удаль молодецкую представляю к Владимиру!..

\* \* \*

Оттепель началась внезапно. Снег заслезился, побежали ручейки, поверхность обледеневших озер и речек покрывалась сине-белой водой, дымилась, словно парное молоко в подойнике.

С оттепелью шведы оживились, привели в боевое состояние что могли, и русским приходилось туго. Войско Раевского под натиском превосходящих сил с боями отходило на север.

Кровопролитное сражение разыгралось у Кирке Куортане. Неприятель бросил в атаку свежие дивизии. Гусары Кульнева понесли тяжелые потери. Шведы расклинили их с основными силами корпуса, оттеснили на болото. Лед хоть и держался, но под ударами копыт давал зловещие трещины. Спасали гусар от полной гибели нагромождения камней, островки, покрытые вековыми деревьями и зарослями кустарников. Шведы обкладывали русских со всех сторон, несли большие потери, но атак не прекращали. Гусары стояли насмерть.

Кульнев понимал, однако, что так долго не продержаться. Требовалось подкрепление. А кого пошлешь в корпус, когда офицеры – наперечет. После долгих раздумий выбор пал на Чеченского.

– Вот, братец, какое дело, – обратился Кульнев к нему. – Эскадрону без подмоги – смерть. Иди и не замедли вернуться с помощью. Да поможет тебе бог, – осенил Чеченского крестным знамением. – Не оплошай, Христа ради. Сутки продержимся... Не более.

Была предрассветная пора. Чеченский в поводу вел коня. Под ногами хлюпала вода. Ледяной холод проникал через задубленную кожу сапог. Копыта Гнедого скользили по льду. Желтые отражения звезд, как лики мертвецов, оживали на потревоженной воде, приобретали фантастические формы. Но вот болото кончилось. Под ногами пружинила подмерзшая прошлогодняя трава.

Чеченский сел на коня. Осторожно направил его в надвигавшийся лес. Только бы не напороться на засаду. Дальше, как думал Александр, будет легче.

Гнедой с отпущенными поводьями запетлял по невидимой тропе. Ветер схлестывал наверху голые ветви, иногда раздавался громкий, как пистолетные выстрелы, треск, но конь вел себя спокойно, словно понимал, что это обламывается сушняк.

Впереди блеснул и исчез огонек. Снова появился. Лошадь пошла на него. Александр повернул ее в сторону, выбрался на лесную поляну. Справа оставался большой костер, слышались мужской говор, пофыркивание коней.

Чеченский углубился в лес. Ничто уже, казалось, не предвещало опасности. Александр даже как-то расслабился, пустил Гнедого рысью и совершенно неожиданно наткнулся на шведов. На костерке дымился котелок, солдаты пили из манерок, чем-то заедая... Они тоже были беспечны, хозяйство свое оставили за ближним деревом. И остолбенели, увидев перед собой русского гусара в свете костра. Испугавшийся было Чеченский выхватил саблю, гикнул.

Пороняв манерки, шведы бросились наутек. Чеченский спешил, разбил вражеские ружья о дерево и вместе с солдатскими мешками побросал в костер. Синие дымки поползли по парусине, лизнули ложа ружей — вода в котле забурлила с бешеной силой. Память Чеченского высветила похожий эпизод из баталий под Дербентом. Там он наткнулся на засаду из четырех персов. И засада, и вахмистр разбежались в разные стороны. Нынче Александр был доволен собой. Лишь закончив дела у костра, он ударился в сторону, противоположную той, куда убежали враги, и вскоре выехал на одинокую мызу. Вокруг нагромождения камней, кое-где клочьями плохо выстриженной бараньей шкуры чернела обработанная земля. Сразу было видно, что обитателям мызы тяжело доставался хлеб.

Чеченский, чтобы не выдать себя обитателям мызы, снова углубился в лес. В нем эхом перекатывался понятный для всякого военного шум уже недалекого сражения. Чеченский представил себе, как появится перед Раевским...

Внезапно ему преградил дорогу человек. Чеченский схватился за саблю, но тут же оставил ее: перед ним стоял старик. Из-под круглой заячьей шапки выбивались белые космы. Чеченский попытался его объехать, но старик вновь заступил ему дорогу. Он что-то говорил, потом потянул повод Гнедого к высокому дереву и стал проворно на него взбираться, жестом приглашая лезть за ним. Чеченский, все еще недоумевая, последовал все-таки за стариком.

И не пожалел. Почти добравшись до вершины, старик обвел рукой вокруг: посмотри, де, гусар. Чеченский увидел вдалеке дорогу, уже знакомую мызу, а за черной полосой леса, на равнине, — большое войско на марше, с белым покрытием шведские повозки, дымы костров. А старик, тыча черным пальцем в грудь Чеченского и повторяя «рус, рус», показывал в другую сторону и снова повторял «рус, рус». Этот жест стал понятен Чеченскому: старик знал, где находится войско русских.

Они спустились с дерева, и старик пошел впереди, приглашая идти за ним. Чеченский предложил ему жестами: садись, мол, на коня. Но тот энергично замахал руками. Это должно было, как понял Чеченский, означать: «Я привык, я пойду домой, на свою мызу, а тебе еще нужно ехать». Чеченский все-таки слез с коня, решил дать ему отдохнуть. Шли они долго то лесом, то оврагом, то обходя озерца или каменные завалы, иногда в опасной близости от маршировавших шведов.

Шум сражения усиливался справа.

Остановились они в рощице, перед каменистым плато. У ног старика пробежал неведь откуда взявшийся солнечный зайчик. Чеченский проследил за взглядом старика и увидел в яркой зелени ели шведского дозорного. Луч заходящего солнца высвечивал отполированный металл ружья. Старик рубанул рукой вперед, повторяя «рус, рус», сам же повернулся, чтобы уйти.

«Проскочу! – решил Чеченский. – Тут до Раевского рукой подать...» На прощанье обнял старика:

– Спасибо, отец. Видно, не зря мы, русские, пришли сюда. Для этого стоит жить. Прощай. Я тебя на всю жизнь запомню.

Старик внимательно слушал, и, хоть ни слова не понял, но глаза его почему-то повлажнели, он крикнул, повернулся и сразу растворился за деревьями, как добрый леший.

Чеченский вывел Гнедого под сень деревьев на самый край рощи, осмотрелся еще раз, молча пришпорил Гнедого – и тот пулей понесся. Над плато раздалась частая дробь копыт. Позади хлопнул одинокий запоздалый выстрел, а впереди по-русски:

– Стой! Кого несет?

– Свои! Где штаб генерала Раевского?

\* \* \*

Короткая светла ночь: и обратный путь – короче. Через лес, камни, мимо озер. На фоне мрачного неба светлым пятном промелькнула знакомая мыза. Слышит ли старик, что мимо его отшельничьего жилища спешат на помощь Кульневу три эскадрона гусаров да пятьсот казаков? «Спасибо тебе, отец! Счастья твоей земле!»

Быстро скачут всадники, но обгоняет наводящая на шведов страх молва: несметные полчища русских неведомо откуда взялись, сметают все на своем пути.

...Гусары Кульнева дрались из последних сил. Болотная вода во многих местах окрашивалась кровью. Уже и патронов не хватало, сабли притупились, руки притомились. Уже гусары рубахи чистые одели, как и полагается перед последним смертным боем.

И тут предрассветный воздух сотрясло громкое яростное «ур-ра!», музыкой прозвучали звон сабель, пистолетные выстрелы. Подкрепление Раевского прибыло вовремя. Из болота выходили уцелевшие гусары. Шведы были разбиты. Наверное, и это их частичное поражение у Кирке Куортане повлияло на исход дальнейших событий.

В летнюю и осеннюю кампании эскадрон теперь уже не Кульнева, а штабс-ротмистра Чеченского принимал участие в штурме Кирке Илистар, Вазмы, Свеаборга и вышел к Ботническому заливу. Вся северная Финляндия была очищена от шведов.

Англия усматривала угрозу своим экономическим и политическим интересам во вмешательстве России в дела скандинавских стран и потребовала от Швеции, чтобы та не складывала оружия.

И тогда в столице империи Александра I было решено действия русских войск перенести в пределы самой Швеции. Авангард Багратиона под командованием Кульнева, произведенного в генерал-майоры, двинулся по льду Ботнического залива, уже покрывавшегося соленой водой Балтики, сходу занял Гриссельгам, всего в ста верстах от Стокгольма. Одновременно на севере в наступление перешел Багратион.

В Стокгольме тревожно ударили в колокола, все со страхом ожидали нашествия диких гуннов из русско-скифских степей...

Швеция запросила мира.

На прощальной офицерской пирушке в Гриссельгаме Денис Давыдов провозгласил тост:

– Финляндия свободна! И рабству в ней не быть!  
Выпьем за доблестную русскую армию! Да здравствует  
гусарская сабля!

Стукнем чашу с чашей дружно!  
Нынче пить еще досужно:  
Завтра трубы загрубят,  
Завтра громы загремят.

Александр Чеченский горячо аплодировал Денису Давыдову, а Василий Давыдов, пригубив из стакана, наклонился к Чеченскому:

– Финляндия избавилась от шведской неволи, но будет ли Финляндия свободна?

Чеченский сердито повернулся к Василию:

– Зачем же мы воевали? Эх, Вася, юн, зелен ты... Крови-то нашей сколь пролилось на финляндской земле? Неужто напрасно?

– Да, да, кровь – это ужасно, – рассеянно ответил Василий. – Но еще ужасней будет, если она пролита напрасно...

## ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ

Александр Чеченский знал одного старого генерала, который до самой смерти носил под сердцем осколок пушечного ядра. Знал, но и в мыслях не допускал, что сам будет носить всю свою жизнь в сердце нечто напоминающее осколок.

Радостно, под гром музыки, с песнями возвращалась большая часть войск из Финляндии. Но к радости Чеченского, разделенной им с товарищами, примешивалась полынная горечь при каждом воспоминании о последнем расставании с Софьей. Что с нею? Времени подумать у нее было достаточно. Решится ли она нарушить волю отца? А может, своими моль-



бами успела растопить лед отцовской неуступчивости?

Человек, если у него отнимают счастье, никогда не расстается с надеждой обрести его. Именно это чувство не покидало Чеченского ни в Финляндии, ни особенно по возвращении в Петербург.

Он пошел к Софье вместе с Ржевским.

Дом был залит ярким светом. Видно было, как слуги меняли в канделябрах свечи, в окнах мелькали тени. Ни в одной из них не угадывалась Софья.

В прихожей их встретил совершенно незнакомый камердинер, с пышными белыми бакенбардами, в ливрее, расшитой серебром и золотом.

— Как доложить о вас? Следуйте за мной, — и, распахнув дверь, громко доложил: — Штабс-ротмистр Чеченский! Ротмистр Ржевский!

Такого у Зориновых не было заведено. Преобразилась и гостиная. Исчез портрет хозяина, под потолком хрустальным дождем сверкали четыре люстры, а между ними рельефно выделялась роспись, изображавшая излюбленную сцену пробуждения античной флоры, опекаемой сонмом розовощеких купидонов. В зале было много гостей, которых слуги обходили с подносами, уставленными сладостями и бокалами с вином.

Кто-то раскланивался с вошедшими, отец Софьи лишь надменно кивнул и сразу же отвернулся, занятый разговором с кем-то.

Ничего этого Александр не заметил, видел только Софью, сразу запламеневшую, потом — бледную. Она тоже выглядела необычно. Была в роскошном голубом платье из тарлатина, с высокой прической, увенчанной золотой коронкой гребня, на мочках ушей — лучистые изумруды, пальцы — в кольцах с разноцветными драгоценными камнями, в вырезе платья,

ниже ямки, в которой, говорили, обитает душа человеческая, на груди – тонкая золотая цепочка, точь-в-точь такая же, как у него на медальоне с Георгием Победоносцем.

Сердце Чеченского невольно сжалось в предчувствии худого, как не сжималось ни при виде вражеской сабли, занесенной над его головой, ни при свисте пуль или разрывах пушечных снарядов.

Для него здесь все, кроме Ржевского и Софьи, были чужие.

Она растерялась. Первым движением ее души было броситься со всех ног к Александру. Он, такой желанный, незабываемый, пришел наконец-то, и, кажется, так не кстати! Она взяла себя в руки, на правах гостеприимной хозяйки дома подошла к гостям, присела в легком поклоне:

– Милости просим. Пойдемте, я познакомлю вас с гостями, – предложила руку Чеченскому.

Все дальнейшее для Чеченского происходило, как в густом петербургском тумане. Запомнились зеленые, красные обшлага, рукава камзолов узенькие, как желоба водосточных труб, черные фраки, модные фуляры – шелковые шейные или карманные платки, завезенные недавно в Петербург из Ост-Индии, чьи-то желтые длинные, как у его Гнедого, зубы; женские прически и чье-то необычайно широкое в бедрах ядовито-зеленое платье. Имена скользили мимо сознания, как осенние мухи: одну от другой не отличишь. Софья, явно тяготясь церемонией представления, торопилась. Лишь возле одного гостя задержалась.

– Маркиз де Русско. Из французского посольства. Папа любит его.

– Рад познакомиться, – с французским акцентом произнес маркиз. – О, у вас высокие награды. Я

знаю: в русской армии трудно заслужить их. Господа военные, я имею предложение: переходите служить Франции.

– Не гожусь, – по-французски ответил Чеченский.

– Я о вас слышал. Удивлены? От Софьи. Вы в детстве спасли ее. О, эти русские кровожадные волки. Но нет худа без добра, они, как мне стало известно, подружили вас с Софьей...

– Но они же, кажется, собираются и разлучить меня с нею? – с сарказмом произнес Александр.

– О, вы, видно, не только саблей владеете! – вскинул густые брови маркиз. Его круглое смуглое лицо обрамляли черные бакенбарды. Череп, голый, как кегельный шар, блестел. Карие глаза поблескивали сознанием своего превосходства и неуязвимости. – А скажите, пожалуйста, скоро ли война? Вы боитесь ее?

– Она уже идет. Но лучше бы ее не было.

– О, штабс-ротмистр, от вас ли я это слышу? Вам не нравится служба в русской армии? Еще раз предлагаю: переходите к нам.

– Мы с вашим императором крепко насолили друг другу под Тильзитом.

– Я вас с ним помирю.

– Увольте. Вашего императора это, может быть, и устроит, а меня... Мы за разное воюем. Он в неволю обращает людей, а мы... Кроме того, я не знаю ни одного русского, который бы перешел в услужение иноземным тиранам. Зачем мне составлять исключение?

– О, да вы кусаете нашего императора. Уж не нуждаюсь ли я в вашей помощи, господин штабс-ротмистр? Нет, нет, я не сержусь: я тоже был молодым, горячим. Дорогая Софья, у штабс-ротмистра

прекрасный парижский выговор. Я бы с ним еще поговорил, но он ужасный якобинец. Шучу, господин военный. Я буду рад, если вы побываете на моей свадьбе. Адью, у меня с папа дела. – И маркиз де Русско учтиво откланялся.

– Господин ротмистр, вы не будете против, если я похищу у вас Александра? – спросила Софья.

Ржевский развел руками. Она увлекла Чеченского в соседнюю комнату с ломберными столиками, обессиленно упала в кресло и заплакала. Серьги и гребень ее дрожали.

– Что с тобой, Софья? – Александр опустил руки на ее плечи.

Она резко поднялась и, еще не справившись с рыданием, простонала:

– Не прикасайся ко мне... Я гадкая, скверная. Я выхожу замуж.

– За кого? – похолодел Александр.

– За маркиза де Русско. Так папа хочет. Что же ты молчишь? Скажи что-нибудь! Ну, прокляни! – она упала на колени, схватила его за руки. – Лучше бы мне умереть, Саша!

– Что ты, Соня! Встань, – он поднял ее.

– Я люблю тебя, а не маркиза.

– Любишь? Значит, согласна разделить со мной радость и беду? Хочешь, я тебя украду? Сегодня же!

– Это невозможно. Ты сильный, хороший, а я слабая, жалкая. Для меня воля родителя священна.

– Бежим, Софья!

– Ты хочешь, чтобы я убила отца? Угрызения совести не дадут мне счастья с тобой. Богом, наверное, суждена разлука.

– Софья... Соня, что ты делаешь с собой и со мной? Не будешь ли потом раскаиваться, казниться всю жизнь? Сейчас я уйду. Может, мы никогда потом не

встретимся. Но знай: я не прокляну тебя. Я желаю тебе счастья и, клянусь самым дорогим для меня – именем моей матери Рахимат, которой я никогда не видел, клянусь именем моего отца Алхазура, я тебя не разлюблю, даже если соединю свою судьбу с другой женщиной. И женюсь я на той, которой скажу, что люблю тебя.

– Прости, Саша. Прощай, – она прильнула к нему, потом оттолкнулась и пошла, как слепая, на глухую стену.

– Подожди, Соня, – Александр торопливо растегнул мундир, рванул ворот рубахи, снял с себя медальон.

– Саша, зачем? Пусть Георгий и впредь охраняет тебя.

– Охраняла до сих пор ты меня. А он... Он будет ежечасно грудь мне жечь, как горячий уголь, – он сунул ей в руку медальон. – Счастья тебе, – и вышел, глухо бросив Ржевскому: – Пошли.

Никто, кроме отца Софьи, не обратил внимания на торопящихся офицеров. Действительный статский советник с облегчением вздохнул и даме, спрашивавшей его, не видел ли он, как товарищ министра хлопает рюмку за рюмкой с рейнвейном, невпопад ответил:

– Слава богу, он ушел. Гора с плеч...

Дама изумленно шевельнула насурьмленными бровями:

– Не ушел. Смотрите – нализался, лыка не вяжет, а туда же, за бригадиршей волочится.

Софья подошла к окну. На перекрестке дрожало пламя фонаря. Она увидела, как в его свете, преодолевая ветер и дождь, быстро удалялись офицеры. По оконному стеклу бежали потоки дождя, по лицу Софьи катились слезы.

## ГРОЗА ВОЕННАЯ

Маркиз де Русско спросил Чеченского, скоро ли война и не боится ли он ее. Спросил не из светской манеры вести праздный разговор. Ему прекрасно было известно, что она близка, неотвратима. Маркизу хотелось на простом штабс-ротмистре, только что прибывшем из Финляндии, лишний раз проверить, как в России относятся к возможной войне.

Под личиной скромного дипломатического чиновника, во французском посольстве скрывался полковник военной разведки, непосредственно подчиненной Наполеону. Большой опыт в такого рода делах маркиз приобрел в Испании, Пруссии, Индии. Он понимал, что его не послали бы в Россию, если бы не запахло близкой грозой.

В очередной дипломатической почте он отправил во Францию донесение: «Сир, обычные контакты с русскими позволяют мне сделать вывод: Россия недовольна Тильзитским миром. На недавнем рауте у действительного статского советника, моего будущего тестя, петербургского аристократа, брюзжали по поводу того, что пострадала русская буржуазия — купцы. С достоверностью свидетельствую: Тильзитский договор, слава богу, подорвал-таки экономику России. В Тильзите мы были дальновиднее русских.

Ныне Россия предпринимает ряд акций, которые на нет могут свести наши тильзитские выгоды. Стало известно: таможни Петербурга, Архангельска возобновили тайную, правда, торговлю с Англией и одновременно повысили таможенные сборы на товары, ввозимые в Россию из Франции, что говорит об аттенции России к Англии.

Россия не послала своих солдат, как предусматривает Тильзитский договор, для умирения Австрии.

Сир, не увенчались успехом и наши усилия склонить Александра! Отдать вам в супруги его сестру Анну Павловну.

В глубокой тайне военное министерство в Петербурге силами битых нами пруссаков уже разработало план на случай войны с нами. Самое главное и, по моему, самое бездарное в планах – предложение прусского генерала барона Карла Людвигу Августа Пфуля: укрепленный военный лагерь близ города Дриссы Витебской губернии на левом берегу реки Двины, между слободою Путри и деревнею Бордзио. Ширина лагеря – три, длина – пять верст, редутов и люнетов – три линии, усиленных палисадами и волчьими ямами. Прилагаю в копиях план Дрисского лагеря и другие.

Суть замыслов военного министерства, утвержденных Александром I, дать нам сражение двумя армиями. Одна должна удерживать нас с фронта, другая – действовать на флангах и в тылу. Раз нам известны их планы, сделать им этого не удастся.

Уповаю на бога и на вас, сир, и готов заверить: война среди русских непопулярна. По словам боевого офицера, штабс-ротмистра, с которым мне пришлось беседовать, русские боятся и не хотят войны. Да поможет нам в святом деле бог. Да поразит он русских!»

Маркиз де Русско женился на Софье Зориновой.

Действительный статский советник, теперь спокойный за судьбу дочери, вышел в отставку и переселился в московский дом, старое патриархальное гнездо Зориновых в приходе Георгия Победоносца, что на Всполье. Гнездо это обживалось веками, было с теремами боярских времен, чуланами, амбарами, погребами, в которых впрок с осени на зиму заготавливались разные припасы: мука, соленья, варения, мороженая битая птица, хранившаяся в ледниках, и

все прочее, чего в досталь добывалось на земле русской, но чего так не хватало добытчикам этих припасов — крепостным крестьянам в родовых поместьях Зориновых.

Старый Зоринов и не подозревал о роковых для него последствиях своего переселения в Москву.

Раздор между Францией и Россией рос, страсти накалялись. Да столь стремительно, что скромный дипломатический чиновник маркиз де Русско вместо свадебного путешествия отбыл в Москву.

Для Наполеона в его военных планах против России главной добычей должна была стать Москва. Вот почему маркиз срочно был отправлен с секретной чрезвычайной миссией в Москву. К добыче нужно было присмотреться, найти, как ловчому в пуще, когда барину готовится охота, подступы к ней.

Буквально накануне войны маркиз отбыл во Францию и был свидетелем того, как Барклай де Толли и Багратион подтягивались к русской границе.

Тяжело расставался отец с дочерью. Видно, его старое сердце-вещун предчувствовало: навсегда. Он проводил молодых до последней московской заставы. Полосатый шлагбаум преграждал дорогу карете.

Еще крепкой, но от волнения дрожащей рукой старик перекрестил Софью, троекратно поцеловал ее. Софья никак не могла оторваться от отца. А муж поторапливал.

Шлагбаум подняли, как топор занесли над головой. Гикнул ямщик — и кони понеслись. Софья оглядывалась. Отец, одинокий, как верстовой столб, беспомощно опустил руки. Еще долго она видела обнаженную белую голову. Потом за пеленой слез все пропало. Была дорога, узкая, бесконечная, пустая. Только на подступах к границе карета начала часто останавливаться: и пешие, и конные забили тракт.



Видно было, как и обочь, и далее – за горизонтом, справа и слева, клубились тучи пыли, как при пожарах дым.

Было жарко. На границе с Немана на лошадей налетели слепни. Маркиза де Русско зябко куталась в пуховый платок, жаловалась на ужасную головную боль. Она только не кричала, сухими глазами смотрела на убегающий за Неманом пригорок с ветряной мельницей, на одинокую березу. Потом разрыдалась. С пронзительной ясностью поняла, осознавая всю чудовищность происшедшего: навек потерял дом, отец, Александр, девичьи, так и не сбывшиеся грезы. Отныне ей не засмеяться беззаботно и весело ни в праздник, ни при любой радости, потому что для нее их больше не будет.

За Неманом они едва смогли пробиться сквозь громадное скопление французских войск...

\* \* \*

14 мая 1812 года улицы Дрездена украсились штандартами Наполеона, наполнились гарцующими и фланирующими молодцами из императорской гвардии. При виде юных фрейлин они лихо закручивали усы и старались больше звенеть серебряными шпорами.

Сам Наполеон уединился в покоях михельнского архиепископа Доминика Дюфура Прадта. Слуга господний, сравнительно молодой – едва за пятьдесят, – ради такого торжественного случая облачился в фиолетовую мантию.

Император, погрузившись в массивное кожаное кресло, расстегнул серый сюртук и, обмахивая шелковым фуляром обнаженную голову, доверительно говорил:

– Решено, отец святой. Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу... Я сожгу Тулу и обезоружу Россию.

Он говорил еще, архиепископ согласно кивал головой в фиолетовой шапочке:

– Да покарает господь русских нечестивцев. Я буду молиться за успех вашего оружия, сир. – А сам втайне мечтал хоть когда-нибудь стать полезным Бурбонам: он ненавидел императора за то, что тот в свое время недостаточно оценил его дипломатические способности, отозвав с поста посланника в Варшаве. Душа пастыря страстно жаждала отмщения. А в душу ту никто, кроме самого пастыря, не заглядывал.

\* \* \*

Наполеон решил не дать времени русским на подготовку к сопротивлению. Вся огромная, более чем полумиллионная армия, поднимая над Европой тучи пыли, грохоча колесами обозов с военным снаряжением и тысячью пушек, хлынула через Неман. Французы, испанцы, итальянцы, поляки, вестфальцы, датчане, швейцарцы, голландцы, австрийцы, саксонцы, неаполитанцы, немцы – словом, как писали в петербургских газетах, «двунадесять языков» собиравшись вытрясти душу из России.

\* \* \*

1-я армия военного министра и главнокомандующего русской армией Барклай де Толли потеряла целых пять дней в Дрисском укреплении, а Наполеон меж тем рвался на Смоленск и Москву.

Только окончательно убедившись, что Наполеон не клюнул на Дрисское укрепление, Барклай наконец-то поспешил к Витебску на соединение со 2-й армией Багратиона.

\* \* \*

Александр Чеченский не успел в штаб главнокомандующего Барклая к началу военных действий: уже на дорогах за старым Смоленском увидел раненых. Они лежали вповалку на крестьянских телегах. Ужасная, тяжелая картина. Такой Чеченскому еще не приходилось видеть. В пылу сражения, отступления, атак это всегда оставалось где-то позади. А тут вот они – в соломе, желтые, беспомощные, заросшие, в грязных повязках, безногие, безрукие...

– Ждем, – встретил Чеченского главнокомандующий Барклай в своем витебском штабе. – Боевые офицеры нам сейчас нужны позарез. Значит, в Пруссии, в Финляндии воевали, на Кавказе. Но разве то война была?

Чеченский, все еще находясь под впечатлением виденного, сказал:

– Ваше сиятельство, генеральное сражение бы...

– Будет.

– Не опоздать бы, – осмелел Чеченский.

– Для таких дел, штабс-ротмистр, – улыбнулся Барклай, – нужно иметь, кроме горячей головы, еще и холодное сердце. Сокрыто мы готовились. Да прознал все Наполеон. Сам генерального сражения ищет... Где хотите служить, штабс-ротмистр?

– В войсках арьергарда, ваше сиятельство.

– Добро. Принимайте Бугский казачий полк.

\* \* \*

– Смирно! Под знамя! На караул! – раздалась зычная команда.

Гнедой Чеченского застыл перед выстроенным полком, голубым от казачьих курток. Горящими головешками на поясах вспыхивали патронташи, за пле-

чами карабины, а над всем этим поднимался сизый лес пик. Молодой всадник отделился от полка, подскакал к Чеченскому, отсалютовал шашкой:

– Ваше благородие, Бугский казачий полк выстроен для смотра. Рапортует поручик Мотылев!

– Здравствуйте, казаки!

Полк грянул приветствие.

Чеченский начал объезд эскадронов. Среди казаков были и безусые, и с лихо закрученными усами, и даже бородатые. Лихие, brave, уже порохом пропахшие.

Но почему это Чеченский попридержал Гнедого, остановился на левом фланге предпоследнего эскадрона перед всадником? Тот небрежно, как палку, держал пику и сам развалился в седле.

– Казак? – спросил Чеченский негромко.

Весь полк замер.

– Чего? Гы-гы! – оскалился казак.

– Казак? – повторил Чеченский, не повышая голоса.

– Тут, ваше благородие, в эскадроне поголовно все станишники... Я с Гребенской.

– Может, ты и неплохой казак. Может, и воюешь неплохо, но сегодня ты случаем не на рыбалку собрался?

– Поручик Мотылев скомандовал: «Стройся» – я и построился. Какая же рыбалка?

– А пику как держишь? Для рыбака это, может, и годится. Какой же казак не любит своего оружия? А может, жену – больше?

По рядам прокатился легкий смешок, кое-кто сдержанно фыркал.

– Святая правда, ваше благородие, жену – не так, слабше. – Казак покраснел, как вареный рак, мгновенно подтянулся, взял как нужно пику, bravo поднял голову.

– Ну вот, теперь видно, что казак, – удовлетворенно произнес Чеченский и продолжал смотреть.

Вечером, проходя по бивуаку, Чеченский невольно задержал шаг, услышав разговор у костра:

– Сраму на всю Гребенскую. Нарыбачил. Какой же ты казак? В зажитники тебя. Нашего командира пригласим на наваристую уху? Как ты мог ему так показаться?

– А может, я спонарошку. Может, думал – молодой, в нашем деле ни уха, ни рыла не смыслит?

– У тебя на месте ухо и рыло? Эх ты, Аника-воин. Видел я его в деле под Фридландом. Из гусаров он. Хранцузов крошил, как твоя, Михайла, Маруся капусту на борщ.

– Да ну! – ахнул Михайла. – Коли, как моя Маруся, – значит, добрый казак.

– А знаешь, из каких мест он родом? – Порыв ветра взметнул пламя и отнес слова в сторону.

– Да ну! – снова ахнул Михайла. – Земляк! Мой.

– Ну да, – недоверчиво протянул кто-то.

– Говорю тебе – земляк он мне. Я, как увидел его на коне, сразу подумал: откуда мне его обличье знакомо? И голос, и строгость его – такие ж встретишь только у моего земляка. Может, я вместе с ним голышом в Сунже да в Тереке сазанов ловил!..

– И он тебя встречал? С удочкой?

– Ты, Ситников, не шуткуй, может, и встречал. Личность я приметная.

– Потому он и опознал тебя сразу в строю, рыбака! – поддел его Ситников.

Казачи захохотали весело, заразительно, так громко, что от ближних костров послышались голоса:

– А чего это вы там зубы скалите?

– Да чего ж не скалить нам? – поплыл бас Ситникова над бивуаком. – Михайла наш нарыбачил. Ухи

котел мы обратали. Еще осталось. Может, вам подбросить рыбицы?

У костров, по всему бивуаку весело перекликались голоса, будто и не война, будто и не перед самым боем, а где-нибудь дома на Тереке, на Кубани, или на выгонном сенокосе, или на рубке леса.

Чеченский отправился проверить ночные дозоры. На душе у него было легко. «Кажется, — подумал он, — казаки признали меня за своего».

\* \* \*

Наполеон жаждал генерального сражения, молниеносной победы. Под Витебском он настиг армию Барклая, решил разгромить ее, затем приняться за Багратиона.

Двое суток гремел бой. Наполеон поспешно подтягивал резервы.

Ночью объезжал войска, уже изготовившиеся к решительному сражению с Барклаем. С холма, сидя на барабане, наблюдал за русским бивуаком. Там горело множество костров, звенело оружие, раздавались команды, носились всадники.

Сон к императору не шел. Перед всяким большим сражением он видел, как его маршалы под развернутыми знаменами ведут в бой армию, как враг смят, растоптан, уничтожен. Незадолго до утренней зари он наконец прилег на охапке сена, прикрывшись шинелью. Заснул, тщеславно утешившись, что вот он под Витебском, а царь Александр I спит в Петербурге, не решается скрестить с ним шпаги...

На командном холме уже собрались маршалы. Туман на землю пал. Позиций русских не видно, но бой нужно начинать. И вот уже передан пас-пароль, вот ударили пушки, загремели барабаны, землю потряс топот копыт.

Все пошло по привычным канонам наступления: дивизия налево, направо, в обход, прямо. Но чего-то в тумане Наполеону недоставало.

– Почему русские не отвечают? – занервничал он. – Наши солдаты, по моим расчетам, уже достигли позиций русских. Дьявол поberi этот туман. К счастью, он рассеивается.

Земля открывалась, солнце представало во всем своем восхитительном блеске. Французская пехота, уланы с пиками, кирасиры с обнаженными палашами двигались красиво, как на параде. По всему русскому полю дотлевали костры, а самих русских... не было!

– Каналья! – чернее тучи стал Наполеон. – Куда делся Барклай? Маркиз де Русско, где вы были? За ночь испарилась армия! Это непостижимо! Может, майор де Русско... Да, да, вы уже не полковник! Может, это вы назовете армией Барклая? – гневно указал император на горизонт.

Там маячили небольшие конные группы. То были разъезды Бугского казачьего полка. Это они две ночи палили костры, создавали для французов видимость, что войска Барклая на месте.

Легкий, как ветер, Бугский полк незадолго до рассвета ушел водой в песок, растаял в степи, оставив Наполеону пепел костров да конский помет.

И снова Наполеон строил дивизии в походные колонны. Днем, ночью двигались они в фантастически бесконечное пространство. Дух захватывало от неоглядных далей. А летучие отряды бугчан внезапно, как крылатые черти, насакивали, рубили, кололи, стреляли. И, пока незваные гости приходили в память, оцетинивались штыками, казаки уже в другом месте громили обозы, перебивали артиллерийскую прислугу, уволакивали с собой захваченные пушки.

Настоящего сражения для армии Бонапарте не было. Могил же она оставляла по обочинам дорог множество.

\* \* \*

К храму Успения на Соборной горе шли строем с обнаженными головами при полном оружии солдаты, толпами валил народ. Звонницу храма облепили ребятишки. С тревогой и любопытством они оглядывали людское море, сверкающую излучину Днепра, из которого шел волок в древнюю Касплю. Всем отлично было известно, что от Смоленска лежал водный путь к Новгороду Великому, к Волге, к Хвалынскому морю, что Смоленск испокон веков был крепостными воротами Москвы.

Вот он перед ними Смоленск — весь как на ладони вознесся над землей дивным городом. Из сосны, из дуба, камня, жженого кирпича дома, слободы, церкви с голубыми, зелеными, как весна, златоверхими, а то и просто — под охру куполами. Над Смоленском, над множеством речек, речушек, над ближними лесами, под облаками — немолчный гул людских голов и набат.

Из храма вынесли древнюю святыню — Смоленскую икону божьей матери. Семьсот лет назад греческий император Константин Порфирородный прислал ее с дочерью Анной, обручившейся с Черниговским князем Всеволодом Ярославичем.

Полвека спустя Владимир Мономах перенес ее в Смоленск при заложении храма Успения. С тех пор божья мать — нерукотворная заступница Смоленска. С потемневшей доски, изъеденной древоточцами, смотрит лик простой женщины, какой-нибудь прекрасной гречанки, так похожей на всех матерей земли, и младенца, так доверчиво глядящего на мир.

Ему пока знакомы тишина на земле, свет дня, прекрасная земная жизнь, но он уже знает, что если грянет гром небесный, то самое надежное место для него – у груди матери.

Высоко поднята икона, хоругви на ветру полощутся. На стогнах Смоленска коленопреклоненный народ. С набатом плывет тропарь певчих: «Попра смертью смерть... Из чрева адова избави нас и подаде миру велию милость».

Истово, горячо молится люд, взывает к матери младенца, чтобы заступилась за сына, за землю, покарала чужеземцев. Над Смоленском плывет акафист «Ко пресвятой богородице»: «От всяких нас бед свободи... О, всемилостивая... избави нас от глада, губительства, от труса, и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных...».

Никогда потом мальчишки Смоленска не увидят, не услышат больше такого. Они не знают, что в последний раз видят свой диво-город таким, что Днепр и Волга понесут в Хвалынское море и понт Эвксинский пепел спаленного императором Франции Смоленска. Только святыню храма Успения – Смоленскую икону божьей матери – увезут.

В толпе смолян у храма Успения были Александр Чеченский и Денис Давыдов, прибывшие по вызову в штаб главнокомандующего.

– Не брать Наполеону Смоленск! – сказал Чеченский.

– Так, Александр. Мать божья поможет. Только не мешало бы к матери божьей добавить войск и оружия. Петр Иванович Багратион третьего дня сокрушался, молнии метал Зевсом-громовержцем: «Как без резервов драться? Ополченцев сколько времени обещают?.. Чем Наполеона захомутать?..». Да ты, Саша, не слушаешь меня! – Денис проследил за взгля-



дом Чеченского. – Гусар, я сражен и повержен! Не знал я за тобой сей доблести! Извини за сии вирши, но ты их заслужил.

Чеченский, бледный, смотрел на женщину, которая неподалеку, на ступеньке паперти, опиралась на руку молодого полковника.

– Как она попала сюда? Почему с полковником? – в раздумье спросил Александр.

– Ты с нею знаком? Любишь?

– Да.

– Поздравляю. Но заранее скажу – пропадешь ты со своей любовью. Я не знаю, не встречал еще таких любящих друг друга мужа и жену, как полковник Тучков и его жена Маргарита Михайловна.

– Маргарита? – растерянно произнес Чеченский. – Быть того не может!

– Полноте, гусар, не изволь шутить так о знакомой тебе женщине.

– У моей знакомой другое имя.

– Выходит – ты эту не знаешь. Я расскажу тебе об этой удивительной женщине, вернее, о ней и ее муже. Пошли. Здесь недалеко корчма.

Они выбрались из толпы, но Чеченский наотрез отказался от корчмы, страшаясь потерять из виду женщину, которая так поразила его.

Судьба ее и в самом деле оказалась удивительной. Из знатного рода Нарышкиных, она шестнадцатилетней была насильно выдана замуж за светского развратника. Наделенная светлым умом, чудесным голосом, добрым и нежным сердцем, она, может, в конце концов смирилась бы со своей ужасной участью и умерла бы от скоротечной чахотки.

Все перевернула встреча с молодым офицером Александром Тучковым.

– Знаешь, Саша, какой это человек? Не я – мой хороший знакомый, издатель журнала в Петербурге,

сказал мне однажды о нем: «Красавец, душа честная, возвышенная. Ум его обогащен глубочайшими познаниями. Но чем другие в нем восхищаются, он только один не замечает в себе». Я скажу тебе, Саша: само небо подготовило их встречу. Они полюбили друг друга. Брак у нас – это часто кандалы на приговоренном к вечным каторжным работам. Умри с ними. Маргарита восстала против мужа – умственного пигмея и нравственного уроды.

До самой консистории святейшего синода дошли сведения о неслыханном распутстве мужа Маргариты. И синод дал ей развод с ним. Но грязные сплетни о ней ее мужа и света, упорное сопротивление родных Тучкова браку их сына с разведенной создали, казалось, не преодолимые для них преграды. Семь лет назад они стали наконец мужем и женой. С тех пор их не разлучало ничто, даже война.

«Расстаться с мужем мне еще тяжелее, – говорила она своим родителям, пугавшим ее трудностями и опасностями военных походов. – Будь что будет. Не хочу отказываться от своего счастья, которое досталось мне очень дорогой ценой. У меня в жизни две привязанности: Александр и Россия. Я это только тогда и поняла, когда встретила его. Я им отдаю свою любовь. Буду денщиком мужа, буду врачевать раненых, увечных...»

Так и живут они: в походах, на бивуаках, в сырых землянках, под гром пушек, под огнем, в обнимку со смертью.

– Прекрасная женщина, – сказал Чеченский. – Она поразительно похожа на одну мою знакомую. Не расскажи ты мне о Маргарите Михайловне, я бы продолжал думать, что это моя знакомая. Она должна быть теперь в Париже. Смотри, Денис, эта женщина с полковником направляются сюда.

Тучковы остановились возле дорожной кареты.

— Душа моя, не навсегда же, — полковник наклонился над вдруг разрыдавшейся женщиной. — Бог даст — война скоро кончится.

Из кареты вышла женщина с ребенком. Не разъединяя рук, Тучковы долго держали его, склонившись над ним...

— Так вот что их разлучает, — сказал Денис. — Ради малютки она покидает мужа. Саша, нехорошо подглядывать за чужим счастьем. Муки расставанья — тоже счастье. Не всем они, брат, даются. Пошли, Александр.

\* \* \*

Войска Баркляя и Багратиона соединились, но не смогли остановить французов, хотя и пощипали их, заставив потерять по дороге к Смоленску свыше ста пятидесяти тысяч человек.

Смоленск все-таки пал. Французы ликовали, готовы были на крыльях лететь дальше. Трезвее всех оказался маршал Мюрат.

— Москва нас погубит, — на коленях упрашивал Наполеона остановиться.

Казачьи бугчаны по-своему переживали потерю Смоленска, ведя арьергардные бои. Однажды после кровавой сечи с эскадрой французских драгун, от которого осталось десятка полтора пленных, казаки, зверски устав, расположились на ночлег у речонки с заболоченными берегами. Черное облако надвигалось с горизонта. Нестреноженные лошади похрустывали травой. Казаки же — кто попонку подстелил, кто прямо на голой земле разметался.

Командир полка, мрачный, как туча с востока, у прибрежной осоки под голову седло примостил. Без аппетита сухарик погрыз. Адски изнемог, а глаз —

не сомкнуть. Мысли тяжелые, как на речном дне камни: вода пытается их сдвинуть, да мало ее. Лягушки квакают, к дождю, наверное. Казаки тяжело вздыхают. Нет обычного веселья, смеха, песен, пляски. Вода в речонке — и та неподвижна, зеленой ряской подернута. Туча ползла и ползла, высвечивая восток, угрожая затмить солнце. Над ряской стрекоза слюдяными крылышками еле шевелит.

— Барклай де Толли — болтай да и только. Отступить доколе? — раздалось неподалеку от Чеченского. — У Бонапартия морда в крови, а прет — ровно белены сверх меры хватил.

Не хотелось головы поднимать. По голосу узнал — Ситников.

— Анчихрист, — продолжал Ситников. — Михайла — гляди! На небе кровищи. Каин Авеля вилами пронзил.

Туча опускалась на солнце, багрово лохматилась.

— Не иначе — знамение худое, — со страхом произнес Михайла, переходя на шепот.

— К непогоде, буря завтра будет.

— А я тебе говорю — знамение. На войне — всегда да знамения разные бывают.

— Это какое? Для кого?

— Знамо — французам. Видишь, туча куда ударилась? Над нами небушко чистое, а над французами — тьма адова.

Казаки примолкли. Стрекоза сорвалась с ряски, засверкала крылышками, будто кресало высекло из кремня искры. Стрекоза переместилась на камышовую метелку, раскачивается. Солнце село, но сумеречный свет его держится над землей. С речки повеяло прохладой, на чистой половине неба обозначился месяц остриями вверх, а над ним ярко заблестела звезда. Чеченский обшарил глазами небо — звезд больше не было.

По речной глади пробежала рябь, зашелестела дремотная осока. Ночные птицы пролетели косяком. Из степи донесся дробный топот, словно в барабан забибли. К бивуаку вынесся всадник, и веселый громовой голос его услышали все:

— Казаки! Чего ж вы зажурились? А знаете ли вы, что у нас новый главнокомандующий?

— А скажи — кто? — вскочил Ситников. — Кто, ваше благородие?

Чеченский уже подбежал к всаднику, узнав в нем Дениса Давыдова.

— Чарку доброго вина! — потребовал Давыдов. — Что-то в горле пересохло.

И кто-то уже налил чарку. Денис выпил, крикнул и гаркнул:

— Кутузов!

— Наконец-то! — вырвалось у Чеченского.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра! — раскатилось над бивуаком.

Ситников облапил Михайлу — и они трижды облобызались. По всему бивуаку раздавались радостные крики, ярче запылали костры. Из сумок извлекли лучшие припасы. Казаки запиروвали, словно только что выиграла большое сражение.

От костра Ситникову донеслось:

— Прибыл Кутузов бить французов! Михайла, друг ты мой задушевный, да знаешь ли ты, собачий сын, что Кутузов — тоже Михайла? А по изотчеству — Илларион, не то, что ты — сын Кузьмы. Выпьем во здравие Михайлы Илларионовича!

В палатке Денис вручил Чеченскому пакет.

— Завтра Кутузов делает смотр войску. Готовься!

— В такое время смотр? Парад?

— Э, не знаешь ты Михайлу Илларионовича. «Посмотрю, — сказал он, — на молодцов на марше. Погляжу, как они умеют отступать!..»

– Как же это получилось, что к нам Кутузова?

– Народ, – коротко ответил Денис. – А по секрету вот еще что скажу. От самого Петра Ивановича Багратиона слышал. Уж как он обрадовался Кутузову! Царь, говорят, не хотел Михаила Илларионовича. Доподлинные царские речи до Багратиона дошли: «Общество желало его назначения. Что до меня, я в этом умываю руки». Ну, гусар, по чарке еще! Задержался я у тебя, однако, чертушка. Прощай. Пакетов у меня полная ташка. Успеть бы развезти.

\* \* \*

Александр Чеченский никогда не видел Кутузова, но сразу же выделил его среди военачальников у древнего кургана.

Был конец августа. С утра, как и предсказывал Ситников, разгулялся ветер, в небе плавали клочковатые облака.

Завидев еще издали Кутузова, Чеченский оглянулся на свой полк. Казаки подтянулись, над ними, как на параде, колыхался высокий лес пик с трепетавшими на них красно-белыми флажками.

Поэскадронно с ярко блестящими глазами, тоже устремленными на курган, казаки двигались стройно. Лошади под ними пританцовывали, будто играл полковой оркестр. А был меж тем лишь свист, завыванье ветра, тряслась от множества копыт земля.

Кутузов был в походном полевом мундире без эполет и других знаков различия, в белой фуражке. Ветер подхватывал концы зеленого шарфа, обмотанного вокруг шеи. Весь он какой-то домашний, свой, родной... Он сидел на белой лошади, как старый мудрый орел у своего гнезда. Не страшны тому орлу уже давно ни бури, ни схватки с врагом.

При виде полка Чеченского Кутузов оживился, даже привстал на стременах, поднес ладонь к глазу, потом поднял в приветствии руку:

– Здравствуйте, орлы-казаки!

Через какую-то долю секунды воздух потрясся от могучего ответа, завершившегося тысячеголосым громовым «ур-ра!».

По правую руку от Чеченского – пожилой Ситников, по левую – юный поручик Мотылев с пашками «под-высь», оставив далеко позади холм, счастливо улыбались.

– Ну, держись теперь, анчихрист! Причастим, ужю! – сказал Ситников.

Александр Чеченский, притихший, словно только что обласканный старческой рукой Кутузова, с любовью посматривал на Ситникова и Мотылева, на вспыхнувшее розовым пламенем лицо Михайлы. Горячий ком образовался в груди, застрял в горле.

«Это счастье, великое счастье иметь таких товарищей, – подумал он. – Такого полководца, как Кутузов. Простое русское лицо. Черная повязка на глазу... Казак Михайла. Пику может держать, как удилице, и превратить это удилице в грозное оружие... Сотник Ситников. Вахмистр Волков. Жизнь спасут, а скажи им «спасибо» – обидятся: «Эка безделица? Разве ж это я спас? Товарищество наше спасло». Слепой в поле без поводыря – вот кто я без товарищей. Сила мы. И не сломить той силы никому!..»

До Москвы оставался трехдневный переход для кавалерии, когда Чеченский остановился со своим полком на отдых у дубовой рощицы. На опушке Денис Давыдов, не слезая с коня, с жадностью оглядывал все вокруг: желтое жнивье, блиставшую в зеленых берегах речку, деревянные колоколенки с крестами...

– Что запечалился, Денис? – подъехал к нему Чеченский.

– А, это ты, Саша? – очнулся Денис. – Здравствуй. Вот и добрался француз до моего родового гнезда. – Он зябко поежился в бурке. В зубах его свистнула давно погасшая трубка. – Бородино – наследственное Давыдовых. А вон Горки. Чуть ниже, видишь, в нашей Семеновской деревне солдаты разбирают избы и заборы... В дымах войны – мой отчий дом. Далеко забрался залетный французский стервятник, с гласиса его скатить, чтоб до Парижа не опомнился! В барбет зарыть!.. Зароем!..

– С нами Кутузов, – бодро ответил Чеченский.

– Да, это наше спасение. Надо бы раньше. Ты знаешь, что сказал Михаил Илларионович, услышав о потере Смоленска? «Зачем отдали ключи от Москвы?» Ох, нелегко нам будет, Саша, возвращать эти ключи. Но отберем! Наполеон это уже учуял, сказал, как только узнал о смене главнокомандующего: «О, этот северный лис!». Ну, прощай, Александр. Пора мне и в поход.

– Далеко собрался?

– Попросился я у Петра Ивановича Багратиона погулять по тылам французским, попартизанить. Кутузов не препятствовал. Дали мне отряд – пятьдесят удалых молодцов-гусаров да тридцать бывалых казаков. Эх, и гульнем. Прощай, брат, пора мне.

## И ГРЯНУЛ ГРОМ

Ржевский посерел от порохового дыма. Кончики черных фатоватых усов капитана обгорели, но оттого еще воинственнее прежнего топорщились. Пушкари едва успевали в брезентовых ведрах подносить из ручья воду и окатывать ею раскаленные стволы еди-



норогов. Пар и дым, смешиваясь, клубились, и сквозь них, как на старых церковных фресках, изображавших день страшного суда, Ржевский различал, как падали французы, чтобы больше не встать, одни безропотно, молча, другие с поднятыми от мук руками, разверстыми ртами, из которых вырывался вопль.

К концу дня большая часть людей на батарее Ржевского погибла. Все пространство перед Шевардинским редутом шевелилось или было заколдовано беспробудным сном, на нем умирали или уже умерли люди. Не травой, не поздними августовскими полевыми цветами покрывалась земля, а синими, зелеными, черными, белыми мундирами полуживых и усопших, желтыми кирасами, сраженными лошадьми, багряными пятнами...

Без роздыху, без маковой росинки во рту Ржевский в пылу боя отхлебнул воды из брезентового ведра.

— Не пей! — отчаянно крикнул сосед по батарее майор Иван Дидрихс, командир пятой артиллерийской батареи шестого корпуса. Ржевский поперхнулся, выплюнул воду и только теперь увидел, что она в ведре красная. От крови сраженных.

Приказ Багратиона оставить Шевардинский редут поступил в третий раз. Корпус оттягивали под Горки.

Сумрачное небо задергивалось облаками и пороховым туманом. Уносили убитых, раненых. Лошадей не хватало. Ржевский, сбросивший с себя полуобгоревший мундир, в одном шпензере, плечом налегал на колесо пушки, увязавшее по ступицы в податливой сырой земле. Пот градом катился с его лица, потому что пушки поднимали в гору. На Шевардинском холме горел костер. И перед Ржевским снова возникла картина страшного суда: геенна огненная.

И в ней силуэт сатаны в треуголке и партикулярном спортуке в окружении бесов тоже в треуголках. Весь генералитет Бонапарте собрался у костра, чтоб насладиться черными делами своих рук. Может, Наполеон видел и Ржевского, упершегося плечом в колесо пушки. Капитан осердился на себя за то, что показывает императору спину, и с еще большим ожесточением налег на железную махину.

– Братцы, поможем канонирам, – услышал Ржевский знакомый голос, но не обернулся.

Пушка легко и быстро покатила. У малого ручья, за Колочей, Ржевский перевел дух.

– Здесь наша позиция, братцы. Спасибо.

– Да тебя не узнать, герой! – кто-то облапил его за спиной.

– Саша! Чеченский!.. Жив! Давно мы не виделись.

– Завидую. Как вы дрались! Львы! Орлы! А мы в резерве. Досадно, что Шевардино оставили.

– Саша, не единым сражением выигрывается военная кампания. Кутузов – он действует с оглядкой, не напролом, как Бонапарте, не очертя голову. Шевардино – еще не вся Россия. Кутузов пока одним левым кулаком отбивается от двух кулаков французского императора, про запас силу в правом кулаке держит.

– Француз ликует, костры вон разжигает, кашу варит.

– Пламя черное, вулканическое... Мертвых сжигают. Что слышно от командиров про нынешний бой?

– Атаман Платов командирам поведал: Кутузов весел. «Так ему, серой шельме, и надо, – сказал о Наполеоне. – Привык, чтоб неприятель перед ним на задних лапках ходил. Победрами избалован. Ан не

все коту масленица. В центр нашей обороны полез, прорвать хотел наш фронт, отрезать от Москвы, перекотить нас вознамерился. А мы на волчью яму тянем его. Ох, кровушки еще много прольется, но Россия-матушка супостату в руки не дастся.

Драться с нами — это не на Немане на виду Тильзита лобызаться с нашим царем».

За Колочей, к которой сбегались ручьи и протоки, артиллеристы готовились к главному бою. С левого фланга на передние позиции выдвинулись флешы Багратиона, позади, чуть правее, обрастала брустверами, люнетами, куртинами, апрошами батарея генерала Раевского.

\* \* \*

У ручья Стонец, впадающего в Колочу, батарея Ивана Дидрихса из четырех пушек занимала высотку почти рядом с пушками Ржевского. Ржевский хорошо видел батарею Дидрихса, командный пункт Кутузова на холме в деревне Горки и верстах в двух с небольшим — Шевардинскую высоту.

Сегодня всюду царила тишина. Полуденное солнце отогревало остывшую за ночь землю. Бородинские воробьи чирикали на пушках, отчаянно охотились за крошками хлеба, остатками каши, которые им бросали солдаты, с громким писком разлетались при малейшей опасности. По обе стороны дремотного фронта поднимались столбики дымов от многочисленных костров. За Шевардином они зловеще чернели,плыли хвостатыми кометами. Французы сжигали убитых.

Капитан Ржевский подставлял бока солнцу и костру, расположившись на фашинах. Он то открывал, то смеживал в блаженстве глаза, как обленившийся кот.

Чистое голубое небо представлялось ему безмятежно спокойным, пустынным океаном, убаюкивало, как в надежной ладье. Внезапно прямо над головой Ржевского сверкнуло что-то ослепительно яркое. «Показалось», — подумал. Но, широко открыв глаза, увидел темную дымчатую полосу над соседней батареей. Она таяла в воздухе.

Ржевский вскочил. «Расскажу Дидрихсу», — заторопился он. Миновал рожицу и уже собрался перемахнуть через бруствер соседа, когда до него донесся голос:

— Так что вот, ваше благородие, вот. — Ржевский увидел, как солдат протягивал Дидрихсу какой-то предмет. — Еще горячий, а был — пальцы вот обжег.

Дидрихс повертел в руках предмет и спросил:

— Может, из пушки Наполеон пальнул?

— Никак нет, ваше благородие, пушки молчали. Тихо было. Я видел — в небе полыхнуло, как из карронады, а опосля — у ног шмякнулся он. Гарь и смрад от него. Не иначе, ваше благородие, — понизил в страхе голос солдат, — знамение нам с неба худое. Мал чудовый камешек...

— Молчи, братец, — Дидрихс подбросил на ладони предмет. — С фунт. Тяжел, сер, с ядрышками.

— Во-во, как пульки набиты в нем.

— Вот что, братец. Кто еще видел этот камень?

— Кажись, никто, ваше благородие. Худое предзнаменование.

— Ты так думаешь?

— А какое же? Господи, пронеси беду! — солдат закрестился.

— Вот что, часовой, не приказываю — прошу: ты же не хочешь, чтоб супостат взял над нами верх?

— Свят, свят, ваше благородие.

– И я не хочу. Слушай. Камень этот, по всему видно, с неба. Метеором называется <sup>1</sup>. На земле таких тяжелых нет. Я тоже думаю: плохо, что он упал на нашу батарею. Но еще хуже будет, если об этом узнают все. Ослабнут духом. Молчать нам с тобой надо. Ты не видел, я не знаю. Клянусь богом, дорогим для меня отечеством, матерью и детьми моими: никто не услышит от меня об этом камне, – Дидрихс спрятал камень в карман.

– Клянусь! – глухо повторил солдат. На глазах его блеснула влага, когда Дидрихс в порыве братского чувства крепко обнял и поцеловал его в губы.

Ржевский безмолвно отступил и поспешил на свою батарею.

\* \* \*

Часовой и майор Дидрихс сдержали клятву.

Накануне генерального сражения Платов с командирами казачьих полков объезжал флешу Багратиона, Утицкий лес, батарею Раевского. Платов отличался дотошностью умного казака, который, прежде чем взяться за что-либо, семь раз отмеривал. Если собирался пахать, то объезжал сначала поле, проверял подковы у лошадей, крепость, надежность сошника, гужей...

Чеченский запоминал речки, волчьи ямы, засеки в лесу, рвы, люнеты, болота, преграждавшие дороги к Барклаю. Во многих местах еще валили вековые сосны и липы. Бородатые мужики – ополченцы – мешками носили землю на валы батареи Раевского.

---

<sup>1</sup> Метеорит упал на поле Бородина 25 авг. 1812 г., попал к Дидрихсу, а спустя много лет как фамильная реликвия Дидрихсов в музей: ныне часть в Горном институте Ленинграда, часть – в Минералогическом при Акад. Наук СССР в Москве. Вес его 325 г.

Артиллеристы устанавливали на площадках пушки, устраивали амбразуры, обшивали досками.

26 августа, в пять часов тридцать минут, барабан в эскадроне Мотылева пробил «на молитву». Со стороны Шевардино раздалось четыре пушечных выстрела. Раз ответили ему с флешей Багратиона. Потом дежлоядами двинулись французы.

Так началась Бородинская битва.

Вечером того дня суть и последствия великого сражения генералов и солдат стали ясными не только Кутузову и Наполеону, но и рядовым его участникам, которые остались живыми. В стане русских царилась радость. Полковые священники, когда барабаны пробили «на молитву», при обнаженных головах воинов пели с мужским хором: «Тебе, бога, хвалим...».

Кутузов, примостившись у края походного стола, писал жене: «Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием».

У французов царило уныние.

Но грандиозность пагубы для Наполеона и славы для России, закаленной в вековых схватках с чужеземцами, не все люди осмыслили ни на другой день после сражения, ни даже спустя век.

Русским было чему радоваться. События того дня развивались, как показалось Наполеону утром, благополучно для французов. Но чем далее, тем коронованный корсиканец все более мрачнел. Лишь ценою огромных потерь к середине дня ему удалось овладеть флешами, где командующий ими Багратион получил смертельное ранение. К концу дня батарея Раевского с Курганной высоты отошла к Горкам, к высоте, на которой находился Кутузов.

– Приведите пленных, – приказал Наполеон, будучи уверенным, что с русскими покончено.

– Пленных нет, – ответил маршал Даву.

– Русского солдата, – добавил маршал Коленкур, – недостаточно убить, его еще надо повалить. Русские отошли на заранее подготовленные позиции, сир, сохранив силы для сопротивления.

Часу в десятом ночи Чеченский зачитывал приказ Кутузова казакам своего полка. Поздравив доблестных защитников Бородина с блистательной победой, Михаил Илларионович далее говорил: «Неприятель оставил поле битвы и отступил на прежнее, занятое им место. Подкрепите ваши силы пиццею и отдохновением, а назавтра будьте готовы к бою».

Наполеон никому не говорил, что сражение им проиграно. Он еще надеялся на новый поворот событий, который принесет ему столь желанную и привычную для него викторию. Лишь значительно позднее он будет искренним и скажет: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

Нынче же император решил сделать смотр своим войскам, не предупредив их об этом. Велел подать лошадь и спустился с холма.

Завидев императора, чуть больше полусотни солдат расхватили из козел ружья и построились. Перед ними стоял майор де Русско.

– Что вы тут делаете? – спросил Наполеон.

– Нам приказано занять здесь позицию, – ответил майор.

Он и его солдаты имели жалкий, потрепанный, взъерошенный вид: разорваны рейтузы, помят кивер, у многих повязки, все обросли щетиной.

– Потрудитесь привести себя в порядок, – сказал Наполеон, – и отправляйтесь в свой полк.

– Полк здесь. – Маркиз не сдвинулся с места.  
– Майор, я приказал отправиться в полк.  
– Он здесь...  
– Сир, – выступил вперед маршал Коленкур. –  
Это все, что осталось от полка после сегодняшних  
двух атак. Потери колоссальные.

Наполеон помрачнел, ссутулился и, ничего не ска-  
зав, огрел хлыстом коня.

\* \* \*

В ночь после сражения у Чеченского состоялся  
памятный разговор с крестным.

– Погибших помянем, о живых подумаем, – ска-  
зал Николай Николаевич за небольшой трапезой. В  
палатке горела свеча, за откинутым пологом – на  
костре закипал котел. Сыновья Раевского – Николай  
и Александр – были тут же: – Потомкам не измерить  
нашей баталии. Мертвые молчат, живым небо с овчин-  
ку казалось. Сможешь ли ты, штабс-ротмистр, все  
рассказать об океане, если пересечешь его хоть де-  
сять раз на паруснике? Я на своей батарее более все-  
го запомнил, как мой лучший фейерверкер банником  
сковыривал со ствола пушки французского гренаде-  
ра, а тот манеркой отмахивался. Обоих их сразила  
шевардинская картечь. Рядышком смирнехонько  
улеглись, один не выпустил банника, другой – ма-  
нерки. А что ты запомнил, штабс-ротмистр?

– Пушки ревели – в ушах ломило. С тысячу их  
было.

– Поболее.

– И еще запомнил: Платов наш шапкой бараньей  
махнул – мы в стенку гренадеров врезались. Они  
уже одолевали ваш редут. Стенка рухнула, рассыпа-  
лась. Догнал я офицера, саблей кивер сбил, круп  
лошади повредил. Офицер – из седла. Глаза белые,  
бешеные, орет по-французски: «Руби!.. Руби!» – и из



пистолета в меня. Гнедому ухо прострелил. Встреча была... не из приятных. Он увез мою Софью в Париж...

— Чем же закончилась ваша встреча?

— Наш трубач как раз отбой сыграл. Офицер даже не попрощался, на Шевардино пошел, спотыкаясь о мертвых... А узнал меня...

\* \* \*

Ночной приказ о наступлении Кутузов отменил утром, потому что выяснил: сил для успеха наступления у него хватит, а для закрепления победы не достанет резервов. Царь и начальник Московского ополчения Милорадович не прислали обещанных войск.

На второй день отступления к Кутузову приспел начальник Калужского ополчения генерал-лейтенант Шепелев.

— Слава богу! — обрадовался Кутузов. — Наконец-то! С ополчением? Позарез нужно!

— Я генерал без армии, — замылся Шепелев. — Оружия нет. А мужики, того и гляди, пошаливать бы не начали, не нашли бы себе Стеньку или Емельку... Театр военных действий под Калужскими кленами. Мародеры галльские объявились. Опаска такая в Петербурге — голову вдруг поднимет голь кабацкая...

— Уж не за войском ли ты ко мне?

— Мародеры больно злобствуют. Для острастки бы один-два полка. Стыдно мне. Вижу, светлейший, отступаешь. Самому бы...

— Силенок у нас — лукошко грибов неполное. А не взять ли тебе у атамана Платова казачков?

В тот же день Бугский и Тентярский полки с полторасотней с небольшим казаков отбыли с довольным Шепелевым.

– Ваше высокопревосходительство, а надолго ли мы к вам? – спросил Чеченский.

– Платов страсть как расстроился, – громко, чтобы и казаки слышали и чтоб позлить Шепелева, сказал Темиров, командир Тентярской сотни. – «Это как же так, – сказал Платов, – чтобы моих добрых сынов да в свинопасы? Жареного поросся в грязь ронять? В болоте кряками отсиживаться? С нагайкой на мужика? А кто хранцузов в мелкий табак крошить будет? Не дам!» – кричал он. – «Так Кутузов приказал!» – объясняют ему. – «И светлейшему не дам! Эх, не думал, что Михаил Ларионович обидит!.. Режьте, рвите на куски!» – и так рванул ворот рубашки, что обнажилась волосатая грудь его, а на ней гайтан, из ремня нарезанный, с засаленным мешочком. Поцеловал он его – там, все знали, была земля с родного Дона – и уже спокойно распорядился: «Сполняйте приказ светлейшего. А чтоб сраму от нас не было, пойдут Бугский и Тентярский полки!.. Чести казацкой не уронят!..».

Шепелев был наслышан о буйном нраве прославленного донского атамана, у которого от чрезмерных возлияний уже давно нос стал фиолетовым. Безрассудной отваги, дерзкий, с мужицкой хитрецей, а в военном деле со вспышками гения, затмевавшего таланты маршалов Наполеона, он до самозабвенья любил и берег казачью честь и славу.

– Слава вашего атамана, – сказал Шепелев, – в храбрости отменной. Ума – палата. И людей он под стать себе держит. И вознамерился бы я задержать вас недолго, да разве Платов позволит?

– Не позволит, – повеселел Чеченский. – На то надеемся, тем и живы. Вызволит он нас из глухомаши калужской.

Постой казакам определили в сельце неподалеку от города Юхнова. Староста, молодой еще, в дрему-

чей бороде, с косматыми, свисавшими до усов бровями – впрямь леший! – налил в зеленые стаканы какого-то зверобоя, щей пустых в миску плеснул, галушек горшок поставил, карасей жареных подсунул.

– Пейте, ешьте, служивые. Где ни жить, одному царю служить. Беспокойно живем. Черти в омуте завелись.

– Тихо у вас здесь, – ответил Чеченский.

– В тихой воде омуты глубоки. Хранцузы – саранча чисто. А не слыхали ли вы, господа военные, в лесах наших партизаны объявились? Про меж них называют командиров разных.

– Их так много? – спросил Чеченский.

– Ну, Фома, кажись, калужский. Ермолай Четвертаков еще из солдат. Да по речке Пополте, Рессе до самой Угры гуляет Дементий Бугров из деревни Стрекалово – конюх господ Аргамачевых. А еще объявился Денис. Сдается, не из ваших ли? С казаками да гусарами. Отчаюга, сказывают, каких свет не видывал.

– Может, Давыдов? – с надеждой, не веря, что такое может случиться, спросил Чеченский.

– Денис. А Давыдов ли – не слыхали.

– Староста, а староста, можно ли мне сыскать того Дениса?

– От мужика нынче только молонья и спрячется, а хранцуз – сам на наживку лезет. Денис же – за ним походить нужно. Отправимся, господин офицер?

– Так сразу же?

– Петух заутреню отпел, Денис гуляет по округе, к ночи, глядишь, насест облюбует. Так что нам в путь пора.

– Едем! – загорелся Чеченский. – Темиров, прошу, при казаках моих останешься. Со мной Михайла.

Так и вышло: день за Денисом ходили. То лесом дремучим, где небо с полушку, где бурелом, следы медвежьих когтей на древесной коре, то болотами, с кочками, мочажинниками, на которых сохранялись давние отметины следов стоптанных лаптей: жил староста свежатиной, рыбой, лесной ягодой, то вброд через зеленые речки с глубокими омутами, то деревушкой, затерянной, как скиты отшельников, в глухой лесной стороне.

Встретили Фому калужского, Дементия Бугрова из деревни Стрекалово, Ермолая Четвертакова, встречали мужиков с бабами да ребятами. Дениса не было. Разное о нем сообщали.

– На большаке гуляет. А большак-то до Смоленска и далее.

– Обоз хранцузов полонил.

– Генерала-нехристя споймал, важного, видно, гуся...

Наступил вечер. Сверху задувало. На Чеченского сыпались листья, морось, по лицу хлестали холодные мокрые ветви, под копытами лошадей хлюпало, чавкало. Впереди, за сплошными стволами, затеплился неверный зыбкий свет.

– Сказывал же я, – довольно прогудел в бороду староста, – к ночи угонимся. Слышь, на перекате Ресса шумит?

– Стой! – раздался всполошный голос из темноты. – Кто идет?

– Свои! – ответил староста.

– Пароль! А то вертайся, картузом швырну!

– Не пугай, казак, картузом, – крикнул Чеченский. – Я командир Бугского полка. Ищу подполковника Давыдова.

– Покажься, спознаю! – Из темноты выступил казак, легко поигрывая дротиком. – И вправду – штабс-ротмистр. Пошли...

Зыбкий свет вскоре превратился в ярко пылающие костры. От одного из них живо поднялся Давыдов.

— Александр? Глазам не верю! Дай, душа, обниму! Дров в костер! Адъютант, бочонок с ямайским ромом, телятины, ржаного! Запируем!.. Как меня нашел? Прямоезжей или окольной дорогой добирался? Староста, вот этот Берендей помог? Рому ему! Стакан старосте не годится! Ковш мой серебряный где?

Они долго не спали, забравшись от непогоды в шалаш. Снаружи с моросью срывался снег. В шалаше пахло хвоей, терпкой, прибитой морозцем голубицей, табачным дымом и ямайским ромом. Давыдов рассказывал о многочисленных стычках с французами, часто коротких как вспышка молнии, об удали гусар и казаков из своей партии.

— Был я и на поле Бородина, — вздохнул он. — Нет, не в дни сражения. Наши отходили. Хмурое утро занималось. Душа горела. Все ж родовое наследство Давыдовых. И слышал — ранило Петра Ивановича. Я сразу же на флешу. И, знаешь, кого первым увидел на поле? Помнишь, в Смоленске прощалась с полковником Тучковым жена?

— Маргарита Михайловна?

— Она. Останки мужа своего искала.

— Боже, как она решилась? Я знаю: после Смоленска Кутузов отличил Тучкова генералом. Александр Алексеевич Тучков во главе с Ревельским артиллерийским полком защищал флешу Багратиона. В тяжкий для защитников флешей час подхватил полковое знамя и повел солдат в атаку. Три неприятельских пушечных ядра разорвали его на части. Ты, Денис, конечно же, помог Тучковой.

— Нет. Оробел. Потом понял: душа моя не велела к горю этой женщины прикоснуться. Это было бы

святотатством. Бывает такое горе у человека, с которым он должен побыть наедине. Я узнал о ней все. Из Москвы все Нарышкины уехали в свое костромское поместье.

«С Колючкой здесь останусь, – решительно заявила Маргарита Михайловна, едва добравшись до Кинешмы. – Сюда от Александра быстрее письма придут. Не могу я без них. Без него не могу».

Она часто получала послания. И столько в них ласки, тепла, любви, что и сама разлука с мужем для нее казалась не такой уж и невыносимой.

В черный для нее день письма от Тучкова не было. Она не находила себе места. Глубокой ночью к ней прискакал брат Александра. Голова – в бинтах, правая рука – плетью.

«Мужайся! – Он обессиленно свалился у порога. – Александр погиб. И Николай».

– А третий брат Александра – Павел, – сказал Чеченский, – при защите Смоленска тяжело ранен под Валутиной горой и попал в плен. По слухам, нынче в Кенигсберге. Ты знаешь, сколько генералов пало на поле Бородина?

– Французских сорок семь да наших двадцать два, не считая Петра Ивановича. Жив ли он? Маргарита Михайловна не поверила деверю.

«Он жив! Жив! – исступленно шептали ее губы, и шепот ее был страшнее крика. – Я буду искать! Я найду его!».

Она велела немедленно заложить карету, схватила сына. На рассвете оставила малютку с няней в уцелевшей крестьянской избе деревни Бородино, а сама со случившимся в избе старым монахом Колоцкого монастыря отправилась на поиски останков мужа, продолжая повторять: «Он жив! Жив! Я его найду!..».

Я, мужчина, едва выдерживал то, что видел на поле. А что она должна была испытать, хрупкая

женщина, при виде убитых, громоздившихся холмами? Тучи сыпали ледяную крупу, обряжали все вокруг в белый саван. У Семеновских флешей клубились черные дымы. Там похоронные команды сжигали убитых.

Наступила ночь. Именно тогда я увидел ее... За Утицким лесом у самых флешей выли волки. Монах светил женщине факелом.

Я не выдержал. В деревню направился. Зашел в ту самую избу, где Маргарита Михайловна оставила Коленьку. Лишь к утру она возвратилась, белая как смерть, схватила на руки сына да так и замерла надолго, ни дать, ни взять – Смоленская божья мать.

Чеченский привстал, высунулся из шалаша. Ветер сдувал с угольев пепел, и они будто кровоточили открытыми ранами.

– Я так думаю, Денис, – сказал он наконец. – Смоленскую божью мать греки писали с такой женщины, как Маргарита Михайловна. Разве на Тучкову после всего, что с нею случилось, не помолишься?

– Старик-монах сказал мне, что Маргарита Михайловна, кажется, нашла руку своего мужа. Будто на пальце узнала перстень, давно подаренный ею мужу. С тем перстнем будто и велела предать земле руку ту...

– Зачем французы отняли у нее мужа? Лучше бы меня...

– Или меня. Ради таких женщин только живут и умирают настоящие мужчины.

Прощались на заре.

– Завидую, подполковник, тебе, – сказал Чеченский. – Бьешь неприятеля, а мы под Юхновым. Как в барсучью нору нас сунули. Сабли заржавеют.

– Два полка – не жирно ли для Шепелева?

— А знаешь ли, сколько нас? Полтораста сабель вместе с полком Темирова. Под твое бы начало.

— Неукомплектованные полки? Нет, фельдмаршал все равно не захочет обидеть Шепелева. А что, если все-таки попробовать? У меня мысль...

\* \* \*

Шепелев читал рапорт Дениса Давыдова, в котором тот просил слить его отряд с Бугским и Тентярским казачьими полками и, таким образом, взять под свое, Шепелева, командование. Давыдова подмывало с самого начала написать Шепелеву: «Володей нами». А он написал рапорт по всей форме: мол, укрепим гарнизон Юхнова. Но для этого вовсе не обязательно сидеть под Юхновом. Надо, мол, чтоб не враг нас искал, а мы его искали и били. Шепелев сразу увидел подвох, но сделал вид, что не заметил его, решив: от слияния отряда Давыдова и неполных полков общее дело только выиграет. И уведомил о том главнокомандующего.

\* \* \*

Уже в первом серьезном испытании отряд оправдал надежды генерал-лейтенанта Шепелева. А дело было так. Разведка Давыдова наткнулась на колонну французских драгунов в сопровождении конной артиллерии из трех пушек и обоза. Как потом выяснилось, это был авангард маршала Даву, двигавшегося на Вязьму.

Французы растянулись на версту. Это одновременно и усложняло, и облегчало нападение на них. Преимущество Давыдова — в неожиданности его атаки. Он скрытно подобрался к большаку и обрушил на неприятеля шквал сабель. Французы, однако, ожес-



точно сопротивлялись, развернули даже одну пушку, канонир подносил к затравке пальник, да Михайла отсек ему руку, а тут стаей степных волков подоспели его товарищи и посекли орудийную прислугу...

Почти четыреста убитых неприятелей насчитали партизаны да полтысячи пленных, богатый обоз из сорока румынских каруц. Между ними по-хозяйски сновал Михайла с казаками. Часто слышалось:

– Сухари!

– Зимняя одежда! На целый полк!

– Овес! Заживем!

Большую часть добычи Давыдов отправил для местного ополчения в Юхнов. Туда же – пленных.

В бою были освобождены измученные, в кровавых рубищах русские солдаты и крестьяне, всего около сорока человек. Многие из них сразу же запросились в отряд. Особенно один башкир.

– Господа подполковник, возьми Юлай.

– В лазарет.

– Рана? Это рана? – Он сорвал с груди бинты, обнажил след страшного сабельного удара. – Вот! Рана?.. Зарастал рана!.. Возьми, воевать надо!

– Лазарет!

– Не надо лазарет! Никуда от тебя не иду! Бери!.. Помирать меня захотел?

– Ладно, Юлай, – сдался Давыдов. – Вот к штабс-ротмистру Чеченскому иди. Лекарь, перевяжи Юлая – страшно смотреть. А теперь, братцы, к Гжатску!..

В первой же схватке с неприятелем Юлай всех удивил. На мухортой лошадке, отбитой у французов, куцехвостой, малорослой, но скрученной из мускулов, юркой, как полевая ласка, он здоровой рукой размахивал арканом. Мухортая, послушная шенкелям, то свечечкой взовется, то по земле расстелет-

ся, то стрелой прыснет, то вкопанной застынет. А Юлай тем временем неприятеля из седла, как редьку из грядки, арканом вырвет, оземь грянет. Шестерых французов за короткий бой обезлошадил.

Александр Чеченский на бивуаке к Юлаю:

– Научи.

– Не умеешь? – спросил Юлай. – Малушка башкир бурундук аркан берет.

– Ловко ты французов.

– Хранц пеньком седло запортил. Я мал-мал дергай. Сохатый пробуй на аркане – трудно. Я беру. Научу тебе...

Овладеть арканом для Чеченского оказалось сложнее, чем в свое время рубкой лозы в Кизляре. В партизанских буднях отряду редко выпадал бивуак. Юлай учил на ходу, в боевой схватке. И как поразился, когда Чеченскому удалось заарканить француза. А вот превзойти Юлая в искусстве владеть арканом Чеченский, да и никто в отряде, так и не смог.

## МОСКВА СПАЛЕННАЯ

Гору Поклонную, похожую на голову гиганта, всю в пожухлых, поседевших космах травы, облепили ликующие французы. И далеко окрест было их много. Над колоннами дивизий колыхались синие знамена – армия выстраивалась для парада. Сверкала медь пушек. Гремели барабаны. Играли серебряные трубы гвардейских оркестров. В этом общем праздничном бедламе не смолкали клики радости, хлопали пробки, вино искрилось в стаканах.

– Сердце России в моих руках, – шевельнулись губы Наполеона.

Маршал Коленкур, при звездах, крестах, в парадном мундире, как, впрочем, и все окружение импе-

ратора, торопливо, страшась не успеть, пропустить что-то, записывал каждое слово своего кумира.

Коленкуру эти слова были знакомы. Еще в Ковно, перед тем, как французской армии хлынуть через Неман, он в свой гротеск записал «историческую» фразу Наполеона:

– Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце.

С Поклонной открывался сказочный, весь в садах и рощах город, необозримый, прекрасный, манящий к себе, как мираж в пустыне. Без признаков жизни. Дома-изваяния голубеют в дымке, не бьют в набат все сорок сороков<sup>1</sup>, тусклым золотом поблескивают их купола.

Дорога с последней московской заставы в город пустынна. Но вот на ней что-то показалось. На Поклонной замерли. У маршала Мюрата вырвалось:

– Наконец-то! – Он вскинул подзорную трубу и разочарованно протянул: – Кляча... Еле движется. Упала.

– Майора де Русско ко мне! – потребовал Наполеон, и когда тот вытянулся перед ним, сказал: – Полковник... Я возвращаю вам чин... Вам Москва знакома. Возьмите отряд. Объясните там, что я ожидаю делегацию. Поторапливайтесь.

Минул час-другой. На Поклонной меркла радость ожидания. Весь генералитет императора стоял неподвижно, словно каменел под пронизывающим ветром. Октябрьским. Колючим. Лишь Наполеон нетерпеливо расхаживал, и полы его шинели хлопали, как паруса утлой неуправляемой лодочки под свирепы-

---

<sup>1</sup> В Москве насчитывалось «сорок сороков» церквей (40 x 40 = 1600).

ми порывами урагана. До слуха Коленкура доносились бормотанье:

– Русские... Победа... Кто?.. Дьявол!.. Лис!

Коленкуру можно было догадываться только, что Наполеон в ярости от того, что не так все пошло уже с Немана, что он, приводивший в священный трепет всю Европу, с первого же дня, как ступил на русскую землю, чувствует, что не он, как это было всегда, управляет событиями.

Вот она, у ног его, Москва, сердце России! Но победа ли это? Интуиция полководца, до сих пор упивавшегося только победами, подсказывала ему: непосильный груз он взвалил на свои плечи. И ему страстно, как спасения от позора и гибели, захотелось немедленного мира, все равно какого, лишь бы унести подобру-поздорову ноги из этой проклятой России. Он посмотрел на своих прославленных полководцев, уже уверенных, что все тяготы войны позади, на колонны, уже готовые к параду в честь желанной победы, и подумал: «А ведь никто из них не догадывается, что старый лис Кутузов неспроста без боя оставил Москву. Как он всегда все неспроста делает».

– Ваше императорское высочество! – вывел его из раздумья полковник де Русско. – Москва пуста.

– Этого и следовало ожидать, – вырвалось у Наполеона. Он еле сдержался, чтобы не сказать: «Война продолжается». – В Москву!..

\* \* \*

Император поселился в Кремле. Здесь же, в здании Сената, расквартировывалась конница маршала Мюрата, в которой был полк де Русско. Солдаты с обнаженными мечами рыскали по палатам, из архивных фолиантов устраивали себе постели, а большую

часть из них выбрасывали в окна. На сенатском дворе ими растопляли костры.

Лишь к вечеру маркиз де Русско вырвался со своим адъютантом из Кремля, чтобы попасть в приход Георгия Победоносца, что на Всполье. Почти сразу же обнаружилось: Москва обитаема. Жителей, правда, осталось очень мало, в основном ремесленники с Китай-города, крепостные, охранявшие добро своих бар, укативших подальше от войны. Главными, безраздельными хозяевами Москвы считали себя французы, пьяные, одуревшие от призрачной победы.

Они были всюду, горланили, что-то волокли. На встречу де Русско попался еле державшийся на ногах драгун в преогромной горностаевой шубе. Кирасир, освободившийся от лат и тяжелой амуниции, нес на плечах, как ружья, высокие серебряные канделябры, закапанные салом. Прямо на деревянной мостовой горел огромный костер. Здесь солдаты на вертеле поджаривали подсвинка.

– Жги!.. Жги!.. – услышал маркиз де Русско и увидел, как его соотечественники выхватывали из костра головешки и зашвыривали в соседние дома. Кто-то невидимый выбрасывал их обратно из окна.

Откуда-то посыпались стекла. Из распахнутого окна повалил дым. В нем мелькнули распростертые обнаженные руки человека, и раздался ужасный женский вопль:

– Горим! Горим! Ратуйте, люди добрые!

Маркиз де Русско рванулся было на крик, но толпа разгулявшихся солдат оттеснила его. Ни зычный голос полковника, ни его сабля, ни старания его адъютанта – ничто не могло остановить солдат: к ним пришел день, когда они стали неуправляемыми. Это был какой-то массовый психоз. И он нарастал с ураганной силой.

Маркиз де Русско не заметил, как очутился у дома на Всполье. Здесь солдаты стреляли по окнам московского владения действительного статского советника Зоринова.

– Что вы делаете? – рванулся к ним маркиз, но крик его был гласом вопиющего в пустыне.

Из кладовых тянули окорока, битую птицу. На мостовую вылетело лукошко с яйцами. Они катились, разбивались, и желтки на бревнах мостовой, под ногами толпы, дрожали, как вырванные глаза. За лукошком полетели мешки. Они лопались – и поднимались столбы мучной пыли. Из погребов выкатывали бочки с соленьями. Солдаты загребали янтарные огурцы, ведрами расхватывали маринованные грибы... Под ногами маркиза растеклась лужа подсолнечного масла. Вот она жарко вспыхнула и огненным ручьем устремилась к дому. А из его окон уже валил густой черный дым, и языки пламени, как синие полковые стяги французов, опоясывали дом Зоринова, перебирались на соседние.

За всем этим заколдованно молча, с превеликим удивлением наблюдали жители Москвы, теснившиеся на деревянных тротуарах. На лицах москвитян было написано: «Да нечто люди способны на такое? Светопреставление! Сказано – нехристи!».

Шум, треск пожара, немолчный пьяный рев, грохот выстрелов смешались. На середину мостовой гренадеры прикладами ружей, штыками вытолкнули несколько бородатых мужиков, двух женщин средних лет, подростка – все в саже, в разорванной одежде в подпалинах. На голой груди одного мужика маркиз разглядел кипарисовый крестик.

В этой далеко не живописной группе выделялся старик в атласном шлафроке, в измятом французском колпаке с дурацкими ленточками. Лицо стари-

ка было красным от ожогов, борода обгорела, торчала обрубком вконец истертого голика.

– Поджигатели! Поджигатели! – кричали гренандеры, сбивая в кучу захваченных жителей.

– Чего, нехристь, лопочешь? – могучая баба так дернула за приклад, что гренандер свалился в горящее масло, дурным голосом завопил, откатился в сторону. Там сбили с него огонь. – Нехристь! – не унималась баба. – За чего это он меня прикладом? Я тебе покажу!

Старик с обгоревшей бородой что-то сказал ей.

– Я поджигала? – закричала баба. – Брешет нехристь! Видела я: он сам, паршивец, запалил!.. Сам! И вот тот тоже головешки метал, как щука икру.

– В чем дело? – маркиз остановил сержанта.

– Поджигателей поймали! Хотим примерно наказать в назидание другим. Что прикажете делать?

Всего минуту колебался маркиз де Русско. Оправдать обвиненных – значит обвинить в поджоге французов. Исключено!

– Не мучайте их! Расстрелять!

Несчастных оттеснили к стенке пылающего дома. Сержант подал команду – затрещали беспорядочные выстрелы. Полковник отвернулся, собираясь уйти, и тут услышал звенящий голос кого-то из русских:

– Маркиз! Будьте любезны, маркиз де Русско, дайте проститься!

Полковник обернулся – из кучи расстрелянных приподнялся старик в колпаке с дурацкими лентами. Кровь струилась по обрубку бороды.

– Зачем?.. Зачем пришел?.. Россию съесть? А этого не хотел? – старик показал кукиш. – Не сгуби дочь мою! И будь проклят!

Страшная догадка полоснула маркиза. Он бросился к старику, приподнял его голову. На маркиза смот-

рели стекленеющие глаза действительного статского советника – отца Софьи.

Де Русско и не подозревал, что в толпе на тротуаре был лазутчик неприятеля, который, помимо родного русского, владел польским, французским, немецким, итальянским языками. Вместе с несколькими казаками он, переодетый в крестьянина, пробрался в Москву по личному поручению Кутузова. Уже на другой день создал вооруженную команду, которая совершала дерзкие нападения на французов и собирала разведывательные данные. Вскоре сам император Франции за голову этого лазутчика назначил большую награду.

...Две трети Москвы стали добычей пожара, вызванного солдатами Наполеона. Шесть дней и ночей праздновали свою «победу» французы, не подозревая, что сами над собой тризну справляют.

Неведомо было Наполеону, какую участь уготовил ему и его армии Голенищев-Кутузов. Спасаясь от пожара, император перебрался в Петровский дворец. Среди ночи схватывался:

– Где Кутузов?

Маршалы его не могли ответить на этот вопрос. Кутузова искали на Рязанской дороге, где, по всем данным, он должен был находиться, а он был под Калугой, в селе Тарутино, по правилам заправского егеря обкладывал Наполеона со всех сторон.

А ему всячески старались помешать в этом, более всех – царь Александр I. Вкупе с ним выступал начальник штаба русской армии, генерал от кавалерии барон Беннигсон и... британский королевский комиссар при русской армии сэр Роберт Томас Вильсон.

Беннигсон, непомерно длинный и честолюбивый, сутулый настолько, что, казалось, за спиной у него



болтается солдатский ранец, называл Наполеона бездарным, считал, что лавры в этой войне должны принадлежать по справедливости не Кутузову и тем более не Александру I, а ему — Беннигсону, которого слепое русское общество не видит, не ценит.

Королевский комиссар видел в Кутузове личность одаренную, сильную и потому особенно опасную для интересов Англии в этой войне. Облеченный правом писать из ставки Кутузова самому царю Александру I «обо всем заслуживающем внимания», комиссар исполнял это с добросовестностью клерка с Сити, страшась до смертных судорог не угодить хозяину. В доносах Александру I он без устали чернил Кутузова и внушал царю, что единственным стоящим главнокомандующим русской армии достоин быть только Беннигсон. Своему же послу в России Каткарту сообщал, что с помощью бездарного Беннигсона русская армия будет таскать каштаны из огня этой войны для Англии, ослабит французскую и сама перестанет существовать.

\* \* \*

В первые же дни своего московского «сидения» французы начали испытывать голод, нехватку боеприпасов, фуража. Бесследно пропадали обозы, с великим трудом доставляемые из Франции и русских деревень. Исчезали курьеры, поддерживавшие связь с Францией. В Москву все чаще бежали солдаты разбитых гарнизонов Смоленщины. Они жаловались на крестьян, подстерегавших их повсюду с дубьем, вилами, засапожными ножами. Ужас на французов наводили по глубоким и близким тылам казаки, кавалерия русских. Назывались имена партизанских командиров Фигнера, Сеславина, Ермолая Четвертова, Василисы Кожиной.

– О, эти русские партизаны! – докладывал Наполеону маркиз де Русско. – Они гораздо сильнее испанских гверильясов, хотя они хуже вооружены.

Особенно досаждал Денис Давыдов.

– Поймать и расстрелять Давыдова! – снарядил Жерара маршал Бертье – начальник главного штаба французских войск.

Жерар ни в грош не ставил партизан. На третьи сутки после бесплодных поисков Давыдова он расположил свои крупные силы на ночь в двух деревнях. Крестьяне – глаза и уши Давыдова – к Давыдову.

...Был конец октября, а ноябрило. Партизаны шли на рысях легко. Под копытами лошадей шуршала опавшая листва. Поле перед деревней, занятой грендерами Жерара, стелилось почерневшим жнивьем под сумеречным светом примороженных звезд.

Часовых казаки сняли бесшумно. Гусары Жерара, захваченные врасплох, сопротивлялись насмерть, грудью, но свыше трехсот в плен пошли.

Теперь нужно было напасть на вторую деревню. Бугчане и тентярцы без выстрела, без свиста и гика, всегда леденивших кровь в жилах врага, неслись к деревне. Наверное, Жерара предупредили. Околица высветилась огнем ружей, потом – саблями.

Казаков это не остановило, они врубались в боевые порядки неприятеля. Началась жестокая сеча. Юлай врезался в гуцу осажденных. Его мухортая поднималась на дыбы, делала немислимо большие прыжки, кружилась волчком, и сабля Юлая мелькала сорванным с небес полумесяцем. Башкира окружали.

– За Смоленск! – взмахивал Юлай саблей, и снова взмах: – За Москва! Не бери мене плен!.. За товарищ!..

– Держись, Юлай! – крикнул Чеченский. – Иду на помощь!

Мухортая неожиданно рухнула. Над ней скрестились сабли.

Чеченский успел подхватить Юлая и, отбиваясь правой, попятился. Тут подоспел Денис Давыдов. Полк французов перестал существовать. Сам Жерар лежал на околице с раскроенным черепом.

Хоронили Юлая с боевыми почестями у Смоленской дороги. Под залпы ружей опустили в могилу, шапками землю носили, пока не насыпали большой холм, безымянный, как и все могилы партизан Давыдова.

— Добрым казаком был Юлай, — сказал Михайла, высыпая последнюю шапку земли. — Все мечтал в Башкирию свою возвратиться. Там у него зазнобушка. Иссохнет, ожидаючи...

## ОТСТУПЛЕНИЕ

На прибрежных ветлах реки Чернишни севернее Тарутина, над ближними и дальними рощами, вдоль Калужского тракта, над лесами и весями до Смоленска каркали вороны. Этой глубокой осенью их было особенно много. Уже и снег мельтешил, и морозы начали по ночам прижимать, и птицам голодно становилось. Они почти все, кроме воробьев да снегирей, улетели на юг.

Пора бы и воронам к югу или к человеческому жилью, а они здесь грай поднимали. Раньше дождь граем предсказывали, теперь — бой.

...Два дня по французским заставам маршала Мюрата ходил польский офицер с юным трубачом, а вечером в те же дни он, уже в форме артиллерийского капитана появлялся перед главнокомандующим русской армии. В последний свой приход «польский офицер» — то был Фигнер — доставил Кутузову пакет со шпионским донесением о предстоящей баталии

русских под Тарутиным. Пакет предназначался маршалу Нею.

— Бог мой! — воскликнул Кутузов. — По-английски лазутчик вязь вел. Кто змий тот, что к Нею полз? Отошлем царю. А баталию немедля начать!

В этот же вечер Фигнер дрался с французами на речке Чернишне.

И в этот же роковой для Франции день, шестого октября, Наполеон, не выдержав тридцатидевятидневного сидения в осажденной Москве, начал отступление. Весть об этом в лагерь Дениса Давыдова привез Четвертаков.

По этому случаю Давыдов перед партизанами, построенными по сигналу боевой трубы, произнес короткую речь:

— Слава Кутузову! Слава солдату! Слава народу! Побьем, братцы, Бонапартия! К оружию!

Словно молнии зажглись над всадниками, и будто гром расколочил небо, так, что земля дрогнула, когда партизаны ответили:

— Слава! Слава! Слава! Ур-ра!

...А сам Кутузов снова писал «милому другу» — жене своей:

«Должно утешить меня то, что я, первый генерал, перед которым Бонапарте так бежит».

Покончив с семейными делами, он созвал совет и коротко сообщил новую диспозицию:

— Думаю, нанести Наполеону величайший вред параллельным преследованием и действовать на его операционном пути. Пусть этот стратиг побегаёт с фитилем вокруг пороховой бочки...

\* \* \*

— Ваше сиятельство, рапорт Давыдова. — Дежурный генерал положил на походный стол Кутузова пакет.

– Вскрой, братец. Чем Денис сегодня порадует нас? Пленные... Пропать пленных. Ого, обозы со снарядами... Провиант. Две пушки. Товарищи у него – не лыком шиты. Храповицкий, Темиров. И вот уже в который раз Давыдов не нахвалится Александром Чеченским. Случаем, братец, не слышал о Чеченском?

– Слышал, ваше сиятельство. Генерал Раевский на Кавказе сироту-мальчика взял в свою семью. Воспитал.

– Отменный генерал. Люблю молодца. Храбр, умен. Оттого и добр безмерно, – пожевал вкусно крупными губами и уточнил: – К людям добр. А то ко благу отечества нашего. В том смысл жития человеческого. – Снова пожевал губами и спросил: – А штабс-ротмистр какого будет племени-роду? Я чай, чеченец?

– Так точно, ваше сиятельство.

– Не ошибся я, – сказал Кутузов. – Ведомо мне: мал числом народ, а храбрецами большими славится.

– Тому в России, осмелюсь доложить, ваше сиятельство, достойный пример был еще в позапрошлом веке.

– Любопытствую.

– Чужеземцы, как и нынче, только тогда – шляхтичи, Москву полонили. Сперва прикрывались Гришкой Отрепьевым да Тушинским вором, а как те усопли, сами Москву за себя, шляхтичей, посватали. Потакали им князя русские, атаман Заруцкий с Дона.

– Время смутное, худое время, – пожевал губами Кутузов. – Воеводу Зарайского, князя Суздальского Пожарского посадские люди за то, что он не признал Тушинского вора, хотели убить. За крепостной стеной отсиделся князь.

– Истинно так, ваше сиятельство. На ту пору русские встали против чужеземцев. Все пошло с Нижнего Новгорода. В церкви святого Спаса читали грамоту Амвросия Палицына и троице-сергиевского архимандрита: анафему шляхте. В доме князя Черкасского Дмитрия Мамстрюковича нижегородская дума совет держала. Минина слово было: «Если нам похотеть помочь Московскому государству, не пожалеем живота...». Черкасский сказал: «России-матушки изменщик и злодей тот, кто не похочет этого. Князя Пожарского позовем себе». Всем миром, как и нынче, поднимались русские люди, татаровья с мордвой, да чуваша с мари и удмуртами. Стрелецкие посады встали, казаки сабли точили.

– Не замай народ, чужеземец: головы не сносишь, – качнулся Кутузов за столом. – Мужик российский, он за оралом силен, а перед чужеземцем, не мир несущим, а меч – и силен, и грозен.

– Дмитрий Мамстрюкович стал товарищем князю Пожарскому, соратником верным и полезным зело. Углич очистил от неприятеля, Дорогобуж, Белую, Калугу тож.

– В наших местах, значит, воевал.

– Да. А когда ополченцы чужеземцев изгнали и вступили в Кремль, по правую руку от Пожарского ехал Черкасский, по левую Минин.

– Боевые побратимы. Не из татар ли Мамстрюкович?

– Из татар, а по точности – из чеченцев, ваше сиятельство. Заслугами ратными в истории отмечен. На Яике атамана Заруцкого с его любовницей словил, то бишь с Мариной Мнишек, коя постель делила с Гришкой Отрепьевым да Тушинским вором. В Москве Заруцкого на кол посадили...

– Эх, братец, в какие дебри истории мы с тобой забрались. Но в том и добро: крепка, нерасторжима связь времен. Значит, Дмитрий Мамстрюкович – чеченец<sup>1</sup>. А не худо бы нам повидать нашего Александра Чеченского. Вот что, братец, отпишем-ка мы царю-батюшке, мол, в тыл французов засылаем людей. Пусть, как Денис Давыдов да Александр Чеченский, да Фигнер, да Сеславин со братьями, общипывают галльского петуха.

– Партизанские отряды?

– Упаси бог, братец, упоминать в реляции слово «партизан». Царь-батюшка не любит сего термина, опасением хворает: вдруг партизан не туда повернет! Пиши: армейские части...

## НА ЗАПАД

После ожесточенной битвы под Малоярославцем Наполеон приказал дать ему флакон с цианистым калием на тот случай, если он попадет в плен. Он тщетно пробивался на Калужскую дорогу. Воспользовавшись временным затишьем, Денис Давыдов и Чеченский заглянули к соседствовавшему Николаю Николаевичу Раевскому. Генерал встретил их радушно, поговорил с ними допоздна и весьма откровенно, как некогда в приезд Чеченского и Ржевского в Каменку.

– В угол загнали француза, – сказал Чеченский.

– Тяжела рука для недруга у Михаила Илларионовича, – ответил Раевский. – Оттого и в углу француз. Крепко держится на ногах наш фельдмаршал,

---

<sup>1</sup> М.Н. Загоскин в романе «Юрий Милославский» и известнейший историк М.С. Соловьев утверждают: Д.М. Черкасский – чеченец.

хоть одесную и опую на него налетают гарпии жадные.

– Неужто есть такие, крестный?

– Где господь пшеницу сеет, там черт – плевелы. Грех сетовать на людей, а приходится. Расскажу вам, что у нас на военном совете вышло после Малоярославца. Михаил Илларионович сказал: «Неприятель слева может нас обойти. Приказываю: отходить к селу Детчину». Тут один генерал вскочил:

«Отступать! Опять отступать! Под пушками неприятеля! Позади нас овраги, плохие мосты, размытая дождями местность». Михаил Илларионович тяжело засопел, что было признаком страшного гнева его, но голоса не повысил: «Я потому и меняю позицию, что у меня в тылу овраги и мосты плохие. Ни о каком отступлении не может быть и речи». «Однако согласитесь, – снасмешничал нахал-генерал, – что таким образом любое передвижение армии можно объявить победой. Желал бы я иметь здесь тысяч пять англичан... Я говорю это, как верный, преданный друг России. Поверьте...» Надо было видеть, друзья, Кутузова и нас, генералов, готовых фухтелями отделать дерзкого. Кутузов, сидя на деревянной скамейке, чуть наклонился, будто изготавился сделать прыжок. «Я не думаю, – резко сказал, – чтобы нам следовало жертвовать армиями для того, чтобы наследство Бонапартия досталось той державе, которая господствует на морях и преобладание которой сделается тогда невыносимым!.. Я такого удовольствия ни вам, сэр, ни Англии не доставлю!»

– Да кто же дерзнул против Михаила Илларионовича? – чуть ли не одновременно вскочили Чеченский и Давыдов.

– Британский королевский комиссар при русской армии генерал Роберт Томас Вильсон. Существо, по-



моему, без чести, совести. Вы думаете он смутился? Смешался? Провалился сквозь землю? Ничуть не бывало. Он только развел руками: мол, что он, Вильсон, здесь интересы России защищает, а вот Кутузов его не понимает.

– Гнать его из России, – сказал Чеченский.

– У него крепкая заступа – наш царь. После военного совета Вильсон всю ночь строчил. Он да еще Беннигсон. Два сапога пара. Каждый день все строчат и строчат. И оба – царю. Вильсон более голоса на советах не подает: опасается тяжелой длани Кутузова.

– Но что можно сказать дурного о нашем главнокомандующем?

– А все, Саша: что русским следует непрерывно атаковать французов, колоть, из пушек палить и под пушки лезть, что этого Кутузов не делает. Великобритания, уверяет Вильсон, уже давно справилась бы с Наполеоном.

– Она нам чем-нибудь помогает? Как наш союзник?

– Весьма. Шлет он случая к случаю поздравления с победой, восхищается героизмом русских солдат, приветствует военные кампании, гнилье товаром называет и по баснословным ценам нам сбывает, обещает оказать нам военную помощь. Королевскому комиссару неведомо, что до Кутузова доходят его пасквильи.

– Наглец! – закипел Чеченский.

– Пророчит, что Кутузов, как он ни стар и дряхл, заслужит, в конце концов быть расстрелянным... Ну и прочую гнусность.

– Подлец! – сжал эфес сабли Денис Давыдов.

\* \* \*

К селению Красное днем и ночью, через пепел Смоленщины, продвигалось войско Бонапарта, готовое принять бой на марше. Впереди воины – все, как на подбор – рослые, может быть, за счет высоких шапок из медвежьих шкур, не меньшей, чем шапки, высоты султанами над ними, в синих мундирах, с белыми, как мальтийские кресты, ремнями, с красивыми погонями – знаками принадлежности солдат к императорской гвардии. Они были похожи на раскрашенных, увеличенных до размеров человека оловянных солдатиков. Под свист флейт, резкие сигналы труб, в громыхании пушечных колес, под выкрики команд они, упрямые, двигались и двигались, как заводные, не сбавляя шага.

Первыми под Красным на них наскочили партизаны Давыдова и... горохом от стенки отлетели: не пробиться!

– Эх, пушечки бы! – скрипнул зубами от бессилия Давыдов. – Что же делать? А ну-ка, Александр, – обратился к Чеченскому. – Мост этот разрушить, – развернул карту. – Здесь завалы твори. Я к Михаилу Илларионовичу. Прижмем хвост гвардии!

Подошли французы к водной преграде – кое-где лишь, как гнилые зубы, опоры моста. На другом берегу казаки саблями приветствуют. Взбешенный Бонапарт велел по ним из пушек стрелять. А это все равно, что по воробьям: казаки саблями попрощались – и в лес.

Пока саперы Наполеона новый мост наводили, подospel Кутузов. Не хотелось Наполеону боя – пришлось ввязаться. С дуэли пушек началось. Потом казаки Платова, гусары, кирасиры налетели на французов. Те бешено отбивались. Пока саперы переправу заканчивали, бежал Бонапарт в карете походной,

установленной на русских пошевнях. Бежал прытко, далеко. Кутузов по тому поводу обмолвился:

– Теперь фарса французская: Бонапарте проехал около Вильны тайно под именем Коленкура.

Далее след пошевней, увозивших Наполеона, в степи затерялся.

Давыдов крестьянина встретил.

– Откуда, борода?

– Мы? Из Красного.

– Неприятеля встречал?

– Кого? Неприятеля?.. Не. А франца видал – вот как тебя. Отдыхает. Коней, прости господи, варят. Ворон потрошат. Небось, лопать собираются, – крестьянин брезгливо отплюнулся.

– А какие они – те французы? – спросил Чеченский.

– Обнаковенные нехристи. А по-нашему сказать ничего не могут: лопочут, что полоумные. В шапках – ни дать, ни взять – копешками бурой соломы, лошадиные хвосты на маковке.

– Может, те, за кем гоняемся, – предположил Давыдов, отрядил разведку и казака с письмом к Сеславину послал.

Разведка, кою водил Мотылев, давась смехом, рассказывала, как подобралась к аванпостам французов, как наблюдали за гвардейцем, с жадностью рвавшим зубами, видно, недоваренное мясо. Как вдруг схватился за живот и, спуская на ходу брюки, припустил к леску. Тут его казаки, как перепела, и накрыли.

– Что же с перепелом не споро возвращались? – спросил Давыдов, улыбаясь.

– Животом, видно, хрэнцуз страдает. Безостановочно. Ну и того, срамно говорить, – ответил Михайла.

От пленного узнали, что настигли гвардейцев генерала Алмариса.

Партизаны Давыдова, объединившись с партией Сеславина, с двух сторон внезапно напали на лагерь гвардейцев. Лишь немногие из них успели схватиться за оружие. Вокруг генерала Алмариса выросла роца копий.

– Сдавайтесь, генерал! – крикнул Чеченский, прорубая с казаками дорогу к нему.

Редели ряды гренадеров. Шляпа генерала маячила перед глазами Чеченского. Вот-вот она развалится, как воронье гнездо от вдруг налетевшей бури.

...Алмарис на вытянутых руках, картинно, как этому научили их делать на русских полях, протянул Чеченскому свою саблю. Его гренадеры складывали оружие.

\* \* \*

На Мстиславской дороге партизаны Давыдова наконец-то после долгой разлуки соединились с главными силами русских, освободившись от пленных и трофейных обозов.

Здесь, в избе крестьянина, произошла встреча Дениса Давыдова с Фигнером, за голову которого Наполеон обещал крупную награду. Фигнер только что вместе с Сеславиным отбил у французов большой обоз с драгоценностями, вывезенными из ограбленной Москвы.

– Спалили Москву, – рассказывал Фигнер. – На Всполье своими глазами видел, как французы поджигали, а потом тут же расстреляли русских «поджигателей». Полковник французской армии там был. Фамилию его прокричал умиравший после расстрела старик. Полковник тот – некто маркиз де Русско.

Так Чеченский услышал о смерти действительно-го статского советника Зоринова.

Вот чем, значит, маркиз де Русско отплатил за гостеприимство, оказанное ему в России, в доме Зориновых, Софьи! Конечно же, предположил Чеченский, дай старик сразу себя узнать маркизу, роковых выстрелов не прозвучало бы. Но Зоринов, видно, почел для себя унижительным просить пощады, как не просили ее невинные простолюдины Москвы. А там кто знает, как бы де Русско поступил, узнай старика до расстрела.

Чеченский не дал никому понять, что рассказ Фигнера прямо касается его, взволнованного не столько поведением маркиза (для такого врага России оно и не могло быть другим!), сколько мыслью о том, как судьба жестоко обошлась с Софьей. Для нее Чеченский сохранял в своем сердце заветный уголок. И ничем нельзя было исторгнуть из этого уголка воспоминаний о встречах с нею в Каменке, лу́нный вечер на Тясминe, ковшик, которым он вылавливал из проруби звезду, радость свидания в Петербурге, последнее расставанье...

— Что с тобою, Александр? — толкнул его в бок Давыдов. — В третий раз призываю тебя: «Осушим бокалы!» — не отвечаешь. О чем задумался, гусар? О жизни? О смерти? Если суждено нам погибнуть, то пусть помрем под вольными знаменами родины, хотя бы и развевались они за спинами безбожного врага! Это я говорил Петру Ивановичу Багратиону, когда отпрашивался в тыл французов. Прочь печаль! И да здравствует Кутузов, наш отец, наш бог! Ого, к нам гость! Вина ему!

На пороге молодой корнет бросил руку для приветствия под кивер.

– Ваше высокоблагородие, не пью. Вас вызывает главнокомандующий. Мне приказано вас проводить к нему.

– За это, корнет, – засветился Давыдов, – поднимай бокал вместе с нами. Если не выпьешь, не будет тебе прощения от господ бога на том и на этом свете. Пей!.. Вот так. За радость великую, что принес мне, еще бокал тебе!

– Ваше высокоблагородие, опьянею! Как же проведу вас до светлейшего? – еле отдышался корнет от первого бокала, затем все-таки выпил и, осмелев, снова бросил руку к киверу: – Светлейший приказал мне разыскать с вашей помощью к нему штабс-капитана артиллерии Фигнера и командира Бугского казачьего полка Чеченского.

– А вот за это, корнет, тебе полагается третий бокал! Пошел! Первый бокал – колом, второй – соколом, третий – легкой пташечкой. Корнет, а как же главнокомандующий узнал, что мы здесь?

– О, – засмеялся опьяневший корнет, – на то он и Куту-узов, чтобы все знать.

– Ты прав, корнет. Только я и мог задать глупый вопрос. Но как в таком виде появимся перед главнокомандующим? Какой ты к черту штабс-капитан Фигнер, если на тебе замызганный, как у цыгана, полушубок? А ты, штабс-ротмистр Чеченский? Где ты добыл эту белую шинель французского кирасира? Ну а я? Да Михаил Илларионович на порог не пустит меня, скажет: какой-то разбойник с большой дороги.

– Не скажет, – корнет растянул рот в улыбке, только сейчас поняв, в какую компанию знаменитостей он попал. – Не скажет. Светлейший любит вас всех! Не как других. – И, осмелев от выпитого, сообщил: – Третьего дня Михаил Илларионович в главной квартире гневаться изволил: пакостит кто-то.

Петербург пропозицией укорил: поменьше награждений. Фельдмаршал осердился: «Попрекают, зачем, мол, капитанам бриллианты, кресты? И Красное нам припомнили. Да осыпь я не только офицеров – каждого солдата алмазами, все будет мало!» Вот как он гневается на Петербург и как любит солдата!

– Коли так, – а это так! – поехали! – поднялся Давыдов.

У крестьянской избы толпились офицеры, генералы. Прибывали и отбывали конные и пешие. Корнет пробился в избу.

– Светлейший велел, – сразу же возвратился...

В жарко натопленной избе из-за дубового стола, накрытого выбеленной холстиной, вышел Кутузов. На плечах внакидку широкий легкий мундир без эполет и всяких отличий. Ворот белой нательной рубахи расстегнут, видна бугристая грудь. Седые волосы на крупной львиной голове торчат пучками. Здоровый глаз под кустистой бровью светится.

Александр Чеченский уж потом заметил на почти-тельном расстоянии от главнокомандующего группу офицеров и генералов. Они сгрудились около русской печи, занимавшей пол-избы. С печи свешивалась белобрысая давно не стриженная голова мальчонки. Он смотрел на все и всех с величайшим любопытством.

– А ну-ка подойди, – позвал Кутузов Давыдова. – Дай поглядеть на тебя. Я хоть лично не знаком с тобой, но прежде знакомства хочу поблагодарить за удаль молодецкую твою, за службу. Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю. Дай же обниму тебя. – Кутузов облапил подполковника и трижды облобызал. – Дай, братец, и тебя обнять, Фигнер, и тебя, молодой штабс-рот-мистр.





Чеченский почувствовал на своих плечах тепло и крепость рук главнокомандующего и непроизвольно, как к родному отцу, сам прильнул к нему.

— Ну вот и хорошо. — Кутузов на шаг отступил. — Вот и повидались. Господа офицеры и генералы, — повернулся он к военным, — позвольте представить вам подполковника Дениса Давыдова, штабс-капитана Фигнера и штабс-ротмистра Чеченского. От лица службы спасибо им, орлам российским.

Среди военных пронесся легкий гул одобрения.

— А чего это ты, подполковник, жмешься да все за Фигнера прячешься?

— Да я... — смешался Давыдов. — Больно уж вид у нас...

— А, — улыбнулся Кутузов. — Да в таком виде... А куда мне с моим видом?.. Жаловался дед, что худо одет. Только сейчас не до разносолов: не на параде. Простоволос ли, кивер ли, шапка — лишь бы врага брал в охалку. Нам не чеченя какой-нибудь потребен, а ратник. Крестьяне идут с вами? К вам?

— Еще как, ваше сиятельство. Приказа нет, а принимаем.

— Что ж в реляциях не отмечаешь того? — хитро прищурился Кутузов.

— Да я...

— И не надо. А принимай. Хоть с дубиной придет и без оной. А насчет приказов и начальства — не всякое лыко в строку. Не я — сердце крестьянское приказывает выходить на заставы богатырские. Ну, а ты, штабс-ротмистр, — неожиданно обратился Кутузов к Чеченскому, — по-черкесски можешь?

— Почти забыл, ваше сиятельство.

— Слышал, слышал: мал был. Крестный твой — вон он. Наслышан многожды о твоих делах, юноша. Хвалю. И спасибо тебе, Николай Николаевич, за крест-

ника твоего. Не слышишь? Что-то рано туг на ухо стал. Спасибо за крестника, говорю.

Только сейчас Чеченский заметил Раевского.

— Ну а с тобой, братец, — повернулся Кутузов к Фигнеру, — мы еще встретимся. Дело у меня к тебе. Еще раз спасибо от лица армии нашей за верную службу. Не перевелись, слава богу, и не переведутся в России чудо-богатыри. — И Кутузов тепло попрощался с тремя друзьями.

Раевский вышел вместе с Чеченским, отвел в сторону.

— Печальная новость у меня, Саша, беда пришла в наш дом неожиданно-негаданно: Митричу под Тарутино руку оторвало снарядом. В Каменку отправил я беднягу.

Эта весть оглушила Чеченского надолго. Он не помнил, как попрощался с Раевским.

Неожиданная встреча с Ржевским на улице не обрадовала.

— Слышал я, слышал, — сказал Ржевский, — в лесах, в партизанах ты. Что мрачный?

— Митричу руку оторвало под Тарутиным.

— Это ужасно!

— Да что же это я? Знакомься, — Чеченский представил Ржевскому своих товарищей. — Митрич, Митрич... Как же это его? Я вас не отпущу так. За Митрича надо выпить, за его здоровье... Мы вам с Сашей, расскажем о нем...

\* \* \*

На следующий день Чеченский тяжело расстался с Темировым, поступавшим снова под начало Платова. Прощались у развилки дороги, у старой, потемневшей от времени часовни. Она была в наростах одеревеневшего, посеребренного изморозью мха.

Крыша часовни из кусков дранки увенчивалась покривившимся черным крестом.

Не думал, не гадал Чеченский, что по возвращении из Парижа он у этой часовни увидит могилу Темирова, которого убьют одичавшие от голода французские мародеры на другой же день после того, как он расстанется с Чеченским.

Давыдов же уведет свой отряд далеко от Мстиславской дороги, остановится в затерянной в лесах крохотной деревушке Сметанкино, что под белорусским городом Копось. Избы в деревушке вросли венцами в землю. Стоят прочно, нерушимо. Зимы здесь лютые, и крестьяне с осени обкладывают стены снаружи, оставляя открытыми узкие щели окон, снопами ржаной соломы или камышом.

Казаки сразу же пригласили Чеченского в баньку, обнаруженную в задах крестьянской усадьбы, на берегу речонки. На раскаленные докрасна камни ведрами воду плескали, в крутых горячих клубках пара охали, стонали, ахали, словно цепями рожь молотили на гумне, хлестали друг друга березовыми вениками и, распаренные, краснее раскаленных камней в баньке, голышом выскакивали наружу, катались в только что выпавшем снегу и снова залетали в обжигающий пар.

После такой бани Чеченский испытывал неизъяснимое блаженство. Растянулся на деревянных полатях и не заметил, как его охватила сладкая дрема. И приснилось ему, что погрузился он в теплую воду Тясмина. Вынырнул и удивился: на ветвях плакучей ивы русалка расчесывает зеленым гребнем зеленые волосы, зеленым пальцем манит к себе. «Я ж сколько искал ее, — подумал он, — нигде не было. И вдруг!» Русалка соскочила в воду, поманила. Ему не хочется, а ноги сами идут... Вот она оглянулась — и

сердце Александра замерло: это была Софья! Тут кто-то грубо схватил его за плечо. Кровь от гнева закипела в сердце, он обернулся – за плечо его крепко держал маркиз де Русско. Александр выхватил пистолет, нажал курок – пистолет не выстрелил... «Я ж забыл – истратил пулю на бешеную собаку!» – с досадой он бросил пистолет на землю.

– Да проснись же, царство небесное проспишь! – тряс его за плéчо Давыдов. – Левый берег Днепра у Копоси французами забит! Переправа от них трещит! План такой: освободим Копось. Бьем противника по частям, сначала по одной скуле, потом – по другой. Почему? Не осилим сразу всех. Ты со своими казаками захватишь переправу, с остальными я налетаю на Копось.

Так и сделали. Чеченский скрытно осилил брод, с налету взял переправу, закупорил ее меткими стрелками.

Только незначительной части врага удалось вплавь прорваться на другой берег, остальные, те, кто не утонул, оказались в плену. Оба берега Днепра были усеяны брошенными фургонами, пушками, зарядными ящиками, лошадьми, которым успели обрезать постромки, но которых так и не успели увести.

Партизаны освободили Копось, а через неделю – Гродно.

Получилось это так.

Зима вступала в свои суровые права. Шестой уж день сиверко отсвистывал чечетку – света божьего не видно. Полк Чеченского, однако, находил дорогу к границе. У казаков своим чередом ладилась походная жизнь. Саквы не пустовали, сухари про запас имелись, солонину шашками строгали, на ходу смаывали зубами, разговоры свои вели.

– Станичник, а станичник, слышь меня? Далеко заехали мы, – отворачивал башлык Михайла. – Севрюжки бы сейчас каспийской.

– Хоть воблочки с лимана. Скусная, духовитая, во рту тает, – откликается сотник Ситников. – Аль сома. Сахара не надо.

– По улице бы по Гребенской проехать. Я чай, все станичные девки обжигали бы глазами. А я бы ехал, этак подбоченясь, и семечки лускал.

– Для воина не мужчинское, дурашливое это дело – семечки лускать, – строго заметил Ситников. – Ино дело – нашивка за беспорочную службу. От станицы почет, от Маруси – поцелуй – что мед сотовый лесовой.

– Скажи, станичник, чего это люди в замиреньи не живут? Кровушкой, небось, вся земля и окияны пропахли.

– Все от бога и царей, Михайла.

– Станичник, а станичник, а скажи...

– Ну, чего тебе еще надобно?

– Давеча командир наш приказ Михайлы Ларионовича чёл?

– Ну чёл.

– А в том приказе Михайла Ларионович сказывает: жалеть нам, то исть мне и тебе, австрияков с пруссаками, польских жолнеров да италийцев.

– На то он и фельдмаршал, чтоб сказывать.

– А чему их жалеть?

– А тому, Михайла, – по дурости они к Бонапартию пошли.

– Не к Дуньке в посад, а к сатане в аккурат. Черт их в шею толкал?

– Черт али их ампиратор – все одно, я так думаю. Бонапартий более всего на помещицких австрияков всяких давил: помогите, мол, мне, а я – вам, в накла-

де не оставлю. Те и польстились на посулы ампира-тора, да и погнали быдло, народ то исть свой, прусскую али польскую голоту. А так-то, видно, голота их – неплохие ребята. С нами заодно и против Наполеона слободно могут пойти.

Много вопросов у Михайлы, до Берлина и обратно до Гребенской хватит их. И на многие из них он получит ответ: «Бог ведает. От бога да от царя все». Только потомки Михайлы докопаются до смысла многого и вдруг откроют, что без царя жить можно. И так сделают!

А нынче Михайла до русской границы доходит, и, хоть не дают ему покоя многие вопросы, дурного о царе у него и в мыслях не случается. Он с удовольствием выполнит команду свернуть с дороги в лес от снежного бурана. Михайла ослабит коню подпругу, задаст ему в торбе овса. Сам шашкой раскроит хлеб, сала нарежет, луковицу очистит, разложит все на тряпочке, которой свой карабин ружейным маслом протирает. И только крошки остаточные стряхнет с тряпочки на ладонь, чтоб съесть, как раздастся команда:

– По коням! Марш-марш!

Отправил он те крошки поспешно в рот, и уже через полчаса с десятью товарищами осторожно подкрадывался лесной чащей к вражеской заставе.

Неожиданно деревья поредели. Удвоили осторожность. Сотник Ситников свистящим шепотом:

– Без выстрела брать, саблей не попортить!

Михайла на стременах привстал, саблю на всякий случай из ножен потянул, чтоб коршуном ринуться, отрезать заставе путь и переловить супостатов, как оголодавших притеречных дудаков. Да не посмотрел Михайла вперед, пустил коня прямо, а тот, шалый, наступил на сушняк. Треск от того пошел такой, будто валежина в костре сучком ахнула.

С заставы не то пять, не то шесть гусаров порскнули в рощу — хвосты лишь лошадиные по губам Михайлы помазком сковородным для блинов мазнули: двое лишь, старый да малый, замешкались.

Вышли с ними к речке — все онемели, Михайла охнул:

— Станичники! Да что ж это?..

Ситников многое повидал на своем веку, не дрогнул ни разу. А тут закусил нижнюю губу — кровь по подбородку сразу струйкой. Михайла выхватил саблю — французы ни живы ни мертвы, попадали на колени, ждут обреченно — сейчас их порубят!

— Отставить! — у Ситникова судорогой горло перехватило. — Отставить, Михайла! Пулей за командиром, пусть сам зрит и решает.

Чеченский слез с Гнедого. По всему берегу — гранадеры, русские. Будто спать улеглись на кровавую росу.

— Да нешто французы могут такое, ваше благородие? — горестно воскликнул Михайла.

— Могут, — коротко ответил Чеченский и обернулся к пленным: — Когда вы это их?

— Император на зорьке приказал, — старший понурил голову.

— Вы — тоже?

— Приказ, — старший еще ниже опустил голову.

— Французы?

Выяснилось — австрийцы.

— Где ваша дивизия? — спросил Чеченский.

— В Гродно. Командир дивизии Фрейлих.

— Отец! — покраснел юноша. — Мне стыдно за тебя. Ты, предаешь императора. Это же казаки! Они нас все равно расстреляют. Дикари!.. Скифы!..

— Ах, сын, не все ли равно теперь? Я не любил и не люблю императора Франции. Я ведь с ним пошел,

чтобы, если удастся, не потерять тебя. Жалею ужасно, что за императора расплачиваться кровью нам с тобою. Судьба...

– Французы в городе есть? – продолжал допрос Чеченский, словно не понимал, о чем говорят отец с сыном.

– Ушли.

– Встаньте и уходите.

– Вы нас освобождаете? – изумился отец.

– Я выполняю приказ фельдмаршала Кутузова. Верните им оружие, – приказал Чеченский.

– Ваше благородие, как же так? Трофей же! – Михайла аж побледнел. Он уже пристегнул себе саблю старого гусара. Она была в нарядных, с бронзой и серебром, ножнах. Темляк со шнуром, рукоятка сабли с этикетками, крестообразная, увенчанная головой чудо-юдо зверя – трехглавого дракона. А свою, потертую, обтянутую почерневшей кожей, к седлу приторочил: жаль бросать: все-таки добро!

– Возвратить оружие! – построжал Чеченский, внутренне улыбаясь, понимая, что творится в душе Михайлы, как жаль тому расставаться с честно взятой в бою добычей.

– Эх, жизнь! – чуть не заплакал Михайла. – На, подавись ею, хранц! – он протянул ее австрийцу. – Эх, ваше благородие!.. Эх, не дали мне прокатиться с тою саблею в моей Гребенской! Маруся поглядела б!

– Не горюй, казак, и с твоей саблей гоже красоваться, – постарался утешить его Ситников.

Возвратили австрийцам и коней.

– Передайте вашему Фрейлиху, – напутствовал пленных Чеченский, – передайте ему наше искреннее сожаление по поводу случившегося. Мы воюем с французами, а с вами да итальянцами, с пруссаками и приневоленными Наполеоном к участию в войне



против русских поляками мы не воюем. С вами мы давно искали мира. И надеемся – он будет.

С тем и отпустили австрийцев.

– А что с побитыми, ваше благородие? – спросил Михайла.

– С боевыми почестями похороним.

– Неужто император Франции из вурдалачьего роду?

– Привык он к этому, Михайла. Вот, наприклад, одна история. Бонапарту не давался никак город Османской империи Яффа, что на побережье Средиземного моря. Осажденные гибли от пушечного огня, голода, пожаров, но не сдавались. Прослышаны были – от Наполеона пощады не жди. Тогда он дал им честное генеральское слово: добровольно сдадутся – сохранит им жизнь. Поверили ему. Пять тысяч пленных, сложивших оружие, он вывел на морской берег и... расстрелял. А под другим городом \* Абукиром, почти там же, пятнадцать тысяч турков положил, хотя многих можно было в плен взять.

– Не сполняет, значит, слова генеральского. И гром господний за такой грех не разразил его? Да не будет ему отпущения грехов за это смертоубивство ни на этом, ни том свете!

– А ты думаешь – зря его назвали корсиканским людоедом?

– Людоед он и есть. А чего это – «корсиканский»?

– Остров такой французский – Корсика, хоть и живут там итальянцы. Наполеон родом с тех мест.

– Он, значит, с того острова. Это, как мы с вами с Кавказу. Что ж, на той Корсике, значит, людоеды живут?

– Да нет, вроде, как и мы, христиане. Но в семье не без уroda. Учит император воевать по-людоедски. А были у Франции и другие времена. Около семиде-

сяти лет назад у бельгийского селения Фонтенуа, что близ реки Шельды, французская армия должна была сразиться с англо-голландско-ганноверским войском. Вышли наперед офицеры обеих сторон, раскланялись. Французы любезно согласились даже на то, чтоб противник первым по ним дал залп.

– Из ружей?

– Да.

– Так французов же могли положить много!

– Положили.

– Чудно.

– Победа была за французами в тот раз.

За разговорами не заметили, как очутились на подступах к Гродно. Их встретила группа австрийских гусаров с белым платом.

– От генерала Фрейлиха парламентареры, – отсалютовал один саблей. – Генерал благодарит вас за человечность и милосердие, проявленные вами к его гусарам.

– Рад, что доставил ему такое удовольствие, – ответил Чеченский. – Ничего другого он не передавал?

– Нет.

– Спасибо и на том. Прошу передать ему еще раз: с Австрией мы ищем мира. Конечно, нам неприятно, что вы в союзе с Наполеоном. Но надеемся, что вы скоро эту роковую ошибку исправите. Передайте генералу: мы хотим, чтоб он сдал нам Гродно без кровопролития.

– Это ваше требование?

– Просьба. Считайте, что это просьба фельдмаршала, вытекающая из его приказа об отношении чинов русской армии к союзникам Наполеона. Я только исполнитель воли фельдмаршала Кутузова.

– Хорошо, мы передадим вашу просьбу. Салют!

– Счастливого пути вам.

Полк разбивал бивак в виде подковы, чьи края замыкались на берегах Немана. По реке шел осенний ледоход. Илистое побережье с гущиной ив, бузины, оковывалось голубоватыми заберегами. На стрежне, по всей глади речной раскачивались, тонули и выныривали, как серебряные рыбины, льдины.

Чеченский велел поставить себе палатку на правом фланге бивачной подковы. Он не спешил начинать активные действия: сил было против Фрейлиха мизерно, надо бы подождать Давыдова. Кроме того, появилась слабая надежда: а вдруг генерал не какой-нибудь тупица-солдафон, готовый лоб расшибить о каменную стену.

В котле доваривалось пшено с жирными кусками говядины, когда перед Чеченским снова появились парламентареры.

– Генерал Фрейлих согласен оставить город, но с условием: дать ему двое суток для уничтожения коммерческих складов, цейхаузов в Гродно.

– Генерал Фрейлих, сам того не желая, хочет оставить у жителей Гродно дурное воспоминание о себе. По всему видно – генерал Фрейлих разумный воин. И я уверен, что у него до подхода наших главных сил хватит разума не совершить опрометчивого поступка. Снявши голову, по волосам не плачут. Город надо оставить таким, какой он есть и со всем тем, что в нем. Идите в Австрию с богом и надеждой стать друзьями России.

И в третий раз появились парламентареры.

– Генерал Фрейлих на все согласен. Он велел передать вам, что вы хороший воин и дипломат.

– Спасибо вашему генералу за похвалу моим способностям. Но ее заслуживаю не я, а наш фельдмаршал Кутузов. Я всего-навсего лишь скромный испол-

нитель его воли. Обещаю: его сиятельству, главнокомандующему русской армией фельдмаршалу Голенищеву-Кутузову будет доложено о генерале Фрейлихе. А в недалеком будущем, надеюсь, мы вместе с вами разопьем за нашу дружбу чашу вина.

Все жители Гродно вышли провожать генерала Фрейлиха, по приказу которого четыре тысячи солдат, тридцать пушек без единого выстрела покидали последний для них рубеж России.

Полк Чеченского входил в город под радостные клики жителей. Пока подоспел Давыдов, Чеченский поставил у всех магазинов, цейхаузов, у новой заставы, за которой открывалась чужая земля, своих казаков: чтоб добро в городе сберечь, покой России охранить.

Более чем на миллион рублей хранилось в Гродно добра русского и завезенного из Франции на форпост их летнего нападения на Россию. Здесь накопились богатые съестные припасы, фуражное зерно, склады с оружием, с пушечными ядрами, пороховые погреба. Кроме того, Фрейлих оставил в городе более полутысячи русских пленных, четырнадцать офицеров, генерала Павла Алексеевича Тучкова, подобранного французами на поле брани под Смоленском, у Валутиной горы.

Как же горевал Тучков, когда узнал о смерти своих братьев на поле Бородина!

— Боже, боже, — простонал он. — Зачем же так сразу — двоих! А что пережила несчастная Маргарита! Для нее потеря Александра равносильна потере всего самого дорогого на земле. Я знаю, как они любили друг друга. На всю жизнь, боже, на всю жизнь — безысходное горе! Одно лишь горе осталось для нее.

Чеченский не решился рассказать Тучкову о том, что Маргариту Михайловну видели на Бородинском поле.

За взятие Гродно без кровопролития Александру Чеченскому было присвоено звание майора.

## ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

Лют декабрь морозами. Вьюги и сильные бураны на равнинах России, на закованных во льды озерах и реках поднимались до небес белой мглой.

Стыли леса. Неман даже на перекатах пророс льдом, едва не доставая дна.

Лютые морозы стояли и в Петербурге. Но здесь ликовали – царь Александр I объявил манифест: французы из России изгнаны! Кончилось и для царя долгое сидение. Теперь, когда в Европе уже ни у кого не оставалось сомнения в блистательной победе русских, он рвался на театр военных действий. Он хотел быть на коне!

Его ожидали в Вильно и опасались: не потеснил бы он Кутузова. Впрочем, фельдмаршал уже на горьком опыте под Аустерлицем убедился в пагубности вмешательства царя в дела военные и потому твердо решил нынче не допустить этого.

Для торжественной встречи царя в Вильно были представлены все рода войск с растянутого на тысячу верст фронта, в том числе полуэскадрон Бугского казачьего полка во главе с Чеченским.

Впервые за всю военную кампанию Чеченский увидел фельдмаршала при всех регалиях, величественным, как истинный патриарх могучего племени воинов. Царь перед ним выглядел просто красивым скорморохом в ярких тряпках. Все были свидетелями: царь, не жаловавший, как о том было ведомо и вой-

ску, и России всей, своим вниманием Кутузова, назначивший его главнокомандующим вопреки своему желанию, сейчас отдавал ему почести. Он первым подошел к Кутузову, при всем честном, как говорят, народе обнял и трижды облобызал его.

Грянули «славу» военные оркестры, загремели барабаны, когда они, патриарх русского народа и царь, рядом шествовали по красной ковровой дорожке, разостланной прямо на снегу, в дом вильнюсского губернатора – ныне ставку главнокомандующего русской армией.

В тот же день царь принял королевского комиссара Британии – Вильсона.

– Фельдмаршал ничего не сделал для разгрома Наполеона, – услышал Вильсон от императора.

– Ваше величество, его расстрелять нужно было, а вы его наградили Георгиевской лентой, – ответил Вильсон. – Беннигсон – вот кто достоин поста главнокомандующего русской армией. А вы Кутузова дали.

– Вынужден был, – защищался Александр I. – Вы плохо знаете Россию.

– Я ее прекрасно знаю. Если и есть какие заслуги у кого в этой стране и в этой войне, так это у вас, ваше высочество.

– Спасибо, генерал. Я не только от вас слышу это. Но общество, московское дворянство...

– Якобинцы! Заражены революцией. Это от французов. Они и пришли сюда за тем, чтобы произвести в самой России революцию и взбунтовать донцов, как народ, к которому они имеют уважение. Я уже имел честь писать вам, ваше высочество, об этом.

– Ну до революции я не допущу. На то я и царь российский. Пока я уступаю московскому дворянству, народу. Они поддерживают и настаивают на том, что Кутузов первенствует в национальной славе этой войны.

До Кутузова дошел слух о свидании Александра I с Вильсоном. Фельдмаршал не пришел в гнев, мудрым глазом уставился в бесконечное пространство и тихо, но так, чтоб слышали генералы, случившиеся при нем, в том числе и Раевский, сказал:

– Облобызал меня. Все, как в Гефсиманском саду<sup>1</sup>. Георгиевскую ленту повесил. Но не за поцелуй же его, не за ленту служу я. Я – сын России, народа своего<sup>2</sup>.

Через два дня Александр Чеченский читал перед полком приказ Кутузова войскам.

Метель кружила, вторила полковому оркестру, но не могла заглушить голоса Чеченского. Казаки жадно внимали, боясь пропустить слово.

– Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовстве, унижающем солдата...

– Нешто мы нехристи некрещенные, – проворчал Михайла.

– Молчи! Не мешай! – прошипел на него Ситников.

– Будем великодушны, – продолжал читать Чеченский, – положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями...

---

<sup>1</sup> Библейский миф: Иуда Искаротский облобызал Христа в Гефсиманском саду, чтобы его распознала пришедшая с ним стража.

<sup>2</sup> Материал о Вильсоне документален. Вильсон оставил грязные следы авантюриста, шпиона в подавлении восстания в Ирландии 1798 г., в Португалии, Испании, Египте, Турции, Бразилии, Южной Африке. Настолько одиозная личность даже для Англии, что его соотечественники стыдятся о нем помнить. В последнем многотомном издании «Британской энциклопедии» о нем – ни слова.

– Станичник, а станичник, что то – «кротость»?

– Погодь! Потом! – отмахнулся Ситников.

– ...Покажем им ясно, что не порабощения, и не суетной славы мы желаем, но идем освобождать от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России.

– Нешто не ослободим? – подал опять голос Михайла.

– Михайла! – застонал Ситников и погрозил кулаком.

– Так я же, станичник, за слободу, – широко улыбнулся Михайла. – И приказ уже майор прочитал. Станичник, а станичник, рубаху чистую одевать?

– Сколько разов я тебе балакал, Михайла: раз на святое дело идем, – значит, одевать.

– Ага, станичник. Через границу, слободу воевать – это ж самое святое дело.

...Выступили на заре. Деревянный мост на обледеневших связках свай гудел как железный.

Александр Чеченский чуть привстал на стременах, свободно отпустил поводья. Гнедой нес легко, охотно, словно чувствовал запах родной конюшни.

По Неману бежала поземка, перемахивала через настил моста. Мела она и за мостом, на открывшемся просторе, иногда поднималась вихрами, похожими на султаны, что украшали кивера.

Сразу за мостом редкое мелколесье, будто землю нарочно выщипали, лишь кое-где оставив тощие лозинки вербы, изредка – осинки, кустик боярышника или ольхи. Край горизонта был хмурым, дымчатым, неровным, как зубья поперечной пилы. Там – лес.

Полк двигался без обычных разговоров. Стук копыт по настилу, звяканье сбруи, посвист поземки –



более ничего. Даже лошади не проявляли сегодня своего норова: не злились, не лягались, не ржали, словно чувствовали исключительность происходящего.

Когда же полк миновал мост, оказался на белой глади без людского жилья, звериных следов, стало тише. Все звуки поглощались простором и снегом. Не сразу замаячили впереди дозоры полка, по сторонам — фланкеры.

Вдруг полк услышал возглас, полный детского изумления:

— Гля, русак! — крикнул Михайла. Чеченский увидел прямо на середине дороги, перед полком, замершего зайца. — Пальну! — Михайла сорвал с плеча карабин.

— Отставить! — скомандовал Ситников. — Вдруг неприятель — чем будешь стрелять?

— Станичник, так это же вражеский заяц, лазутчик, может!

Эскадрон оживился. Позади себя Михайла услышал визгливый, как полковая флейта, голос эскадронного зубоскала:

— Ты, Михайла, под суд захотел? Под расстрел подвести себя?

— Это почему ж под расстрел? За божью животину?

— Заяц-то вражеский?

— Ну, вражеский.

— Раз вражеский, то, может, не простой.

— Обнаковенный.

— А, может, не обнаковенный. Видишь — белый, уши белые торчат, как хлажки на твоём дроте. Может, это парламентар от французов, от самого Бонапартия вышел нас встречать!..

– Парламентер? – захолопал глазами Михайла.

– С белым же хлагом. Так что, Михайла, ты свободно мог и под расстрел попасть. Потому – парламентаря стрелять не могли. Он есть священная особа, как царь, – пропел визгливой флейтой балагур.

Эскадрон за спиной Михайлы уже покатывался от смеха, а вскоре весь полк хохотал взახлеб, со слезой, с хлопаньем рук по животам, слышались многоголосые выкрики:

– Пар-ла-мен-тер!.. Ха-ха-ха!..

– Косой-то – священная особа, как царь!

Уже и заяц убежал в степь, и полк приближался к деревушке, до самых труб заметенной снегом, а хохот не прекращался и нет-нет да слышалось:

– От Бонапартия! Ха-ха-ха!..

– Лар-ла... Ох-хо-хо!.. Как хлажок... на дроте Михайлы!..

В первой же польской деревушке полк расположился для короткого отдыха прямо на улочке.

Чеченского звали в избу, где у устья печи обсыхал теленок. Корова облизывала его. Польский крестьянин в короткой свитке и высокой войлочной шапке вилами выгребал мокрую солому и складывал под окном в навозную кучу, присыпанную снегом. Потом подстелил корове солому.

Хозяйка в стареньком полотняном платье, стиранным-перестиранным, видно, в кипяченой воде с золой, в низко надвинутом на лоб платке, вытащила рогачом из печи глиняный горшок и поставила на середину стола, где лежал черный, плоский брусочек хлеба и деревянная солонка.

С печи посыпались полуголые детишки, мал мала меньше, как в Алдах у Асмы. Первым за стол сел хозяин. Хозяйка поровну разделила картошку и хлеб, подумала – и из своей доли добавила Чеченскому.

Именно в это время ординарец принес Чеченскому котелок с пахучей гречневой кашей.

Молча, торжественно ели крестьяне картошку, макая ее в крупную соль, бережно надкусывали кусочки хлеба. Руками, тыльной стороной ладони, вытерли губы, приготовились встать из-за стола. Тут Чеченский и поставил на середину стола котелок. Дети недоверчиво смотрели, шмыгали носами: «Дадут или не дадут?..». Котелок быстро опустел. Все степенно облизали ложки и положили. Только самый младшенький, с ноготок, не удержался: ложкой быстро-быстро заскреб по дну котелка.

Чеченский велел еще принести каши. Когда и ее съели, хозяйка робко подняла глаза на мужа, что-то сказала. Крестьянин с отчаянной лихостью махнул рукой – и дети расцвели.

На столе появилась большая глиняная чашка, а перед Чеченским – кружка. Они были наполнены горячим, сладким, густым, как свежий творог, молозивом. Ни до, ни после этого Чеченский не пил такого вкусного молока.

На улице Михайла допытывался у старого поляка:

- Скажи, а скажи, свитка греет?
- Жупана нема.
- Хранцу подарил?
- Ой лихо грабил, собачья кровь...
- Дочки у тебя красивые. Возьми меня в зятя,
- Ты ж солдат.
- Возвращусь – возьмешь в зятя?
- Не знаю, не знаю, – отводил в сторону глаза поляк.

– Не вже ж твоя дочка таким орлом, как я, погребует?

— А как же твоя Маруся? — спросил Ситников, улыбаясь. — Лазорик степовой?

— Эх, станичник, ото ж кабы не лазоревый цветочек, присох бы тут к Марысе, явором к ивушке прислонился бы...

Оживленный, веселый разговор не гаснет у котелков, из которых едят гречневую кашу казаки и крестьяне польской деревушки.

И снова дорога, а на следующий день — боевая стычка на чужой земле. За ней — другая, третья. День за днем. Через все Варшавское герцогство, сокрушая на своем пути крупные силы неприятеля, взяв город Калиш, преодолев Одер, вышли к Дрездену.

После Калиша партизанский отряд Давыдова был передан в подчинение барону Винцингероде.

— Генерал от кавалерии, — сказал о нем Давыдов. — Наверное, в денщиках у Марса ходил: больно вышколен, услужить умеет сильным мира сего. Правда, после Смоленска отряд партизанский водил. Кремль спас.

— Как?

— Просто. Наполеон бежал из Москвы. Маршал Мортье приказал взорвать Кремль. О том от пленного французского офицера дознался Винцингероде, случившийся на Тверской заставе. Взял казака и к тому маршалу. Пока вел переговоры, наши подоспели к Кремлю. Наполеон приказал расстрелять пленного как изменника — уроженца Гессена, входившего в Вестфальское королевство. — Давыдов остановился, чтобы раскурить трубку.

— Отчего ж не расстрелял?

— Наш царь пригрозил, что за Винцингероде трех французских маршалов лишит жизни. — Денис запыхал трубкой.

– Дальше что? – не вытерпел Чеченский.

– Во Францию отправили. Партизанский отряд отбил его.

– Боевой генерал.

– Боевой-то боевой, да не люб он мне. Слуга нескольких господ.

– Как?

– Суди сам: сначала служил вестфальскому королевству, а значит, – и Наполеону. Потом поочередно – австрийскому, русскому и снова австрийскому. К началу нынешней войны перебежал к нам. Мундиры, хозяев менял. А душу? Мое мнение: он бежит к тому хозяину, который пожирнее кость ему бросает. И странно – в любимцах царских. Нет у генерала самого святого: привязанности к отчизне, родного ничего нет. Чует моя душа: не слажу с ним.

Два дня тому назад состоялся такой разговор. За это время Бугский полк очутился у стен Дрездена, на три дневных перехода опередив основной отряд Давыдова.

– Ну что, прямо в город? – нетерпеливо настагивал Мотылев коня.

– Без разведки? – удивился Чеченский. – Вот что. Останешься у этих высоток, – указал на гряды холмов с голыми рожицами и одиночными деревьями, – я с полусотней.

На пути попадались крепкие крестьянские усадьбы, ветряки. Жители попрятались. Их находили в подпольях, погребах, спрашивали, есть ли в Дрездене французы. Все отвечали, что не знают, что с неделю как ворота в город закрыты.

– А что, Михайла, возьмем город? – спросил старый казак.

– А чего еще делать, дядька Данила?

– Взять-то, может, и возьмем, да вот, гляжу я, к чему?

– Как к чему? Слободим. Гляди: на стенках вроде шевелятся.

– Пусто в городе.

– Как в кошеле твоём, – заулыбался Михайла, довольный, что хоть раз поддел дядьку Данилу.

– самого главного не вижу: немочка молоденькая не выглядывает, слез горячих не льет, тебя поджидаячи.

Из палисадов, подступавших к стенам Дрездена, послышались выстрелы. Пули градом посыпались вокруг. Степнячок Михайлы, низкорослый, юркий, как стриж, рухнул.

– Скочи ко мне! – крикнул Данила. – Эх ты, увалень! – разогнался, качнулся колодезным журавлем, выдернул Михайлу из-под коня, поперек седла бросил, припустил за отступавшим отрядом. – Ранен? От ушиба обомлел? Пройдет.

Тут конь и под дядькой Данилой упал.

– Бежим! – подхватился Данила.

...Полусотня отдыхала. Дядька Данила растирал распухшую ногу Михайлы, грозился в сторону Дрездена нагайкой:

– У-у, злыдень, чистого поля забоялся? Сподтишка стрелишь?

Чеченский наносил на карту значки, отыскивал подходы для штурма Дрездена, невольно слушал Михайлу и Данилу.

– Дядько Данила, а дядько Данила, а чего это хранц нынче пужливым стал?

– Хвоста ему накрутили потому что.

– Поджал.

– Припозднился малость. До Москвы павлином распускал. Кабы на него сразу Кутузова...

– Кто ж о том, дядько Данила, в Расее не знает?  
– А вот и есть такие, кто не знал! Али не хотел  
знать.

– Кто?

– Царь.

– Тс-с! – пугливо оглянулся Михайла.

Чеченский сделал вид, что не слушает.

– Царь, он помазанник божий, все знает.

– Вышло, Михайла, не все. Бог не наставил, не дал ему силы этой. Конь о четырех ногах спотыкается. А у царя, как у нас с тобой, две.

– Свят, свят! – закрестился Михайла. – Если б я, дядька Данила, не уважал вас...

– Знаю. Душа у тебя – что кремень – крепкая. Потому смело гутарю, нараспашку с тобой. Правду хучь о тебе, хучь о царе.

– Как же так? Царь – он все знает,

– А может быть, не хочет знать...

\* \* \*

В рапорте Давыдову Чеченский писал: «До самых стен Дрездена я не мог узнать от местных жителей, кто в городе, почему и поскакал с полуэскадромом в разведку. Только до палисадов добрался, как нас сильно обстреляли. Слава богу, кроме трех лошадей урону нет. Расставил перед Дрезденом пикеты, ожидаю дальнейших приказаний».

Давыдов ответил: «Держись, спешу со всей партией».

Ночь простояли казаки. Небо темно-синей с искрами попоной накрыло землю. Перед казаками вырисовывались контуры строений. Лишь иногда там кое-где засвечивался, робко мерцал и гас огонек. Город притаился, как оробевший хозяин, знающий, что перед его дверью собрались, не таясь ни от кого,

грозные казаки. Кого из дрезденцев они гнали от Москвы? И кто из дрезденцев там загинул?

К утру осаждающие, оставив своих коней в ближних складах балок, в рощицах, подобрались к стенам.

Легкой пеленой над землей стелился, заползал за стены Дрездена туман. Солнце, как глазурированный большой кувшин, заблестело на зеленовато-бирюзовом куполе какого-то храма, высветило золотой шпиль над серым кубом здания. Туман заколыхался озерной водой, которой коснулся ветер, и стал таять.

— Эх, коня да в атаку бы! Поближе посмотреть на божий храм, на ту зелень-бирюзу, — показал Данила на Дрезден.

— Нас в атаку, а сам без коня спрячется! — съязвил кто-то.

— Я — прятаться? Да я! — Дядька Данила выскочил из укрытия.

— Не дури! — попытался остановить его Михайла.

Дядька Данила оставлял в росистой траве след. Но вот хлопнул выстрел. Казак упал и быстро-быстро руками засновал, будто на зорьке траву росяную коню своему рвал, позабыв, что коня-то у него нет.

Михайла пополз по-пластунски, дядьку Данилу в укрытие уволок, рану порохом присыпал.

— Чего у мене? — пришел в себя Данила.

— Дырка в животе.

— Дурак.

— Это ты мне?

— Не. По глупому все у мене. — По лицу Данилы разливалась мертвенная желтизна.

— Загубить схотели чудова казака? — крикнул Михайла и выстрелил в сторону крепостной стены. Потом самыми последними словами ругал казака, который посмеялся над Данилой.



– Пошутковать нельзя, – слабо защищался казак, – разве ж я знал, что он скаженный...

\* \* \*

– Ваше высокоблагородие, – доложил Мотылев Чеченскому, – кто-то из городских ворот показался, белым лоскутом размахивает.

– Вижу. Кто бы это мог быть?

На коне приближался невоенный, его сопровождали четыре всадника, тоже в штатском, с белыми повязками на левых рукавах.

В своем рапорте Давыдову Чеченский сообщал о том, что его пикеты выстояли ночь и день, что к нему явился с белым флагом бургомистр Дрездена с просьбой, чтобы русские пощадили город. Чеченский понял: бургомистр думает, что русских у стен Дрездена много. Чеченский согласился Дрезден пощадить при условии, что жители вытеснят французов из Альтенштадта – старой части города – в Нейштадт – новую часть, разделенную мостом через Эльбу. В противном случае казаки вынуждены будут штурмовать. Сами казаки жечь не умеют. Но французы, отступая, все пожгут. Москву не пощадили. Бургомистр попросил для ответа два часа.

Давыдов спешил и был от Дрездена верстах в трех-четырёх, когда получил третий рапорт Чеченского.

«Душа Денис Васильевич! Бургомистр явился и сказал мне, что комендант города желает говорить с нашим офицером». Далее Чеченский сообщал, что послал такого офицера. Комендант заявил ему: будь у русских «хоть самая безделица пехоты, регулярных войск, он в ту же минуту оставил бы город». Одним казакам, иррегулярному войску, отдать не может. От коменданта стало известно, что мост через Эльбу начинен десятками пудов пороха. К нему подведены фитили. У фитилей с затравками саперы.

Давыдов подумал: пехоту ждать – много времени потерять. И применил излюбленную хитрость – костров много разжег, совершал войсковые перестроения. Из ближнего леса одну и ту же колонну с десятков раз прогнал на виду у всех дрезденцев из открытой городу части леса в закрытую. Все на славу удалось: противник решил, что на подступах к городу появились крупные силы русских.

На рассвете, когда уже готовились принять парламентаров из Дрездена, от генерала Ландского, выполнявшего приказ Винцингероде, пришел пакет. Отряду Давыдова совершенно неожиданно предписывалось немедленно направиться к небольшому предместью Дрездена – Радебейлю – с целью захватить там флотилию судов. Самому же Давыдову – явиться в Каменец.

– Бросить вторую столицу пруссаков, когда она почти в руках? Фухтель, банник в глотку тому дьяволу, коему могла прийти в голову эта мысль! – бушевал Давыдов. – А не бывать тому! Вот возьмем Дрезден, тогда...

В это время ему доложили:

– Парламентар от генерала Дюрют ждет для переговоров вашего штабс-офицера.

Послали красавца-великана подполковника Храповицкого – командира Уланского полка. Чеченский и Давыдов к регалиям Храповицкого добавили свои кресты и банты.

Переговоры длились до вечера и закончились обоюдным согласием. Французы уходили без боя. Стороны обязывались не предпринимать в течение сорока восьми часов военных действий. Русские обещали не обижать жителей, не трогать королевскую и частные библиотеки, оставить на местах гражданских чиновников и магистрат Дрездена, охранять зна-

менитый дворец Цвингер. Жители, в свою очередь, обязывались расквартировать и обеспечить продовольствием русское войско.

В рапорте генералу Ландскому Давыдов сообщал обо всем этом, подчеркивая особую заслугу Чеченского во взятии Дрездена.

Дрезденцы встречали русских кликами общей радости:

– Хох! Хох!..

А закончилось все неожиданно. Из-за фрондерства Давыдова, а точнее: из-за того, что он из-под самого носа Винцингероде забрал лакомый кусок – Дрезден, за который генерал вожделем от царя награды. Обвинить Давыдова в чем-то чрезвычайном генерал, однако, не мог, даже в том, что тот не поспешил в Радебейль: Кутузов, ведал, что никакой флотилии, кроме старых развалин – речных лодчонков, там не было. И все же Винцингероде отстранил Давыдова от командования отрядом и отправил его в Калиш, в штаб Александра I, обвинив подполковника в том, что тот дал французам в Дрездене двое суток передышки.

Царь выслушал главнокомандующего и, хорошо понимая, что того не переупрямить, не переубедить, милостиво изрек:

– В чем бы Давыдов ни провинился, победителей не судят.

Винцингероде не прощал своим обидчикам. Под разными предлогами направлял возвращенного Давыдова в разные части. Ропот казаков и гусаров не прекращался долго.

– Бог все видит, – говорил Михайла. – Но почему ж он не покарает Свинскегероя?

А Денис Давыдов не предполагал, что Кутузов, любя его, оказал ему последнюю услугу.

## БЕССМЕРТИЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА

В апреле 1813 года прусские реки набухали талой водой. Зацвели подснежники, тюльпаны. Грачи в парке Бунцлау, австрийского городка, с утра оглашали воздух пронзительными криками и вили на липах гнезда.

На главной улице ликующие жители с балконов, из распахнутых окон, с крыш, с тротуаров восторженно, в праздничной одежде, приветствовали грузного всадника, за которым по камням мостовой катилась карета.

– Пусть здравствует Кутузов!

– Слава, слава освободителю Европы!

Клики были жаркими, день – холодным, с пронизывающим до костей ветром с Северного моря, с мрачным небом и вдруг хлынувшим ледяным ливнем.

На следующий день всю площадь перед двухэтажным домом, в котором располагался штаб главнокомандующего, и прилегавшие к ней улицы, солдаты устлали толстым слоем сена, чтобы заглушить стук по ним копыт, колес фургонов и карет.

В одной из комнат дома на походной кровати умирал от воспаления легких фельдмаршал князь Смоленский Голенищев-Кутузов.

Весть о болезни Кутузова мгновенно распространилась в армии. Слаженные действия войсковых соединений разладились, как бег брички, у которой вдруг посыпались из колеса спицы, с обода слетела шина.

В Бунцлау с фронтов стихийно стекались военные. Александр Чеченский с новым своим командиром Ландским тоже оказались у штаба главнокомандующего.

Здесь царили растерянность и нескрываемое горе. Состояние здоровья фельдмаршала называли безнадеж-

ным. Чеченский смешался с толпой притихших военных. Над площадью и близкими улицами стоял чистый запах сена, слышались приглушенные голоса. Молодые и старые деревья вдоль тротуаров выбросили яркую, блестящую, как солнечные блики на поверхности воды, листву, ветер шевелил ее, и она шелестела нескончаемо, как ручей, в котором не иссякает вода живых родниковых ключей.

В предчувствии неотвратимой беды лично для него, для России, для людей Европы, которые рукоплескали Кутузову, Чеченский перебирал в памяти все, что было известно о жизни этого человека.

Она была нелегкой, простой и прекрасной, как предание об алдынце, которому однажды покорилась Шат-гора. Об этом рассказывал старый Мажи. Отважного алдынца пугали: «Не ходи – погибнешь. Бог или дьявол – они никого еще не пустили туда». Он ответил: «Пойду посмотрю». Он возвратился в лохмотьях, израненным, но счастливым. «Я не видел там ни бога, ни дьявола, – сказал он, – а лишь небо и море. Рядом со мною парили орлы. Они не осмеливались сесть на вершину Шат-горы». Люди пронесли его на руках через все Алды. И жил он в великом почете долго. А больше никто не мог взойти на Шат-гору.

– Дедушка Мажи, а ты видел того смельчака? – спрашивали дети.

– Нет. О нем мне рассказывал мой дед, а ему – его прадед, а тому прадеду... Давно то было. А память о человеке том не умирает.

Из летучих, отрывочных рассказов на бивуаках и здесь, на площади Бунцлау, жизнь Кутузова представлялась Чеченскому восхождением алдынца на Шат-гору.

Драгун с глубоким шрамом через всю левую щеку, седой, с колокольню Ивана Великого, повествовал жадно внимавшим молодым офицерам:

– Отличился наш Михаил Илларионович в боях при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле...

Еще на бивуаке под Малоярославцем слышал Александр от пехотного офицера:

– В висок татарская пуля... А было то в Крыму, под Алуштой. Я сразу подумал – убит. Но, шалишь, не для смерти родился Кутузов. И хоть правого глаза лишился, а зряч не в пример тем, кто с двумя.

Чеченский прошел дальше. Артиллерист-полковник, расстроенный, видно, донельзя, говорил так тихо, что до Чеченского долетали лишь отдельные слова:

– Суворов любил... Поцеловал за штурм Измаила. Да, послужил я с ним. Капитаном он... Расстался... Вновь повидались – он уже генерал от инфантерии...

– Знавал и я Михаила Илларионовича, – вступил в разговор инженер-полковник. – В Молдавии. Турки нас тревожили. За год до того, как к нам Наполеон через Неман припожаловал. Под Слободзеей Кутузов окружил и в плен взял всю турецкую армию. Тогда и графа получил, а вскоре – и светлейшего князя.

– Потом после Бородина – фельдмаршала. А в декабре двенадцатого Смоленским стал. Радости у нас в Бугском егерском полку было! – сказал молодой капитан в форме ополченца.

Неожиданно Чеченский встретил старых знакомцев по Гродненскому гусарскому полку.

– Ваше высокоблагородие! – воскликнул молодой прапорщик. – Горе-то какое! Выживет Михаил Илларионович? Ах, зачем не я умираю? Эх, – глаза его зажглись гневом. – А ведь есть подлецы, радуются недугу нашего Кутузова.

– Быть того не может!

– А вот и есть, ваше высокоблагородие! Есть! Завидуют! Клевещут! Готовы в стакане воды утопить. Известно ли вам, что написала недавно августейшая вдовица принца Голштейн-Ольденбургского Екатерина Павловна нашему царю? Извольте выслушать. – Он извлек из мундирного кармана лоскут бумажный: – «Слава фельдмаршала, – пишет эта дама, – вознеслась незаслуженно очень высоко. Обидно становится, как почитают его голову все незаслуженно. Мне кажется, как в гражданских делах, так и в военных, тебе не сопутствует удача».

– Так и написала: «...вознеслась незаслуженно»?

– Так.

– Да как она посмела? – вспыхнул Чеченский. – Да она же замахнулась не только на Кутузова!.. На всю Россию!..

– Bravo, майор, – обрадовался прапорщик. – Хорошо, – обратился он к спутникам, – что Александр Чеченский остался верен нашему гусарскому товариществу, братству. Есть и еще новость посвежее, майор. Отойдемте на всякий случай от греха в сторону...

Чеченскому рассказали, что к больному Кутузову вошли августейшие особы – царь Александр I и король прусский Фридрих Вильгельм. Старый адъютант оставил их наедине с фельдмаршалом. Царь спросил, как чувствует себя Кутузов.

– Душно, государь, душно.

– Авось, обойдется все, Михаил Илларионович, – бодрым тоном ответил царь. – Бог не оставит наших молитв, армии. Все ждут твоего выздоровления, – по-французски ответил Александр I и по-русски: – Михаил Илларионович, прости меня за все.

– Я-то прощу, но простит ли тебя, государь, Россия?

– Откуда узнали? – спросил Чеченский.

– Фома неверующий, – засмеялся поручик. – Старый адъютант неплотно прикрыл дверь... Весь Бунцлау уже об этом говорит.

В это время на площади раздались крики:

– Пусть здравствует Кутузов!

– Слава! Слава!

– Слава фельдмаршалу!

В воздух летели шапки, кивера, женские платки. Гусары подняли головы. У раскрытого окна, опершись на подоконник, стоял в наброшенной на плечи шинели фельдмаршал. Вот он приподнял руку, слабо махнул и скрылся. Окно захлопнулось...

Из старого силезского городка Бунцлау прах Кутузова увезли в Россию и при огромном стечении петербургского люда похоронили в Казанском соборе. Кутузов ушел из жизни в бессмертие.

На торговой площади Бунцлау позднее, как узнал Чеченский, король прусский от благодарного немецкого народа воздвиг русскому фельдмаршалу двенадцатиметровой высоты железный обелиск.

Вся Европа притихла в ожидании, как же теперь будут развиваться события на театре военных действий.

Наполеон перевел дух: «Кажется, фортуна мне улыбнулась». Он не забыл, как в пору московского сидения маркиз де Русско в одном из своих донесений передал ему слова русского пленного офицера, услышанные от Кутузова:

– Разбить меня Наполеон может, но обмануть – никогда!

«Вовремя ушел старый лис», – радовался Наполеон и дал бой под Лютценом.



Полк Чеченского с кавалерийской дивизией Винцингероде бился жестоко с неприятелем, проявляя чудеса храбрости. Когда Чеченскому показалось, что неприятель потеснен, раздался пронзительный свист, каким партизаны Смоленщины подавали обычно сигнал отхода.

К Чеченскому подскакал адъютант Винцингероде, крикнул:

– Французы подбросили подкрепление, их резервы заходят к нам во фланги!

Винцингероде, надо отдать ему справедливость, не оставил неприятелю раненых, обозов, увел все пушки. Бугский полк вел арьергардные бои.

Лишь к вечеру Винцингероде наткнулся на нового главнокомандующего русской армией – Витгенштейна. Тот сидел на пеньке в рощице и не особенно удивился бы, явись к нему сам Наполеон со всей своей армией. Вокруг него толпились офицеры и генералы. Он что-то отвечал им. Винцингероде, спешившись, подошел с рапортом:

– Отступили, граф. Жду ваших распоряжений.

– Генерал, я тоже жду. Вот-вот прибудет царь-батюшка, тогда...

Уже к ночи на бивуаке в полку Чеченского ходил невеселый рассказ. Началось с жалобы любимца царя Аракчеева на Ермолова.

– Потрудись, генерал, ответить, почему твои пушки молчали под Лютценом? – начал царь разнос Ермолова.

– Ваше высочество, лошадей не хватало подтянуть пушки на исходные позиции.

– Забыл потребовать у графа Аракчеева?

– Ваше высочество, адъютанта за адъютантом посылал к нему – безрезультатно.

– Почему, граф, – вызвал царь Аракчеева, – не дал артиллеристам Ермолова лошадей, сколько им требовалось? Обязан же...

– Виноват, ваше высочество, но мне самому их не хватало.

– Вот видите, ваше высочество, как честное имя офицера иногда зависит и от скотины, – не замедлил Ермолов уязвить любимца царя.

Аракчеева передернуло. Царь промолчал. Тем и закончился разнос Ермолова.

Наполеон развил успех своего наступления, вырвался за Эльбу, вошел в Дрезден и обосновался в Брюлловском дворце. За день до этого здесь ночевал Александр I.

О смещении Витгенштейна, – а в сущности, смещения заслуживал сам Александр I – с поста главнокомандующего, Чеченский мог бы узнать раньше. Но в неожиданных, как в конной езде курбетах, передислокациях, в той неразберихе, которая царилла в армии после смерти Кутузова, это было не так-то просто.

Чеченский был в гуще событий: то вместе с другими частями сдерживал французов, то сам совершал дерзкие нападения на них.

В то утро грачи, не страшась казаков Чеченского, налетели из Рейхенбаума, скакали по черному рыхлому полю, разгребали, поднимая столбом пыль, оставшуюся после растащенной кем-то старой скирды соломы.

Чеченский, с нетерпением поглядывавший на узкую проселочную дорогу, приподнялся с разостланной шинели, когда увидел вдалеке, в клубах утреннего тумана, всадника. Тот несся наметом...

– Ваше высокоблагородие, ханцы на Рейхенбаум, сабель триста.

– Спасибо, Михайла. Поручик Мотылев, сотник Ситников, в засаду!

Полк, спугнув грачей, настегивал лошадей, слово спасался бегством в сторону Рейхенбаума, затем растворился в боковом лесу.

Французы, потеряв след казаков, спешились перед Рейхенбаумом. Посовещались, не подозревая, что те в полусотне шагов от них в засаде, приготовились к сабельному налету.

Над деревней вились ровные столбики голубых дымков. В небе, над каменной кирхой, хлопали крыльями голуби. Из деревни к французам спешил крестьянин.

– Я ж его видел, – сказал Михайла. – Заходил в дом к моей девахе. Лазутчик хранца – выходит. Морда – во! Усищи длинные и тонкие, как у сома. Он же у меня на закрутку табака еще просил.

– Дал?

– Дал.

– Среди зимы снега не выпросишь... А тут...

– Так я ж ему по приказу Михаила Ларивоновича, жалеть пруссаков и австрияков. И больно ласково просил, сомовья его морда: «Битый, бритый», – он мне. А я ему: «И битый, и бритый ты, холуй Наполеона. И еще побьем хранца и побреем...». Я ж ему как союзнику... А он, значит, лазутчик – по всему видно! Но, ужо я ему!..

«Сомовья морда», сообщив что-то французам, повернула к Рейхенбауму.

Тут казаки – «Ур-ра!». Чеченский, как Юлай, заарканил подполковника и услышал Михайлу:

– А, сомовья морда, получай! За табачок! За подглядки!..

...У Рейхенбаума встретили эскадрон гусаров, сопровождавших генералов, высших офицеров, среди них – Барклая де Толли.



– Ваше сиятельство, – отрапортовал Чеченский, – Бугский казачий полк возвращается из боя. В плен взят подполковник, два нижних офицерских чина, около сотни рядовых, полковое знамя неприятеля. Уничтожено свыше ста пятидесяти противников. Рапортует командир полка майор Чеченский.

– Похвально, – ответил Барклай. – Подполковника отправьте в мой штаб для допроса. Давно, господин майор, полком командуете?

– Назначение от вас, ваше сиятельство, в Витебске получил.

– А, припоминаю. До того вы служили в Гродненском гусарском.

– Так точно, ваше сиятельство!

– Зачем же я вас в казачий полк назначил?

– Я просился в арьергард, ваше сиятельство.

– Да, да, командиров не хватало. Бои... Да, да.

Кортеж военных отправился далее. Но от него отделился всадник.

– Здравия желаю, майор!

– Ржевский? Дай обниму.

Разговор был отрывочным, как в любой короткой встрече на войне, за которой сразу следует разлука.

– Гусаром стал? У Барклая?

– От полка моего с гусарами в почетном эскорте. Смотр войскам идет.

– Барклай проводит смотр?

– Э, да ты, я вижу, не в курсе последних событий! Барклай – наш новый главнокомандующий.

– Витгенштейну отставку, значит? Барклая Кутузов жаловал. Как служба твоя?

– Превосходно. Прощай. У меня для тебя новость.

– Я найду тебя.

На закате дня в полк Чеченского, расположенный в Рейхенбауме, прибыл адъютант главнокомандующего со срочным пакетом.

В полку еще никто не знал, что было в том пакете, когда к Чеченскому, расположившемуся в кирпичном домике немецкого крестьянина, ввалился Ржевский.

— От души поздравляю с подполковником.

— Это твоя обещанная новость?

— Нет. Клянусь, я узнал о ней не более часа назад. Барклай возвратился в штаб и при мне диктовал приказ. Ей-богу, не ожидал от него такой оперативности. Видно, наука Кутузова пошла ему впрок. Не обещал он ведь. Но славно, что помнил о тебе. По дороге спросил меня, откуда я знаю тебя. О кавказской нашей службе все выпытывал. Раевского хвалил. Да что я разговорился? И ты хорош! О самом главном забыл. У меня ж для тебя в переметной суме припасено отменное зелье. Отметим нового подполковника Александра Чеченского!.. Зови друзей!

Когда после скромной дружеской пирушки они остались наедине, Ржевский выложил свою обещанную новость:

— Знаешь, кого я встретил в бою под Лютценом? Маркиза де Русско. Дрался он отменно. Не достал я его саблей.

— Жаль. Он сверх меры заслужил смерти, — и Чеченский рассказал о своей встрече с маркизом на Бородинском поле, признался, что пощадил тогда де Русско, правда, безоружного. А теперь не может простить себе этого. И еще услышал Ржевский, чему был свидетелем Фигнер в Москве...

— Не пощадить старика!

- Русского! Он не узнал старика.
- Человека не пощадил! Впрочем, это в духе его императора. Отмщение! Отмщение маркизу!..

## ПАРТИЗАНЫ ЗА ЭЛЬБОЙ

Полк Чеченского в Рейхенбауме подковывал лошадей, чинился, отсыпался за все время походов.

На фронте было затишье. Стороны заключили перемирие на две недели.

Апрель отбуйствовал цветением вишен и яблонь, в рейхенбаумовских огородах вызревали крес-салат, спаржа. Немцы их в великом количестве поедали. Казаки пробовали этот бурьян, плевались: «Сено! Лук либо чеснок – это да! Их что с хлебом, что с водкой!..».

Михайла добыл себе нового коня. Не взлюбил его с самого начала, а по привычке чистил коркой хлеба, круто посыпанной солью, баловал; как своего дончика. Тоска по лошадке, резвой, быстрой как ветер, саднила душу Михайлы. Несется, бывало, дончак по степи или в атаку – земли почти, как птица, не касается. А новый конь, огромный першерон, скачет – земля дрожит, а неуклюж: за шашкой Михайлы не поспекает.

В одном он только превосходил дончика: по улицам Рейхенбаума больно вальяжно двигался.

Дончак – тот и хвостом легкомысленно крутил, и свечкой поднимался от легкого прикосновения шпор, и такое выделял ногами, что хоть в круг лучших полковых плясунов пускай его. А этот комод – лишь копытами – бух! бух!.. И хвостом не шевельнет, даже если слепень эльбинский ужалит его. Важно, как гусак, потерявший гусынь своих, движется. И оттого важным на нем кажется Михайла.

Наверное, весна в том была виновата, что в жилах молодого казака бродил хмель: и в рань, и в день, и вечером можно было видеть Михайлу на улице Рейхенбаума. Сколько и куда б ни ехал Михайла на своем першероне, а непременно попадал на одну и ту же околицу, к домику с садочком, где по деревянному заборчику бежал густой вьюнок, а во дворе, засаженном яблоньками, перед игрушечным теремком, вдоль дорожки были россыпи красных, розовых гвоздик, остроглазой резеды.

Вскоре казаки прознали: неспроста Михайла важничает на своем громобое, у околицы задерживается: воду, оказывается, из рук теремной красавицы, словно сустатку, ковша по три, не спеша, высасывает. Дивчина та в фартук расписной прыскает, косой длинной русой играет, глазами зелеными Михайлу завораживает. Он по-своему, значит, про Терек свой, тархун-траву, рассказывает. Дивчина, хоть ничего не понимает, слушает...

Однажды Михайла с подбитым глазом возвратился. На вопросы казаков, не в стычке ли с французами увечье получил, отмалчивался, тяжело вздыхал лишь.

И страсть как затосковал, закручинился, когда меж казаков разговоры пошли про новый поход, будто русские с австрияками и пруссаками договорились вместе против Наполеона воевать.

Стало известно: генерал Винцингероде вызывал их подполковника и приказал через Эльбу переправиться в тыл французам. Значит, опять партизанить.

А Михайле никак за Эльбу не желалось: ему и здесь было неплохо.

...Полк подняли на рассвете. Вечером перед тем Михайла распрощался с дивчиной: от забора рукой махнул. В тереме свет погас. А казачина всю ночь дозор держал на той околице...



Полк вытягивался из Рейхенбаума. Михайла глянул, закручинился: околица была пустынна. И вдруг расцвел: из-за куц придорожной ольхи выбежала дивчина с длинной русой косой, в расписном фартучке. Подбежала к Михайле, что-то, улыбаясь и плача, залопотала на своем птичьем языке, потом, держась за стремя, пошла рядом, как Маруся, провожавшая его из Гребенской в поход далекий.

Михайла, гордый, счастливый, победоносно оглядывался на товарищей по эскадрону: что, мол? А есть ли в Рейхенбауме еще дивчина, которая вот так кого провожает? Нет ни у кого у вас такой дивчины в Рейхенбауме!

Далеко провожала она Михайлу, а потом стояла у дороги и, покуда всем было видно, все махала и махала белым платком.

— Добрая из нее казачка вышла бы, — сказал скупой на похвалы Ситников, и все в эскадроне загомонили. — Только как же Маруся твоя на это посмотрит?

— Эх, станичник, — ответил Михайла, — да разве ж ты не заметил?.. Разе же пригорнула бы меня к сердцу своему эта чудова дивчина, коли не была бы, как две воды, похожа на мою Марусю?

...Через Эльбу переправились завидно. Углубились в лес. Сумерки захороводили. Всю ночь, сверяясь при свете трута, Чеченский вел казаков.

На зорьке к нему подвели местного жителя.

— Зачем бродишь по лесу? — спросил Чеченский.

— Дров собрать, — показал на веревку, перекинутую через плечо. — Ваших у нас полная деревня.

— Наших? Сколько их?

— Не считал. Сотен пять, шесть.

— Майор Мотылев, в разведку! Сотник Ситников, распорядись, пусть казаки помогут немцу дровишек собрать. Заодно отвезут ему во двор, — и немцу: — Проведешь нас в деревню.

– Вам бы лучше в другую, – нахмурился тот.  
– Это почему же?  
– Там больше мяса. У нас уже все поели.  
– Нас не надо кормить. Мы – русские, – засмеялся Чеченский.

– Русские за Эльбой, – недоверчиво протянул крестьянин.

– Мы в самом деле русские. Казаки. Прогоним от вас французов.

– Казаки? Прогоните? – и еще не совсем веря, покорно согласился: – Раз заставляете – проведу.

К деревне, смыкавшейся с лесом, подошли незаметно. Немец несколько ожил, с готовностью отвечал на вопросы.

– В доме с красными ставнями – штаб французов.

– Майор Мотылев, все выходы из деревни перекрыть. Пошли с богом, как любил говорить Кутузов.

Еще не затихли умноженные эхом леса раскаты казачьего «ура», как Чеченский с частью отряда оказался у распахнутых ворот двора, откуда вылетело около двух десятков всадников.

– Сдавайтесь! – крикнул Чеченский.

Французский майор увидел сверкающие на солнце пики, сабли, будто сорвавшиеся с неба. По деревне раздавались выстрелы.

Майор слез с лошади, отстегнул саблю и положил ее у ног Гнедого. Куча брошенного оружия росла на глазах, когда раскатился выстрел – и молодой подпоручик из свиты майора повалился на землю.

– В висок, – поднял с земли пистолет Михайла. – Ну и дурак.

– Сотник Ситников, объясните рядовому Михайле, что французский офицер предпочел смерть позор у плена, – сказал Чеченский.

Полк вытягивался из Рейхенбаума. Михайла глянул, закручинился: околица была пустынна. И вдруг расцвел: из-за куц придорожной ольхи выбежала дивчина с длинной русой косой, в расписном фартучке. Подбежала к Михайле, что-то, улыбаясь и плача, залопотала на своем птичьем языке, потом, держась за стремя, пошла рядом, как Маруся, провожавшая его из Гребенской в поход далекий.

Михайла, гордый, счастливый, победоносно оглядывался на товарищей по эскадрону: что, мол? А есть ли в Рейхенбауме еще дивчина, которая вот так кого провожает? Нет ни у кого у вас такой дивчины в Рейхенбауме!

Далеко провожала она Михайлу, а потом стояла у дороги и, покуда всем было видно, все махала и махала белым платком.

— Добрая из нее казачка вышла бы, — сказал скупой на похвалы Ситников, и все в эскадроне загомонили. — Только как же Маруся твоя на это посмотрит?

— Эх, станичник, — ответил Михайла, — да разве ж ты не заметил?.. Разе же пригорнула бы меня к сердцу своему эта чудова дивчина, коли не была бы, как две воды, похожа на мою Марусю?

...Через Эльбу переправились завидно. Углубились в лес. Сумерки захороводили. Всю ночь, сверяясь при свете трута, Чеченский вел казаков.

На зорьке к нему подвели местного жителя.

— Зачем бродишь по лесу? — спросил Чеченский.

— Дров собрать, — показал на веревку, перекинутую через плечо. — Ваших у нас полная деревня.

— Наших? Сколько их?

— Не считал. Сотен пять, шесть.

— Майор Мотылев, в разведку! Сотник Ситников, распорядись, пусть казаки помогут немцу дровишек собрать. Заодно отвезут ему во двор, — и немцу: — Проведешь нас в деревню.

– Вам бы лучше в другую, – нахмурился тот.  
– Это почему же?  
– Там больше мяса. У нас уже все поели.  
– Нас не надо кормить. Мы – русские, – засмеялся Чеченский.

– Русские за Эльбой, – недоверчиво протянул крестьянин.

– Мы в самом деле русские. Казаки. Прогоним от вас французов.

– Казаки? Прогоните? – и еще не совсем веря, покорно согласился: – Раз заставляете – проведу.

К деревне, смыкавшейся с лесом, подошли незаметно. Немец несколько ожил, с готовностью отвечал на вопросы.

– В доме с красными ставнями – штаб французов.

– Майор Мотылев, все выходы из деревни перекрыть. Пошли с богом, как любил говорить Кутузов.

Еще не затихли умноженные эхом леса раскаты казачьего «ура», как Чеченский с частью отряда оказался у распахнутых ворот двора, откуда вылетело около двух десятков всадников.

– Сдавайтесь! – крикнул Чеченский.

Французский майор увидел сверкающие на солнце пики, сабли, будто сорвавшиеся с неба. По деревне раздавались выстрелы.

Майор слез с лошади, отстегнул саблю и положил ее у ног Гнедого. Куча брошенного оружия росла на глазах, когда раскатился выстрел – и молодой подпоручик из свиты майора повалился на землю.

– В висок, – поднял с земли пистолет Михайла. – Ну и дурак.

– Сотник Ситников, объясните рядовому Михайле, что французский офицер предпочел смерть позор у плена, – сказал Чеченский.

Выяснилось, что большей части французов удалось уйти. Остаться здесь было опасно, и полк Чеченского, поблагодарив своего проводника, ушел в лес.

\* \* \*

Полк Чеченского, успешно действуя в глубоком тылу неприятеля, поддерживал связь с главными силами, которые вместе с союзниками – Пруссией и Австрией – вновь отбили Дрезден.

– Запрыгал Бонапартий, как карась на горячей сковородке, – услышал однажды Чеченский разговор Михайлы с казаками на бивуаке. – Печет бок – он переворачивается. Тут мы ему другой бок подпаливаем.

У Михайлы на глазах Чеченского юношеский пушок сменился черными усами. Бороду же он недавно начал скоблить, на первых порах оставляя кровавые борозды, кривым обломком булатного тесака, который подарил ему дядько Данила, долечивавшийся в тыловом лазарете.

Михайлу, видно, обдули ветры сильные, закалили морозы, прокоптил пороховой дым. Голос, срывавшийся, бывало, на писк желторотого петушка или переходивший в хрип удавленника, нынче превращался в бас. Михайла по-прежнему надоедал Ситникову бесконечными обращениями: «Станичник, а станичник...». Но в последнее время все стали замечать: даже бывалые, подтрунивавшие в свое время над парнем, часто, слушая его, удивленно шевелили бровями: а парень, мол, дело говорит! Вот и сегодня, после серьезной баталии, на коротком отдыхе вокруг Михайлы сначала оказались казаки из нового пополнения, а затем и бывалые.

– Леща альбо сазана как споймать? На живца? На дохлятину? Прошибка выйдет. Надость насадку добрую – катышек из хлеба. Да не просто хлеб, а с малостью конопляного альбо подсолнечного масла. Нет их – бери льняную олею. Лещ, он склизкий, а сазан – верткий, как гадюка под вилами, как нынче хранц. То в крепости зароется, то хвост кажет, когда его ловим. Как у нас сегодня. Просит наш командир выманить из крепости Толх противника. А кого послать можно на такую серьезную делу? Ясно – майора Мотылева и меня.

– Вас же послали более эскадрона, – сказал кто-то.

– Для крепости нашего с майором тыла, – ничуть не смутился Михайла. – Поскакали мы, значит, на Толх, чтоб к вам в засаду выманить хранца. Кругом – а ни человека, ни животины, одна голая впереди крепостная стена. За ней тренькает колокол, трубы тревожно плачут-рыдают. Из ворот крепости пушку выкатывают – прямо в нас с майором стреляют. Мы с Мотылевым врассыпную. Хранц видит – мало нас, решил полакомиться, как тот сазан мякишем хлеба. Кавалерию из ворот выпустил. Ну мы будто ужасно испужались, ходу! Оглянемся – вроде отстают хранцы, мы придерживаем коней. Догоняют – пришпориваем. Так и взяли их на крючок, в лес заманили. Хранц тырк-пырк, некуда ему деться, кроме как под сабли наши альбо лапки вверх. Попался сазан на кукан, лещ – в пещь. С полк хранцев как и не бывало. Четырех офицеров споймали, табун коней, сабель ихних три фуры...

Спустя три дня Чеченского вызвал Винцингероде:

– Видно, ты в рубашке родился, как говорят у вас в России. Мой рапорт главнокомандующему об ус-

пешных моих действиях с твоим полком, наверное, государю на глаза попался. Иначе чем объяснить, что на тебя затребовали формуляр о службе и достоинствах твоих. А вот и указ о твоём переводе в его императорского высочества лейб-гвардии гусарский полк.

– Ваше... Ваше сиятельство, как же с казаками расстаться?

– Ты, подполковник, не рад? Это какая честь – в лейб-гвардию! Туда же не всякого...

– Знаю, ваше сиятельство. Только жаль расставаться с казаками, с кавказцами.

– Жаль? – Винцингероде внезапно смягчился. – Если жаль, значит, любят тебя казаки. Я люблю свою Вестфалию, Гессен. Это славно, подполковник, любить свой фатерлянд. Я за тебя в гусарах не боюсь.

Чеченский трудно себе представлял разлуку с людьми, с которыми его связывали не только ратные дела, сабля да седло. Он только сейчас понял, как благостны для него были незримые узы с землей Сунжи, Терека, с суровой красотой предгорий, вечно сияющих вершин хребта и самое главное – с людьми, которые сделали первый шаг к его колыбели и которые потом приняли его сердцем: отец, Джума, Николай Николаевич Раевский, Денис Давыдов, теперь вот – казаки...

Трудно сказать, как весть о новом назначении Чеченского достигла ушей казаков, но когда он возвратился от Винцингероде, полк стоял уже выстроенным...

Было за полдень. При полном безветрии флажки на пиках, расчехленное полковое знамя неподвижны, как нарисованные. Дремотная тишина нависла над опушкой леса, над соснами, которые выстроились перед полком, как почетный эскорт на передовой заставе.

– Здравствуйте, родные! – вырвалось неожиданно еще до рапорта майора Мотылева, теперь нового командира полка. К горлу Чеченского подкатился горячий ком.

– Здравжалвашвысбла-а! – раскатилось громом...

Потом, в ночь перед отбытием к новому месту назначения, когда Чеченский прощался с офицерами полка, приходили рядовые. Более всего в душу Чеченского запали слова Михайлы:

– Как же это, ваше высокоблагородие? А ни одного ж земляка у вас в лейб-гвардии не будет, особенно такого близкого, как я. Тяжко без земляков. Неужто про то в штабе главнокомандующего не знают?..

## В ГУСАРСКОМ ПОЛКУ

Пренебрежительный тон, высокомерие по отношению к нему нашел Чеченский при первой же встрече с офицерами лейб-гвардии гусарского полка.

Большая часть из них небрежно козыряла, снисходительно улыбалась – все, однако, с подчеркнутой, утонченной любезностью, с лоском светских львов, которых можно было удивить только знатностью происхождения, несметным богатством, почитавшимся превыше всяких других человеческих добродетелей, да еще – храбростью необыкновенной.

– Может, господа, у вас есть вопросы ко мне? – спросил Чеченский офицеров после краткого представления.

– Бог мой, как им не быть? – растянул рот в любезной улыбке поручик, опершись на шпагу с золотой рукоятью. – Мы вас не знаем, вы – нас. Правду говорят, ваше высокоблагородие, что ваш отряд без боя взял Гродно?



— Правда, — едва сдерживая гнев, ответил Чеченский, потому что в самой манере задавать вопрос, в тоне поручика была скрыта тонкая издевка: сомнительно, мол. — Да этого и не могло не случиться, — продолжал Чеченский. — У меня был прекрасный командир.

— И Дрезден, мы слышали, брали? — явно подражая соседу, спросил подпоручик.

— И это правда.

— Говорят, вы партизанили? — наглед подпоручик.

— А что говорят о вас, подпоручик? — не повышая голоса, ответил Чеченский и вдруг резко приказал: — Встать! Потрудитесь ответить, в каком полку вы служите?

— Как в каком? — лениво поднялся тот. — Помилуйте, об этом все знают.

— Я не сомневаюсь в этом. Но знаете ли вы? Ответьте!

— Я, подпоручик Кайсаров, дворянин, служу, ваше высокоблагородие, в лейб-гвардии гусарском его императорского высочества полку.

— Совсем недавно его императорское высочество отправил из одного гусарского полка в линейные войска лейтенанта, у которого на мундире не хватало пуговицы. У вас двух недостает, левый рукав распорот. Вам не стыдно, подпоручик? Потрудитесь оставить наше собрание, привести себя в надлежащий вид и доложить об исполнении лично мне!

Уничтоженный подпоручик пробкой вылетел за дверь. Воцарилось гробовое молчание, не скоро нарушенное чьим-то шепотом.

— Какой с партизана спрос? Из пистолета пах-пах! — скорее ноги в лес. Это храбрость?

– Без мужицкой бороды бывает партизан? – еще чей-то смешок.

Чеченский собирался ответить, но понял: здесь словами не убедишь. Спросил:

– Все офицеры явились?

– Майора Ржевского нет, – ответил тот, что прошелся по адресу партизанской бороды, и хоть не требовалось высказывать свое личное мнение о майоре, сказал: – Товарищ прекрасный, смелый воин, мы полюбили его.

– Спасибо, поручик, за лестный отзыв о майоре. От него я ничего другого и не ожидал. А вот и он, легок на помине.

– Ваше высокоблагородие, по вашему вызову, – вытянулся у порога Ржевский.

– Здравствуй, дружище, – Чеченский пошел на встречу, обнял товарища.

– Здравствуй, поздравляю! Я ушам своим не поверил, когда услышал, что тебя к нам. Опять вместе? Не расстанемся боле? Клянусь! Разреши – я два слова собранию. Господа офицеры, извините, забыл даже поприветствовать вас. Но чего не забудешь, когда встретишься с давним приятелем. На Кавказе вместе служили. Война разлучила и Денис Давыдов. Жалею об одном: о том, что знаменитый партизанский командир не похитил заодно с Чеченским и меня.

– Представление, кажется, состоялось, – улыбнулся Чеченский. – Теперь приступим к делу, господа офицеры. Штабом командующего нашему полку приказано взять в Вестфалии Оснабрюк. Нам придаются три казачьих полка. Воевать придется по партизански, – в насмешку прищурил глаза. – Оснабрюка нам не взять, если будем ждать, когда у каждого из нас отрастет мужицкая борода. Выступать немедленно.

Оснабрюк, город древний, ровесник мощей апостола Германии Бонифация Винфрида, более всего прославился окороками. Их не могли затмить ни знаменитый орган католического собора, основанного Карлом Великим, ни домны, в изобилии выплавлявшие железную руду для пушек.

Дорога в Оснабрюк пролегла по живописной красивой долине реки Гааза. По одной стороне долины тянулись Тевтобургские, по другую — Везерские горы.

Чеченскому здесь все напоминало Кавказ, но в чем-то ненастоящий. Лес по излучинам Гаазы, на склонах гор, с липами, соснами, березами, в зарослях хвощей, папоротников, был такой же, как в многочисленных долинах Кавказа. А вот располагался он здесь на карликовых горах. Тучи на Кавказе обычно ползли по склонам заоблачных гор, из бездонных ущелий. Тут проносились высоко в небе легкими пушинками. Грозой, снегом, вьюгами не пахло.

Оснабрюк открылся высокими остроконечными, как крутые пики гор, красными крышами, серебряными шпилями, крестами церквей, позолоченной главкой ратуши.

Пушинки облачков в небе чувствовали себя безмятежно. Над утренним Оснабрюком крутились мирные дымки. С высокой сосны Чеченский видел открытые ворота в город. Несколько солдат под большой кроной дуба играли, видно, в карты. По улицам города прохаживались мирные обыватели. Офицер-француз, молодцевато подкручивая усы, спешил за молоденькой девушкой, левую руку которой оттягивало ведро. С дороги, с Везерского перевала, спускался отряд всадников. Вот он миновал долину и беспрепятственно проследовал в ворота. Стало ясным: о близости русских в городе не подозревают.

– Гостеприимные хозяева, – засмеялся Ржевский. – Ворота держат нараспашку.

– Радуйся. И да поможет нам бог, а всего более сабля гусарская. Диспозиция такая. С первого абцуга...

Они недолго совещались. Потом Чеченский подал команду:

– Марш-марш, майор Ржевский!

Два эскадрона Ржевского, не стряхнув с себя походной пыли, направились к воротам Оснабрюка. Вот они поравнялись с часовыми. До заветных ворот саженой десять. Ржевский мурлычит французскую песенку.

– Чего развылся, как мартовский кот? – оторвался от карт француз.

– Это ты мне, офицеру, – сердито отозвался Ржевский. – Марш доложить караульному офицеру: в Оснабрюк прибыли два эскадрона гусаров. Да пошире ворота открой, невежда! Дисциплины нет! Обленились, как лемуры, здесь в тылу! А враг может быть у ворот!

Солдат, пожилой, грузный, трусцой добежал до караульного помещения.

– Ваше благородие, кавалерийский офицер требует открыть пошире ворота.

– Ну и открывай, болван. Не видишь – я занят, – офицер с аппетитом поглощал жареные шампиньоны в сметане. – Я сейчас выйду.

За дверью раздался какой-то шум. Офицер открыл дверь – глазам его предстала кошмарная картина: русские хозяйничали в воротах, взбирались по внутренней крепостной стене к батареям, скакали по всему открытому перед воротами пространству.

– Боже! Откуда? – он отстегнул саблю и молча протянул ее подскакавшему молодому поручику.

– Пушку! Катите пушку! Картечью заряжай! – танцевал Чеченский на Гнедом с затравкой в руке.

По городской площади бежали контратакующие французы. Чеченский поднес затравку к запальнику. Первые ряды французов скосило, остальные в паническом страхе при виде казаков и гусаров бросились бежать.

– Вперед! Не дать врагу опомниться! Пушку! Пушку вперед!

– Командира ранило! – раздались тревожные клики...

– За семнадцать лет службы первый раз. Вот Ржевский, как бывает. Но мы еще повоюем. Как, лекарь? – обратился он к пожилому эскулапу.

– А чего? Кость царапнуло малость, – он уже приладил фланелевую перевязь через шею для руки, задетой вражеской саблей.

– Командир-то наш... О! – говорили гусары после боя.

– Раненых у нас мало. Убитых вовсе нет. Так я согласен брать неприятельские города хоть каждый день, – сказал подпоручик, у которого при первом знакомстве с Чеченским недоставало на мундире двух пуговиц.

Особенно же были довольны сами оснабрюковцы. Боже, как они ненавидели Наполеона! И как верили, что с приходом русских наконец-то их Вестфалия навсегда останется независимой, свободной.

Потом лейб-гвардейцы приняли участие в битве за Лейпциг.

Из центра Лейпцига по его радиусам далеко за пределы города Наполеон искусно ткал паутину оборонных и наступательных сооружений. На улицах устраивались ретраншаменты и – даже по опыту революционных парижан – баррикады.

Войска у Наполеона было тысяч на сорок, а то и на пятьдесят меньше, чем у союзников, но это императора не смущало. Он неколебимо верил в свою удачливую звезду... Вера эта подкреплялась тем, что союзники действовали, как разлаженный оркестр, что немцев он не раз колотил. Опасения не вызывали даже хорошо обученные богемские войска, только что примкнувшие к союзникам.

Середина октября была дождливой, намесила грязь. К утру грязь подмерзла. Начался мелкий, надоедливый дождик. Только его шуршание, как ночная возня тараканов у квашни, и слышалась.

Пушечная дуэль как сигнал к сражению, получившему впоследствии название «битвы народов», сгустила над Лейпцигом туман.

И уже не дождик шуршал, а повизгивали, грохотали гранаты, ядра. Над землей тяжелыми, мокрыми волнами заколыхался вместе с туманом пороховой дым. А в этом пороховом дыму начали проступать ряды французской пехоты. Волна за волной. Они двигались молча, штыки жалами пушечных затравок поблескивали в рассеивающемся тумане, готовые обогреться кровью.

И падали, волна за волной под губительной картечью, в рукопашных схватках.

Прошел день первый.

На второй – все началось сызнова. В самом центре фронта гренадеры Раевского, того самого, о котором Наполеон сказал: «Из таких генералов делают маршалов», – ценою большой своей крови сдерживали штурм цвета наполеоновской гвардии – кирасиров. Пуля пробила шею Раевскому. Рану тут же в траншее забинтовали, а чтобы солдаты не видели немощи своего командира, поверх бинта шарф шерстяной приладили, связанный Екатериной Николаевной. Кирасиры усилили нажим.

– Братцы-гренадеры! – крикнул генерал. – Выдюжим!

Гренадеры выдюжили. На поле еще ужаснее загрохотало. На кирасиров налетела тысяча казаков и гусаров. Земля застонала, заохала. И в клубах порохового дыма, пыли, в тусклом сверкании сабель французы пропали.

– Ваше сиятельство! – спрыгнувший с лошади гусар-подполковник заключил Раевского в объятия. – Вы ранены?

– Саша, дорогой, вот и свиделись. А что с твоей рукой?

– В Оснабрюке поцарапало. Драться можно.

– Спасибо тебе, что ты вовремя подоспел. Догоняй кирасиров.

– Их, крестный, уже не догонишь. По всему видно: Наполеон отступает.

Французский император и в самом деле, как вскоре узнали, укатил в Париж набирать новое войско.

Русское командование настаивало на переходе союзной армии через французскую границу. Австрийцы и англичане предлагали заключить мир с Наполеоном.

– Мир будет подписан только в Париже, – ответил Александр I.

## **В НИДЕРЛАНДАХ**

Русского декабря в Австрии и Пруссии, наверное, никогда не бывало. О вьюгах, о снежных бурях, которым, видно, нужен простор российских равнин, здесь имели такое же представление, как о тропических ливнях или испепеляющем зное пустынь. Здесь редко срывался снег, Эльба не заковывалась в ледяную броню, птица-лебедь не искала юга,

потому что вода в озерах не замерзала. Если же иногда ураган рвал с корнями столетние деревья, сносил крыши домов, разваливал кварталы городов, то это было следствием ураганов с Атлантики.

Да, здесь не было русских вьюг и буранов, не было и сражений таких, какие разыгрывались на русских равнинах против «бича божьего» Аттилы, Чингисхана; крестоносцев, «двунадесяти языцы».

Об этом и многом другом говорили Ржевский и Чеченский, отдыхая в небольшой немецкой деревушке. Дом, в котором они жили, был добротным, из кирпича. В камине потрескивали жаркие поленья, и света его было достаточно, чтобы не пронести ложку мимо рта. Лампу не зажигали, хотя была ночь.

– Бог мой, – сказал Ржевский, – кто только не зарился на нашу землю, а Россия стояла и будет стоять!

– Ты не сказал почему.

– Земли своей держимся. А другие – им чужой земли подавай. Кто учиняет разбой в Индии, Африке? Беззащитных, слабых седлают. Каждый храбрец против овец, а против молодца – сам овца. Что Англия, что пруссаки...

– Союзники наши.

– А чего ж они не союзничали без нас против Бонапарта? Они и теперь норовят за нашей спиной прятаться. Границы Франции робеют переступить... Мелкие стычки, пустые перестрелки. Тьфу! Да разве ж так воюют? Когда в Париже будем?

Чеченскому тоже в Париж хотелось. Может, Софью встретит... Он верил: при последнем вздохе перед гаснущим взором ему явятся самые дорогие для него картины, образы: отца, Алдов, Николая Николаевича, Каменки, Митрича, Софьи...



Он представлял ее себе в Париже. Расскажет ли ей маркиз о смерти ее отца? А может, они, супруги де Русско, счастливы. И не надо, чтобы этому счастью помешала загробная тень отца? Скрыть от Софьи то, что произошло на Всполие? Если правда о смерти отца будет угрожать ее жизни?..

Наступление для полка Чеченского все-таки началось. Главнокомандующий Барклай приказал отправиться в Нидерланды. Там на слиянии рек Марка и Аа в провинции Северный Брабант гусарский полк, объединенный с тремя казачьими полками, штурмом брал крепость Бреда.

– Не люблю брать крепости, – сказал после первой неудачной атаки Чеченский. – Вокруг глубокие рвы с водой, стены отвесные, башни как скалы. Лоб разбивай о них. То ли дело – в степи открытой, на просторе. Из укрытий, из-за угла, из-за крепостных стен неприятель видит меня, а я его нет. Честный бой?

С рассвета до нового рассвета пушки безуспешно долбили крепостные ворота. Французы, окрыленные успешной, как им казалось, обороной, всеми силами сделали вылазку.

Нидерланды – страна геест – изобиловала вересняком, заболотью, скудной растительностью. Вот по такой земле, открытой штормовым ветрам моря, и рвались в атаку французы. Казакам и гусарам того и надо было. Они ответили сабельной лавиной. Французы ринулись к спасительным воротам, сшиблись в огромном скоплении. Восставшие жители Бреда закрыли перед ними ворота. Неприятель начал сдаваться в плен.

Жители Бреда, в основном фламандцы и валлоны, с радостью зазывали к себе победителей, открыли двери многочисленных лавочек, ресторанов, танце-

вали с русскими, угощали вином, окороками, пели песни, в которых прославляли свою землю и ненависть к завоевателям – французам.

Чеченский и Ржевский бродили по улицам, и жители с готовностью показывали им свой готический собор с роскошной гробницей Энгельберта II, графа Нассауского, основателя крепости Бреда, и его супруги. Побывали друзья на канале, который соединял крепость с рекой Маас, посетили старинный замок, каменные стены которого и в декабре зеленели от мха.

Потом гусары участвовали во взятии крепости Виллемштадт. Без пушек, без рубки саблями, без единого ружейного выстрела.

Полк расположился на бивуаке в виду крепости. Чеченский думал, как подобраться к ней. В это время от острова, на котором находилась крепость, отделилась и быстро стала приближаться лодка с тремя военными.

На сушу выскочил французский капитан и... попятился:

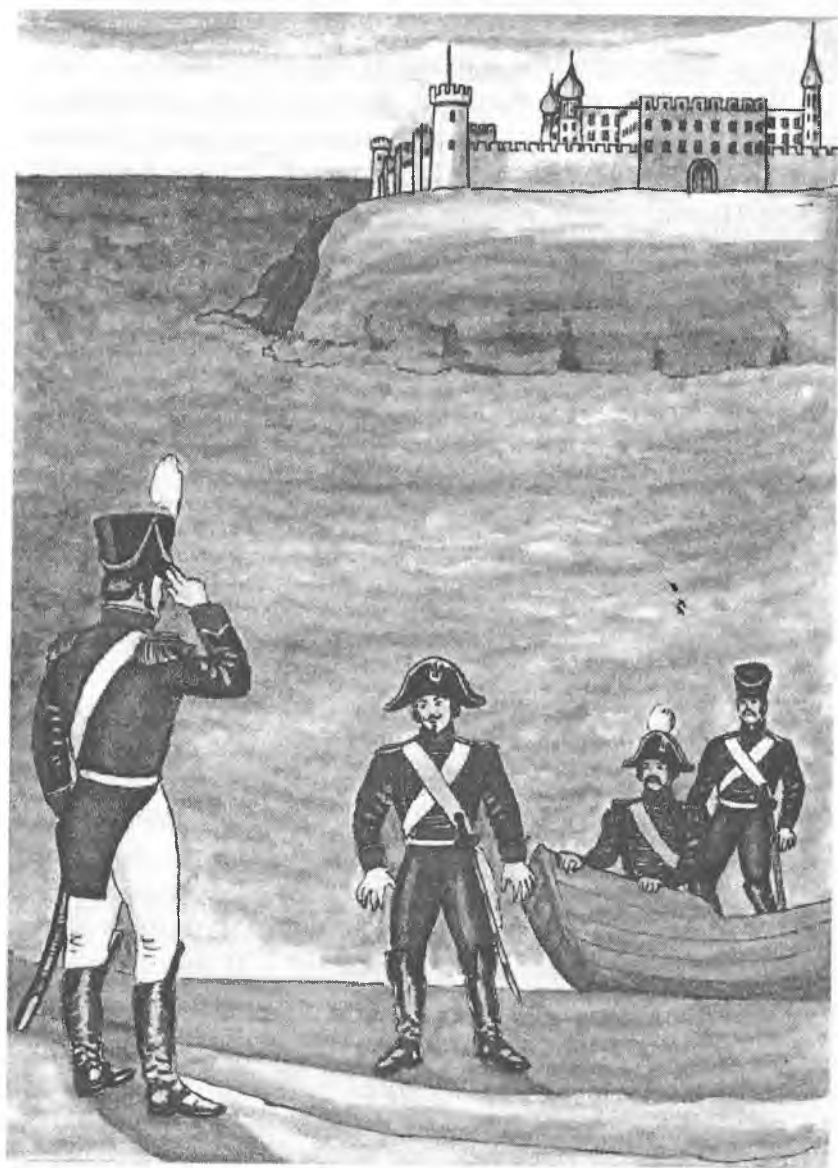
– Русские?

– Мы без приглашения. Надеюсь, вы нас за это извините? – Чеченский учтиво поклонился, чем привел капитана в полное замешательство. – Имею честь представиться: подполковник лейб-гвардии гусарского полка Александр Чеченский! – И два пальца к киверу.

Вконец растерявшийся капитан только глазами хлопал, потом тоже поприветствовал.

– Мы... Нас...

– Отставьте, капитан. Не старайтесь припомнить ваше имя: вряд ли оно потребуется для истории Франции. Если вы хоть что-то в состоянии понять и запомнить, выслушайте меня. Давайте условимся, что



мы приняли вас за парламентаров: русские требуют ключи от крепости.

– Ключи требуют русские, – машинально повторил капитан.

– Передайте, пожалуйста. Может, в вашей крепости не осведомлены, так пусть знают, что Наполеон сдал ключи от Лейпцига, Данцига, Штеттина, Торгау, Модлина, Эрфурта... Перечислять еще?..

– Достаточно. Неужели это правда? Ужас!

– Да, да.

– Лейпциг, Данциг, Штеттин...

– Хватит, капитан, я убедился – запомнили. Отправляйтесь и постарайтесь привезти нам ключи. В противном случае – штурм!

Время тянулось медленно. Чеченский уже начал нервничать, когда вновь от крепости отделилась лодка.

– На каких условиях сдача?

– Хвалю за благоразумие. Наши условия: лодки, парусники, запасы продовольствия и все добро, что в крепости – нам! Вам: все уходите с личным оружием. Часа вам хватит? Ну, вот и договорились.

\* \* \*

С берегов реки Энь австрийские войска в панике подались к городу Лаон. Им на пятки наступал Наполеон с семидесятитысячной армией. Спасать австрийцев бросились четырнадцать тысяч русских под командованием графа Воронцова. Полк Чеченского, приданный Воронцову, пошел в атаку. В пылу боя Чеченский, как всегда, всей картины боя не видел, увлекался сражением и увлекал за собой других. В память его врезались оскаленная морда лошади, всплеск сабель, чьи-то вылетающие из орбит белки глаз...

В третьей атаке Чеченский услышал хриплый возглас Ржевского:

— А-а, не уйдешь! Теперь не уйдешь!

После атаки он страшно ругался:

— Я же его, дьявола, почти доставал саблей. Увернулся, волчья сыть, спину мне показал!

— Кого честишь так? — спросил Чеченский.

— Маркиза де Русско.

— Маркиза?

— Что-то он часто от нас уходит.

— Уж не жалеем ли мы его? Ты сказал: показал спину.

— Дрался он отлично, рвался ко мне. Мне кажется — он видел тебя. Смотрел в твою сторону. Я его почти достал. Он увернулся. Тут французы побежали и увлекли его за собой.

\* \* \*

Хоть русские, вслед за австрийцами, оставившими их один на один с малыми силами против большой армии врагов, в конце концов и отступили к Лаону, Наполеон был мрачен. Как за стенами Кремля. Как под Малоярославцем, когда потребовал дать ему флакон с цианистым калием.

Угрюмый блуждающий взгляд императора надолго задерживался то на Энь, наполненной, казалось, мраком бездны, то на холме, на котором высился лаонский с массивными круглыми башнями древний собор. У оснований башен, по склонам башен и холма, сплошь крыши серо-голубоватые в утреннем тумане, как латы кирасиров.

Наполен устал. Не от сражений. От ожидания чуда. Он ждал его каждый день, начиная с поспешного бегства из Москвы. А его все не было. И, самое ужасное, он предчувствовал: его не будет. Он пощу-

шал карман и облегченно вздохнул: флакон со спасительным для него ядом на месте.

Ожесточенные бои под Лаоном не прекращались сутки. На вторую ночь, при луне, под несмолкающий грохот неприятельских пушек гусарский полк Чеченского с казаками Платова погнал французскую пехоту. Чеченского ранили в руку и ногу, но поля боя не покинул, за что и был награжден орденом Анны с бриллиантами. Получил чин полковника.

В начале марта при Арси-Сюр-Об, в департаменте Об, на Наполеона дохнул ужас окончательного поражения. Его спасли только нерешительные действия австрийского фельдмаршала Шварценберга. Он возглавлял объединенные силы союзников. Сами австрийцы деликатно называли эти действия осторожными.

Наполеон оттянул остатки своей армии к Парижу. Агония, начавшаяся для него в Бородинской битве, приближалась к концу.

## В ПАРИЖЕ

Последний парижский бой был для французов бессмысленным. Наполеону следовало бы выбросить белый флаг. Сделать это ему не позволяла его гордыня, его неколебимая вера в свою непобедимость.

Генерал Раевский, штурмовавший департаменты Роменвиль, Бельвю, смотрел с жалостью на Париж, опоясанный огнем, громом. Над всем этим голубело мартовское небо.

Чеченский находился в нежилом доме. Рядом в роще были нерасседланные лошади. Сами гусары время от времени постреливали из окон с выбитыми стеклами.

В ночь на четырнадцатое марта 1814 года по парку в Фонтенебло – старинной резиденции французских королей – двигалась карета. Черная, как сама беззвездная ночь, как по сторонам дерева, как лошади в упряжке и под всадниками, сопровождавшими карету. Черными силуэтами проплыли Овальный двор, Белая лошадь... Мрачная процессия с каретой, больше похожей на погребальный катафалк, выехала за Фонтенебло на дорогу, ведущую в Париж.

Впереди – непроглядная темень, чернота. Стук копыт приглушен землей. Карета скрипит, кренится, вот-вот упадет на выбоине. Ни команд, ни живой человеческой речи.

Но вот впереди что-то произошло. Процессия остановилась. К карете подскакал черный всадник.

– Сир! Сир! Париж пал!.. Маршалы... – и зарыдал... Лошадь под всадником замертво рухнула. Пассажиру кареты показалось, что с нее срываются черные хлопья мыльной пены.

– В Фонтенебло! – приказал хозяин кареты.

И снова ждал, как в Москве, с той разницей, однако, что теперь он готов был признать свое поражение, заключить мир на любых условиях, лишь бы ему сохранили трон.

А русский царь торжествовал. Сбылась его мечта! Он въезжает на коне в Париж! Да на каком коне! Подарок маршала Коленкура императору России после Тильзита! В стойле царском холили, берегли именно для такого случая: знать бы маршалу, какую злую шутку в истории сыграет его подарок!

Александр Чеченский в новом мундире, с золотым аксельбантом, с вензелями на эполетах, по приказу Винцингероде находился в свите государя. Тор-

жественное шествие готовилось в Бондийском лесу, где находилась ставка Александра I. Здесь Чеченский повстречался с Раевским Николаем Николаевичем, с Денисом Давыдовым, со многими другими своими друзьями.

Почетный эскорт царя, рядом с которым был прусский король, состоял из прославленных генералов, высших офицерских чинов, лейб-гвардейцев, казаков, всех родов войск. По шесть в ряд. Две тысячи всадников. Артиллерия с медными пушками, начиненными до блеска золотых церковных куполов...

На всем пути торжественного шествия – сплошной коридор из войск и непрерывный гром: «Ур-ра! Ур-р-ра! Слава!».

Развевались победные знамена, оглушала музыка.

Боже! Как Александру I хотелось лавров Александра Македонского, Юлия Цезаря! Он сиял, весь в звездах, лентах, бриллиантах, с золотыми толстыми эполетами, в белоснежном колете, в шляпе с плюмажем и роскошным султаном – павлин, да и только! В его руке блестела обнаженная шпага, словно он собирался ею кого-то проткнуть.

Чеченский не раз видел вблизи царя. Но таким, как сегодня, – впервые. Когда мэр столицы у Понтенских ворот поднес на золотом блюде ключ от Парижа, на лице царя многие отметили смесь чувств: самодовольства, торжества, наконец-то осуществляющегося отмщения. Вот, мол, я пришел сюда, а тебя, Наполеон, видеть не хочу!

Накануне в Бондийский лес прибыл маршал Коленкур сказать русскому царю: «Сир! Император Наполеон недоволен тем, что переговоры о мире ведутся не с ним, а с Бурбонами». Александр I не принял Коленкура.



Сласть мести – чаша полная. Он с наслаждением осушал ее.

Парад победителей состоялся на Елисейских полях. Александр I как триумфатор гарцевал на скакуне Коленкура, озирает море людей. Они забили улицы, разноцветными гроздьями размещались на балконах, висли из распахнутых окон, усеяли крыши домов. Весь Париж был на Елисейских полях. Шумели, развевались знамена победителей, а на балконах, на деревьях – белые с лилиями флаги Бурбонов.

Чеченский, захваченный общей атмосферой праздничности, любовался золотом и серебром парадных колонн, ликующими кликами, заглушавшими полковые и армейские оркестры, был по-настоящему счастлив, потому что закончилась тяжелая кровавая страда. Но чего-то все-таки ему не хватало.

Только спустя некоторое время он понял – чего.

Хмель победы еще кружил голову. Уже была подписана конвенция о прекращении военных действий между союзниками, с одной стороны, и Наполеоном – с другой. Весь мир перемывал косточки бывшего императора Франции и страшно удивлялся, что на него не подействовал цианистый калий, принятый им после отречения от престола. Объяснялось же это просто: яд, заготовленный для него впрок еще под Малоярославцем, после которого смерть наступает через пятнадцать секунд, потерял свою силу из-за долгого хранения.

Парижские буржуа, готовые ради наживы черту душу собственную продать, гостеприимно распахивали перед победителями двери питейных заведений и вертепов.

Как-то Чеченский и Ржевский попали на Палероаль – злачную для прожигателей жизни клоаку Парижа. Это огромное здание с аркадами на первом

этаже, с внутренним садом, с большим количеством фонарей, которые не гасли даже днем, пользовалось, несмотря на свой респектабельный вид, дурной репутацией. Гвалт стоял здесь оглушающий. Торговали ювелиры, зазывали чистильщики обуви. Здесь стригли, брили, раздевали, одевали, опустошали с ловкостью шулеров кошельки.

Друзья поднялись на галереи второго этажа Пале-Рояля, миновали игорные залы и зашли в ресторан. Над ее входом красовалось изображение петуха, голову которого покрывал галльский красный колпак. В ресторане дым стоял коромыслом, в нос били удушливые запахи жареного мяса и лука. Свободных столиков не оказалось.

– Господа, не угодно ли? Места свободны, – раздался приятный голос из темного угла, и Чеченский увидел молодого поручика пехоты.

– Спасибо, поручик, мы уже собрались уходить, – поблагодарил Чеченский.

Выпили клико, закусили спаржей и пуляркой. Поручик молчал. Но вот слово за словом, разговорились.

– Парижане не унывают, веселятся напропалую, – сказал Ржевский.

– Я, если позволите, иного мнения, – живо откликнулся поручик, глядя на офицеров ясными серыми крупными глазами. – Вы думаете, парижане похоронили Наполеона и без ума от Бурбонов, одному из которых они не так уж давно отрубили голову? Думаете, они разберут Вандомскую колонну и начнут строить новую Бастилию? Парижане еще не остыли от революции девяносто третьего года.

– Bravo, поручик! Уж не якобинец ли вы? – спросил Ржевский.

– Даже не прозелит якобинцев, но страшно им завидую. На чем, бишь, мы остановились?

– На том, что парижане не остыли от революции девяносто третьего года, – ответил Чеченский.

– Да, да. Я, господа, – в тоне поручика было что-то неистребимо штатское, даже в форме обращения к собеседникам. – Я был свидетелем того, как австрийские солдаты стаскивали с Триумфальной арки квадригу. Ее Наполеон вывез из Венеции по праву пирата. Теперь в роли пиратов выступали австрийцы. Вот полюбуйтесь, господа, – он вытащил из сумки кусочек металла. – Что это? Обломок вензеля Наполеона с той квадриги. Мне ее дал на память австрийский солдат. Когда я спросил его, зачем они рушат квадригу, то услышал в ответ: «Мицу за свой позор. Ведь Наполеон нас побеждал...». Но, спрошу я вас, разрушать – достойно ли это победителей? С Вандомской колонны сбросили статую Наполеона, и теперь там ветер треплет знамя Людовика. А как победители обращаются с самими парижанами, с французами?

– Ну, поручик, это вы зря, мы с французами – по-человечески, – ответил Ржевский.

– Я говорю о пруссаках, об австрийцах, – нетерпеливо и даже несколько невежливо перебил юноша. – Вы в Лувре видели Венеру Медицейскую, Лаокоона с сыновьями, статую Аполлона Бельведерского? А сына Латоны – победителя змея Пифийского? Вид его полон божественного величия, и всюду сияет вечная юность и красота, сила неборимая и мужество. Все подчеркивает спасителя обитателей дельфских!..

– Да вы поэт, – воскликнул Чеченский, любуясь вдохновенным выражением лица поручика, из некрасивого ставшим красивым.

– А вы знаете, что с этими изваяниями, как и с прекрасным собранием луврских картин, происхо-

дит? Они из Лувра исчезают! Их воровски увозят в Пруссию, в Австрию! Позор!..

Гусары с жадностью внимали пылкой речи юноши и не сразу обратили внимание на шум, который нарастал в ресторации. В середине зала замелькали разгоряченные лица, руки.

Патруль национальной парижской гвардии и отряд английских солдат энергично разнимали дерущихся прусских солдат и французов. Порядок постепенно водворялся. У стены две девушки вытирали французскому офицеру кровь, сочащуюся из рассеченного лба.

— Господа, давайте пригласим его, — предложил юноша. Тот враждебно обернулся, готовый бросить какую-нибудь дерзость, но, увидев, кто его приглашает, молча приблизился, слегка поклонился:

— Что вам угодно, господа офицеры?

— Просто посидеть с нами. Успокойтесь, — сказал приветливо поручик. — Вам, французам, больше спокойствия нужно.

— Мы спокойны, — ответил француз. — Сколько можем. Но союзники ваши скоро выведут нас из терпения. Мы французы!

— Я русский. И вы напрасно говорите мне...

— Затем-то я и говорю, что вы русский. Я говорю другу, ибо ваши офицеры, ваши солдаты так не обходятся с нами. На языке оружия они ведут разговор с нами только на поле боя. А союзники ваши — кровопийцы! Чего хотят они от нас? Разве еще недовольны бедствиями Франции, что надругиваются над священнейшим сокровищем нашим — честью? Кто мы? Рабы, что ли, ваши? — глаза француза, подернутые слезой обиды, пылали.

Юный поручик встал и неожиданно для всех обнял и поцеловал француза. В ресторации заплодиро-

вали. Офицер разрыдался, а поручик все успокаивал его:

– Полно, полно, прошу вас...

Тот никак не мог успокоиться и его увели. Чеченский увидел, что бедняга был на деревяшке – без левой ноги. Впалую грудь парижанина украшали легион чести и орден святого Людовика.

– Вот они – истинные французы! Вы их видели, господа, – сказал восторженно поручик.

И лишь теперь Чеченский понял, чего не хватало на Елисейских полях, когда церемониальным маршем проходил парад, возглавленный новоявленным триумфатором Александром I. Там парижане не разделяли радости победителей. Они молчали. И не потому, что боготворили Наполеона. У них этого вовсе не было!

И как бы подслушав Чеченского, поручик сказал:

– А знаете, наш царь после парада на Елисейских полях остался недоволен парижанами. Говорил, что они не приветствовали его, что заражены не Бонапартом, что каждый из них Робеспьер, якобинец, а потом уже парижанин. Но что он из них выбьет дух вольнодумства. И крамолу пресечет везде – будет она в России, во Франции или Испании. Парижан, однако, не переделать. Они попробовали, что такое революция. Как, извините, Ева и Адам яблоко с древа познания и добра.

– И вот тот француз познал яблоко? – Чеченский показал на хозяина ресторации, возвышавшегося за стойкой, краснощекого, пышущего здоровьем.

– Нет, яблокам он предпочитает золотые русские импералы, английские фунты стерлингов, золото вообще. Тому все равно – что Наполеон, что Людовик, лишь бы доход был. Если у вас есть деньги, да

к тому же вы неразборчивы в желаниях, он вам все предоставит: артишоки и... Знаете ли вы, что этот ресторатор на верхних этажах Пале-Рояля содержит парижских лаис? Красота некоторых чрезвычайна. Но берегитесь этого обиталища разврата и пороков!.. Клоака!.. Ну, мне пора, господа, — поручик неожиданно поднялся. — Честь имею, господин полковник! Честь имею, господин майор! — козырнул неумело и ушел.

— Прекрасный, с пылким характером юноша, чистый, — сказал Чеченский. — Черт возьми, а ведь мы с ним не познакомились. Какая жалость...

Минет более десяти лет, и он о нем услышит...

Живя в Париже, Чеченский не терял надежды встретиться с Софьей. Он исходил все департаменты города, набережные Сены, заглядывал через чугунные решетки богатых особняков, оглядывал толпы молящихся в знаменитом Нотр-Даме, смешивался с толпой гуляющих у Триумфальной арки, на Елисейских полях, Аустерлицком мосту, забирался на острова Сан-Луи, Сито, блуждал по лабиринтам темных переулков старинного квартала Муз, небезопасного для жизни. Многих спрашивал, не знают ли маркиза де Русско. Но здесь даже спустя век нельзя было узнать адреса любого парижанина, кроме короля: не было учреждений, которые занимались бы регистрацией горожан.

Чеченский уже отчаялся. В последний раз перед отъездом в Россию шел с Ржевским по набережной Сены. Друзья обменивались мнением о судебном процессе, который роялисты устроили над маршалом Неем. Гадали, осмелится ли палата приговорить к смертной казни прославленного наполеоновского маршала герцога Эльхингского, князя Московского; о таинственном бегстве из парижской тюрьмы Лавал-

летга – родственника Наполеона, в котором по странной случайности принял участие британский королевский комиссар сэр Вильсон, за что и угодил на скамью подсудимых...

– Не может быть! Саша!

Чеченский оторопел. Кто может кричать вот так по-русски? Здесь? Женский голос. Он огляделся – женщина под вуалью вырывала руку у мужчины:

– Пусти! Ну пусти же!

– Нет, – ответил мужчина. Это был маркиз де Русско.

– Софья! – Чеченский порывисто шагнул, но тут же остановился, поняв, что не имеет права этого делать. Маркиз между тем продолжал тянуть Софью за руку.

– Саша, приходите к нам в гости, – она назвала свой адрес.

– Ты с ума сошла! Какие еще гости? Из орды Чингисхана?

– Мы не придем. Мне достаточно и того, что я хоть так увидел, услышал тебя. Что касается господина маркиза, надеюсь, он не откажется от встречи со мною. К тому есть важная причина.

– Одну минутку, маркиз, – выступил вперед Ржевский. – Всего на два слова.

– Мне нечего скрывать от жены. Говорите при ней.

– Вы вынуждаете меня и будете жестоко наказаны... Ваш приказ в Москве расстрелять...

– Что? – побледнел маркиз. – Какой приказ? Отойдемте, – он оставил Софью.

– Ну вот мы и свиделись, – первым нарушил молчание Чеченский. – Ты счастлива?

Софья, казалось, не слышала его. Откинула вуаль, щеки ее горели, прекрасные дорогие глаза были





наполнены слезами, с ненасытной жадностью оцупывали лицо Чеченского. Руки нервно теребили края пелеринки.

— Не изменился. Все такой же. А я старею. Правда же — старею?

— Для меня ты всегда та же, какой я видел тебя в первый раз. Ты не забыла Каменку, Петербург?

— Забыть это? Забыть здесь, на краю света? Сколько ужасных изменений! Я здесь. От московского дворецкого получила известие: папу моего за поджигателя приняли. Расстреляли. Ужас. Боже, чего это я о себе да о себе? Я же ничего не знаю, как ты жил!

— Воевал.

— Не женился?

— Служу в армии.

— Прости меня, Саша. Мы еще свидимся. Я уговорю мужа. Ты должен побывать у нас. Ты не откажешь мне? Я все, все хочу знать о тебе.

— Счастлива ли ты?

В это время подошел Ржевский и маркиз. Де Русско явно был растерян, мрачен, на скулах подергивались желваки. Он молча взял Софью под руку, не дал ей даже попрощаться.

— Не забудьте, — крикнул Ржевский, — завтра в десять у аббатства Сен-Дени!

— Майор, — обернулся маркиз, — вы задеваете честь мундира офицера французской армии! Вы оба ответите за это кровью!..

— Боже! Боже! Что вы еще затеяли? Какая еще кровь? — остановилась Софья.

— Дорогая, не вмешивайся в мужские дела, — повлек ее маркиз.

— До свидания! — крикнула Софья. — Приходите завтра.

Александр смотрел на удаляющуюся Софью, пока она не скрылась за мостом через Сену.

– О чем ты с ним говорил? – спросил Чеченский.

– Дуэль. Я ему сказал все. Ты, думаешь, он не оправдывался? Я ему: «Подло стариков убивать», а он: «Убить на войне – подлость?» – «А если я расскажу вашей жене?» – «Нет, нет, – задрожал. – Дуэль. Надеюсь, если я буду убит, вы все равно не станете рассказывать ей... Ну, что было на Всполье... Вы же не захотите ее этим убить?» Завтра я его застрелю.

– Стреляться буду я. И за Софью, и за Зоринова...

– Но если он тебя? Свят, свят, свят! – Ржевский три раза плюнул через левое плечо. – Я разряжу в него свой пистолет.

– В таком случае тебе тоже потребуется секундант.

– Думаю, Денис Давыдов подойдет.

Может, тысячу лет назад, когда в Булонском лесу не было аббатства Сен-Дени, здесь пролегалла дорога, извилистая, узкая – двум телегам не разминутся.

Три всадника торопились по ней в полусумраке деревьев. Топор и заступ цивилизации еще не изувечили леса просеками, не вытянули по шнурам аллей и дорог. Все сохранялось в первозданном виде. Дорога была то рыжей от опавшей хвои, то вилась желто-красным ковром. Начинался листопад.

Впереди сверкнуло озеро. Оно омывало крепостную высоченную стену с бойницами в ней. А за нею возвышались башни, здания, одни – с синими крышами от подмешанного в черепицу свинца, другие – красночерепичные, словно обсыпанные тлеющими угольями.

– Аббатство Сен-Дени, – сказал один из всадников. Это был Ржевский. – Кажется, мы не опоздали.

– Значит, их будет двое. А нас трое, – сказал Давыдов. – А кто же будет моим секундантом, если вам не повезет? Александр, мой приказ тебе, как бывшего твоего командира: не промахнись!

– Есть не промахнуться, – улыбнулся Чеченский.

Они остановились на травянистой поляне под сенью кленов.

Вскоре приехал маркиз со своим секундантом, тощим как мумия, господином средних лет.

Потом все было, как на всякой дуэли. Ржевский с секундантом маркиза отмерил шагами дистанцию, по жребию вручили пистолеты, прежде проверив, заложены ли в них пули, условились стрелять по команде секунданта маркиза и наконец развели дуэлянтов по местам.

На вершине клена, у подножия которого стоял маркиз, каркала ворона. Чеченский видел ее, синее небо, ближние деревья, за стволами которых вставала глубь Булонского леса.

– Раз, два, – медленно начал отсчитывать секундант. Маркиз положил на согнутую левую руку пистолет, слегка наклонился и... не дождался условленного отсчета, выстрелил. Чеченский инстинктивно, как до этого ни разу не делал в сражении, отшатнулся, услышав свист пули. Ворона, испуганная выстрелом, взлетела, но, покружившись, села на прежнее место. Оторопевший секундант, перестал считать, поджал тонкие, как лезвия ножей, губы и сказал:

– Маркиз де Русско, я вам больше не друг. Я презираю вас.

– За что? – возмутился маркиз. – Случайный выстрел. Не попал.

– Спасибо, господа, – повернулся секундант к Чеченскому и его друзьям. – Спасибо, господа. Я вас покидаю, – строевым шагом подошел к своей лошади, прыгнул в седло и ускакал.

– Александр, убей его! – в ярости закричал Давыдов. – Или я это сделаю сам! – он выдернул из-за пояса пистолет.

Побелевший как смерть маркиз, тоже закричал:

– Стреляйте, полковник! Да стреляйте же, черт вас поberi! Или у вас заячье сердце?

Чеченский прицелился. Рука его не дрожала. Именно в это время все услышали крик, умноженный эхом леса:

– Ма-арки-из! Са-а-ша!..

И еще что-то, похожее на стук копыт и колес.

– Жена! – еще более побледнел маркиз.

Чеченский лишь мгновение поколебался, потом вскинул руку и почти не целясь, выстрелил. К ногам маркиза упала бездыханная ворона.

– Я не убью этого подлеца. И вам не позволю! – повернулся Чеченский к друзьям. – Я люблю эту женщину. Я не хочу ей несчастья. Уходите, маркиз.

Маркизу хватило самообладания сделать в сторону Чеченского и его друзей поклон, шаркнуть ногой и сказать:

– Лучше бы вы меня убили! Прощайте! – и погнал свою лошадь.

– Ну что ж, друзья, поспешим в Париж, на Пале-Рояль. Нас ждет клико на льду, – сказал вдруг развеселившийся Давыдов. – В жизни б не поверил, если бы своими глазами не видел, что в Париже на дуэлях иногда не убивают! По коням!

Близко раздался крик:

– Ты убил его? Отвечай: убил? Я прокляну!.. – это был голос Софьи.

– Нет, нет, – голос маркиза.

– Где он?

– Остался там.

– Веди!



За деревьями мелькнули тени. Софья, в пальто параспашку, с распущенными волосами, почти вбежала на поляну. Увидела Чеченского, счастливо улыбнулась, взмахнула руками и, лишившись чувств, упала. Маркиз подхватил ее и унес в лес. Вскоре до слуха друзей донесся удалявшийся стук колес.

— В такую женщину и я бы влюбился, — сказал серьезно Давыдов.

Над аббатством Сен-Дени, над Булонским лесом, бесконечными парусными флотилиями плыли облака.

## ЭПИЛОГ

Ворскла, приток Днепра, близ Гайворона, крута правым обрывистым берегом, полога — левым, в пышной оторочке пойменных лугов, песчаных дюн и кос, болот и стариц. В ней в изобилии водятся сомы, налимы, раки. По обе стороны Ворсклы — просторные ланы. На них пшеница, подсолнух, гречка, листовницы до самых синих небес, каждая — мачта для парусников Черного моря. Все панское: и ланы, и купавы роц, и Ворскла с налимами, сомами, раками. По Ворскле вверх и вниз снуют смоленые лодки, иные из них — в дремлющих заводях с дядьками, в широких, как речная гладь, сорочках и шароварах. На косогорах, склоны которых опоясывают протоптанные скотом тропки, пасутся коровы.

Вот уже много лет Александр Чеченский смотрит на эту дивную красу, а не насытится ею. В широкой соломенной шляпе, в холщовых шароварах, босой, впрямь гайворонская голота, он вошел в свой грот. Руки его — черные, в земле. Он с удовольствием оглядывает вскопанную им землю, устало рукавом рубахи смахивает со лба пот и садится на садовую скамейку у грубо сколоченного стола.

Двадцать лет минуло со времени последней его встречи с Софьей, более полувека с той поры, когда увидел свою первую зарю в Алдах. Теперь думал: Ворскла – последняя его тихая пристань.

Господи, такая ли уж тихая?

Александр Чеченский снова смахивает пот и погружается в воспоминания. Пожил, походил по земле. Если все дороги, по которым прошел, вытянуть в одну линию, сколько тысяч верст наберется? От Алдов до Каменки, от Тясмина до Москвы, Невы и Сены, потом длинная служебная дямка. Наконец – этот любимый уголок в саду, в гроте, накрытом могучим дубом. В Каменке выросла целая роща из желудей от дуба, посаженного Алхазуром в честь рождения Али. Дуб на Ворскле – из каменской рощи. В непогоду, в зной, в пору листопада – дуб всегда шумел, источал для Александра запахи смутно припоминавшегося аула Алды, зеленой Сунжи, родной сакли со священным языческим столбом для молитв – эрды, неба, ласкового, как прикосновение отцовских рук, и грозного, когда из него падали раскаленные пушечные ядра, а воздух оглашался боевым кличем воинов...

По возвращении из Парижа Александру Чеченскому до Ворсклы оставалось недалеко.

Софья, лесная Красная Шапочка, зажгла в сердце Александра неугасимый огонь, осталась для него звездой, которую он так и не выловил ковшиком из Тясмина.

Уже вскоре по возвращении из Парижа Чеченский получил от маркиза де Русско письмо.

«Я исполняю последнюю волю умершей, – писал маркиз. – Как мне ни горько сознавать, что для нее я всегда был нелюбимым, а может быть, именно поэтому я обязан сообщить вам, что в предсмертных молитвах, в горячечном бреду она поминала не мое, а

ваше, Александр Чеченский, имя. А когда пришла в сознание, взяла с меня клятву, что я перешлю вам медальон, который вы возвратили ей перед ее замужеством. Если вам хоть немного дорога память о Софье, примите и ее письмо. Я вам завидую, вы счастливее: она вас любила. И умерла от чахотки, тоскуя по вас и России. Как жаль, что вы не убили меня в Сен-Дени. Может быть, жизнь Софьи от того круто, к лучшему изменилась бы...»

К сему было приложено письмо Софьи, похожее скорее на поденные записи.

Екатерина, жена Чеченского, почасти читала его. И не без того, чтобы не прослезиться.

– Не ревнуешь? – спросил ее Чеченский после первого чтения.

– Как можно? – удивилась она. – Это ж – как евангелие. А у Софьи, почитай, только и счастья было – память о тебе. Дай бог всякой помнить так о тех, кого они полюбили без оглядки на всю жизнь! – и спрятала письмо, чтобы, не дай бог, не затерялось ненароком, в дубовую шкатулку, где хранились другие дорогие семейные реликвии: университетская матрикула Чеченского, его и Екатерины свадебные огарки свечей и кольца, письма от Василия Львовича Давыдова и Марии Волконской с рисунками, изображавшими сцены из жизни людей по двадцать пятому памятного – в Петровском заводе.

В той же шкатулке хранился и медальон с изображением покровителя воинов – Георгия Победоносца, который теперь должен был унаследовать сын Чеченского – Николай.

...Чеченский следит за быстротечной, изменяющейся на глазах синей Ворсклой. Над ней крутится осенний, живой как вода парок, путается в седеющих яворах, вербах, в темных исполинских осоко-



рях. Генерал-майор в отставке тоскует по подпоручику, который спешит по Невскому на свиданье с Софьей Зориновой. Он не заглядывает в дубовую шкапулку. Память его сама воспроизводит отдельные строчки из письма. Они появляются и уплывают как блики на Ворскле.

«У меня все в прошлом. Настоящего нет. Папа, папа, что мы с тобой наделали?»

«...Заказала в Сент-Этьенн-дю-Мон молебен во здравие и во спасение живота воина Александра. Молилась. Легче стало. Георгий Победоносец, спаси и помилуй воина Александра!..»

«В Париже не хватает воздуха. По ночам, особенно сырой осенью, мучаюсь удушьем. Кашель разрывает грудь».

«Зачем жизнь? Мне было бы легче, если бы знала, что не заставляю страдать Александра. Проклясть отца я не смею. Но зачем он выбрал мне в мужья маркиза? Ах, папа, папа, что мы наделали с тобой? Почему я не имела права выбрать Александра? Может, оттого, что на Руси так издревле повелось? Я слышала, как однажды папа с презрением отчитывал обедневшую приживалку-родственницу: «А все вы, бабье, никчемное племя. Баба хуже собаки: та не лает на хозяина». Мне было стыдно за него. Почему все невесты у нас – принцессы? И почему, выходя замуж, они не становятся королевами? Только раз в жизни я почувствовала, что меня любят, не презирают. Саша, Саша, зачем судьба-разлучница помешала нам?»

«...Счастливым днем – я встретила в Париже Александра. За сколько много лет я первый раз не задыхалась от недостатка воздуха. Он все тот же, совсем не изменился».

«...Хвала господе, я, кажется, спасла жизнь Александру. Дуэль не состоялась. В Сент-Этьенн-дю-

Мон я поставила свечу. А Саша уехал в Россию. Как ему завидую!.. Опять по ночам кошмары, удушье. Саша, как ты там – дома? Знаешь ли, что мне очень худо?»

«Ура! Я уговорила мужа ехать в Россию. С благодарностью подумала о нем первый раз: он добрый...»

«Ужасно медленно ехали. Мне все казалось, что я не успею добраться до родной земли. Но вот наконец она! Я сразу узнала ее по березке за рекой. Веле-ла остановиться возку. Упала на землю, поцеловала ее и березку. И верю, они мне ответили: были теплыми, душистыми. Мне сразу стало легче дышать».

«Отца похоронили в общей могиле с москвичами, которых расстреляли французы. Странно – мой муж отказался появляться на Всполье! Но охотно согласился поехать на Украину, к моей тетушке Анне Леопольдовне. Там я все узнала про Александра. У него хорошая жена. И дети. Пошли им, бог, всем счастья...»

«В Париж не поеду... Дни мои, видно, сочтены. Живи, Александр, и ни в чем не упрекни меня: я была очень несчастлива...»

Велико было горе Чеченского, когда он узнал о смерти Софьи. После смерти отца, матери, Екатерины Николаевны, Николая Николаевича Раевского, Кутузова, юноши-офицера, защитившего в Пале-Рояле французского офицера, прибавилась еще одна могила – святая. Софья не ушла, не могла уйти из его памяти. Еще, может, потому, что была одна женщина, похожая на нее, недостижимая для живых, принадлежавшая обессмертившему себя на Бородинском поле.

Он знал, что она с подраставшим сыном – единственным счастьем, самой дорогой памятью о муже, почасту живет в выстроенной ею сторожке на месте

Семеновских флешей. Отсюда ее муж пошел в свою последнюю атаку. Чеченский ездил в Бородино. Слышал, как она говорила крестьянам, которые на ее вдовью пенсию и на пожертвования общества построили вокруг сторожки Бородинскую общину, как вскоре назвали тот поселок.

– Я и после смерти Александра Алексеевича не забуду его. Пусть он всегда будет рядом со мною в моих мечтах, делах, думах.

Судьба послала ей еще одно ужасное испытание. И как только прослышал об этом Чеченский, тотчас же поехал в Бородино. Там, у сторожки, на Семеновских флешах, застал свежую могилу.

– Веку у Маргариты Михайловны мало, да горя много, – говорили крестьяне. – Прибрал бог у нее сыночка Колю. А отроку ангельскому шел всего шестнадцатый годочек...

Маргарита Михайловна теперь появлялась на людях только в трауре, лицом бледная, скорбная. Наследственное имение мужа продала, семейные драгоценности заложила, из генеральской пенсии своей себе ни копейки не оставила: все отдала бедным крестьянам Бородинской общины.

Потом снова искала, чем помочь людям. Святейший синод, давно присматривавшийся к подвижнической жизни Маргариты Михайловны Тучковой, предложил ей:

– Преобразуйте вашу общину в монастырь. Тогда и денежные дела у вас поправятся. А вас мы назначим игуменьей.

– Меня игуменьей? Меня? – крайне удивилась Маргарита Михайловна. – Постриг, значит? Я – монахиня? Непостижимо!

Ей дали срок подумать. Она поехала в Москву, в Петербург.

– Какая же из меня монахиня? – обращалась ко всем. – Это просто смешно. Как же я откажусь от этого яркого, голубого неба, солнца, забуду все то, чему меня учили, воспитывали? Как откажусь от привычного уклада жизни? Нет, это просто невозможно. Этого никогда не случится!

В сущности, она не советовалась – спорила с собой. И в конце концов убедила себя:

– А если ничего не менять? Если попросту иметь возможность жить рядом с прахом мужа и сына? Пожертвуй хоть чем-то ради них!

И с благословения митрополита она стала игуменьей. Но по-настоящему ею так никогда и не стала, от привычного уклада жизни не отреклась. Подолгу жила в столице, у родственников, завела в монастыре библиотеку из светских книг. Монашеский клобук не убил ее самой большой мирской страсти – горячей любви к мужу и сыну.

Чеченский боготворил Маргариту Михайловну Тучкову. Это было чистое, возвышенное, платоническое чувство к женщине, для него почти неземной.

Может, Александр Чеченский так и прожил бы холостяком, если бы не Николай Ржевский. Война их сблизила, сроднила духом.

Сразу же по возвращении в Петербург они находились среди ликующей толпы, когда в ореоле славы и победы к Дворцовой площади приближалась гвардейская дивизия. Начищенные оркестры, оружие, кирасы, кивера, лошади одной – серой в яблоках – масти, с зелеными, с красной окантовкой чепраками, живописные мундиры гвардейцев с белыми амуничными ремнями – все было торжественнее и праздничнее, чем на Елисейских полях.

Впереди гвардейцев гарцевал с обнаженной шпагой сам император. И вдруг перед ним пробежал

мужик. Царь дал шпоры лошади, погнался за мужиком, замахиваясь шпагой. Толпа охнула, сбился с ритма оркестр. Мужик оказался проворнее царя, юркнул в толпу, но там его в палки взяла полиция.

– Позор! Это ужасно! На мужика, в сущности, на Россию – со шпагой. И кто? – возмущался Чеченский по пути домой. – Кутузов погнался бы? И почему перед гвардейской дивизией гарцевал царь? Где он был, когда солдаты и генералы шли в бой на Бородинском поле?

– Но он же царь!

– Ну и что ж, что царь? С него и спрос больший должен быть!

Чеченский не мог понять Ржевского, да и других, которые, если и не трепетали перед именем царя, то по крайней мере думали, полагали, что царю все дозволено. Александр думал иначе, потому что не помнил, чтобы его отец перед кем-то унижался или позволял себе унижать других. В Каменке, будучи малышом, он тоже не воспринимал детским умом величия и значимости царей. Здесь разговоры об императрице Екатерине II велись чуть ли не как о члене семьи Раевских и Давыдовых. Худых слов, правда, о ней не было. При Павле I Николай Николаевич очутился даже в опале. Потому в ту пору о царе в доме Давыдовых говорили непочтительно.

Лично с царем Чеченский сам столкнулся в чине поручика на придворном рауте. Туда его привел Николай Николаевич. Александр I лениво поглядывал на толпу придворных и приглашенных и вдруг наклонился к одному из приближенных, глазами показал на Чеченского. Румяное, с мягкими, нежными, женскими чертами лицо, сочные красные губы царя оживились. Небольшие белые руки в перстнях и кольцах непрестанно, точь-в-точь как у Екатерины Нико-

лаевны, когда она была занята пальцами, шевелились. Царь сказал негромко, но Чеченский услышал:

– Черномазая обезьяна.

Чеченский не считал себя красавцем. Среднего роста, с густой черной шевелюрой, с черными же бакенбардами и лихо закрученными усами, в гусарском мундире он, однако, выглядел молодцом. Грудь широкая, уже с двумя наградами. На боку сабля, которую он носил по праву, потому что на ней была надпись: «За храбрость». В общем, лицо, фигура – сурового воина, уже понюхавшего пороха, более чем то довелось царю.

Царь заметил, как вспыхнул поручик, как недобрым огоньком вспыхнули его черные глаза и угрожающе шевельнулись брови.

– Ваше высочество, – Чеченский сделал шаг вперед, щелкнул каблуками, с вызовом поднял голову. – Я офицер и сумею постоять за свою честь.

В зале все обмерли.

– Ого! – удивился царь. – Вы ко всему прочему еще и задира.

– Нет, ваше высочество. Просто в нашем роду, среди чеченцев, мужчина никому не прощает своих обид.

– И царям?

– Даже им.

По рядам придворных и приглашенных прокатился ропот, раздались возгласы возмущения. Раевский уже проклинал себя за то, что так необдуманно решил привести во дворец Сашу, с тревогой ожидал неминуемой царской грозы.

Император помолчал, потом хмуро бросил:

– Оружью своему, поручик, вы скоро найдете достойное применение. Надеюсь, отечества не посрамите, – круто повернулся и пошел к тронному залу.



Слова царя прозвучали для Чеченского извинением, он ответил:

– Отечества не посрамлю, ваше высочество!

Раевский, покинув дворец, все никак не мог успокоиться:

– Как ты посмел дерзнуть, Саша? Забыл о границах благоразумия! Это же царь!

– Человек, как я, как вы, Николай Николаевич.

– Он же мог тебя в прах! Хорошо, что так обошлось. – Помолчав, добавил: – Обошлось ли? А в общем, молодец. Не дал себя в обиду.

Уже значительно позже, когда Чеченский был в чине генерал-майора, Александр I, постаревший и подурневший, обходил во дворце строй заслуженных военачальников. Перед Чеченским, ровно споткнувшись, остановился, сморщил розовый, как бок поджаренного караса, лоб, словно мучительно что-то припоминая, потом вдруг сказал:

– А, бывший поручик! Задира... Все еще в армии? – и, не выслушав ответа, засеменил дальше.

И все. Через неделю, в феврале 1824 года, генерал-майор Чеченский был уволен «в отпуск к карлсбадским минеральным водам до излечения с производством жалования и с отчислением из кавалерии».

Получилось – все-таки не обошлось, как того и опасался более опытный в такого рода делах Раевский.

Да разве только с ним такое было? Дениса Давыдова сколько раз чинами и орденами обходили! За его плечами уже были сражения при Прейсиш-Эйлау, кампании: шведская, финляндская, турецкая в Молдавии. А он дошел лишь до ротмистра. Обходили и в Отечественной. В итоге – Дениса на год ранее укатали в отставку.

В декабре 1824 года Чеченскому вышло приглашение из Петербурга: прибыть для принятия прися-



ги новому государю Николаю I. Добрался Чеченский до Петербурга в памятный для России день на Сенатской площади, куда его и доставили сразу в свиту царя. Чеченского тогда поразили не огонь пушек, не ядра, которые ломали, дробили лед на Неве, не кровь на снегу у Исаакиевского собора. Его поразили колени царя. Они дрожали у него, когда он отдавал приказ открыть огонь из пушек по бунтовщикам.

Но еще более он поразился позднее, узнав, что бунтовщиками на площади руководил Кондратий Рылеев – тот самый поручик, с которым у него была встреча в ресторации на Пале-Рояле... Поручика Рылеева с четырьмя другими героями повесили на кронверке Петропавловской крепости, а вот где убийцы его похоронили, о том никто не ведал...

Александр Чеченский, так и не присягнув Николаю I, в тот же день уехал в Ворсклу. Его оставили в покое, но на службу не позвали. Сорокапятилетний, он навсегда поселился в имении своей жены и жил почти безвыездно.

Ворсклу ему нашел Ржевский вскоре после Парижа.

Однажды он сказал Чеченскому:

– Полковник, ты зело состарился. Под тяжестью регалий сгибаешься. И русский царь, и король шведский, и курфюрст прусский наградили тебя. Есть ордена и кресты в алмазах и бриллиантах. Вот-вот – генерал. Друзей у тебя – у Саваофа за всю его жизнь столько приятелей преданных не было. Все у тебя есть.

– Ты прав. Я, кажется, живу неплохо.

– А счастья нет. Женись, брат.

– Не для меня это, – тяжело вздохнул Александр. – Вот Софья умерла. Для меня она – жива. Из сердца не вырвешь, разве что вместе с сердцем? Видно, так и проживу бобылем.

– А вот и нет. Держись меня. Уверяю: в Исаакиевском соборе, если его скоро достроят, во здравие мое пудовую свечу поставишь. Я найду тебе невесту.

И закружил Чеченского по Петербургу. Особенно полюбилась Чеченскому милая, хлебосольная семья самого Ржевского.

– Неистового кавказца привел! – кричал обыкновенно еще с порога Ржевский, и на Чеченского с визгом висли двое мальчишек.

– Дядя Александр, расскажи нам о Кавказе. Сказку...

И, затаив дыхание, слушали. Блестела быстрая Сунжа, высвечивали из прозрачной воды голыши, причудливо менявшие формы и цвет. Деревья нависали над водой, неумолчно шумела листва. Медведь, продираясь сквозь цепкий терен, свирепо ворчал, спешил к водопою. Сорока-белобока цокотала, уводила коршуна от своего гнезда с сорочатами.

Взрослые обычно прерывали вдохновенный рассказ Чеченского на самом, как нарочно, интересном месте. Послушные мальчики с грустью удалялись спать. Так и не услышали они до конца рассказов Чеченского о Кавказе.

В доме Ржевского Александр познакомился с дочерью тайного советника – Екатериной Бычковой, милой, обаятельной, умной, нежеманной, чем-то неуловимо похожей на Софью. Именно поэтому, да еще и потому, что она из мест, близких к Каменке, он проникся к ней симпатией.

Скорый на решения, он чуть не через неделю сказал ей:

- Я любил и люблю одну женщину.
- Что ж не женись на ней?
- Она замужем за другим. Не по любви.
- Простите.

– Я прошу вашей руки. И, клянусь: буду верным, хорошим мужем.

Девушка зарделась, растерялась.

– Право, не знаю. Вы мне нравитесь. Вы прямой, честный. За это только вас можно полюбить. Дайте мне подумать.

Через месяц они поженились. Катя принесла ему в приданое Ворсклу, не бог весть какое родовое поместье со ста одиннадцатю крепостными душами.

И потекли годы. Первую дочь он назвал Софьей. Потом родились Александра, Катя, Николай, Вера. Последняя – Надежда, вон она, нарвала на берегу Ворсклы цветов, венки плетет, напевает песенку...

Ничто не замутило семейной жизни Чеченского. Екатерина была довольна, покойна.

Но не было покоя на душе Александра, как не было его и на всей земле. Митрич с Николаем Николаевичем во всех походах кавказских и французских был, с ним кашей солдатской щи заедал. Руку в сече потерял. Что он получил за непорочную службу свою отечеству? И миллионы таких, как он?

Александр I, когда прогнали из пределов России супостата-француза, издал манифест. В нем всем условиям, особенно дворянам, объявлялись всякие привилегии и царские даяния: ордена, кресты, в потомственное владение земли с приписанными крестьянами. Даже заклятые враги России были обласканы. Только за одно сражение под Тарутином, где Митрич потерял руку, Беннигсон получил бриллиантовые знаки ордена Первозванного, сто тысяч рублей, графский титул. Осыпали милостями и наградами британского королевского комиссара сэра Вильсона. А позднее Александр I сетовал на то, что «верный, преданный друг России» отплатил ему, царю, черной неблагодарностью: тайно готовился собрать под

британским знаменем союзников России, изменнически помогал французской армии. В 1812 году Фигнер перехватил пакет, предназначенный маршалу Нею. В нем сообщалось о баталии, которую Кутузов готовил под Тарутином. Царю тогда почерк показался знакомым. Но только после войны царь узнал, что доносы Вильсона ему, Александру I, из главной квартиры русской армии и содержание пакета для маршала Нея писаны одной рукой.

Стало понятным, почему Вильсон в Париже все еще называя себя «другом России», возмущался тем, что Бурбоны расстреляли Нея, а потом сел на скамью подсудимых за то, что помог графу Лавалетту – родственнику Наполеона бежать из парижской тюрьмы. Еще более расстроился Александр I, когда в 1817 году ему из Лондона прислали пасквиль, написанный и изданный Вильсоном. «Друг России» вопил о «русской угрозе» Европе, о том, что мощь России нарастает. И пророчил «господство русских над всем миром», провозглашая: «Мир должен принадлежать Англии». Александр I возмущался: «Ах, этот Вильсон, каким же вероломным он оказался!..». Но он им не «оказался», он им был! Но это случилось позднее. А до того царь всем сестрам, в том числе и сэру Вильсону, по серьгам дал.

Не забыл о «серьге» и народу: «Народу же нашему, – писал он в том манифесте, – вознаграждение воздастся от бога».

Николай Николаевич не обидел Митрича, флигель ему отвел, на довольствии домашнем содержал. Соглашался отпустить верного соратника по боевым походам к Чеченскому, когда тот хотел забрать его к себе. Да Митрич заупрямился:

– Родился в Каменке, тут и смерть найду.

А племянница Митрича, Оксанка, им любимая, золотоволосая, росой утренней моется, безумолчно

щебечет на коленях деда, смеется, того не знает, что она раба подневольная помещиков Давыдовых.

Нет тихой пристани на Ворскле для Чеченского, хотя он все делал для того, чтобы она была.

Заветный грот был точным изображением грота в Каменке. С небольшой разницей нынче. После памятного для России декабря 1825 года стены каменского грота, которые Пушкин испещрил стихами, скоблили, замывали, и они, стихи те, навсегда были потеряны для России и человечества. С фронтона грота исчезли крамольные слова Кондратия Рылеева. «Нет примиренья между тираном и рабом». Александр Чеченский воспроизвел их на своем гроте.

Пятьдесят четвертый год Чеченскому. С годами в нем окрепло убеждение: нет тихих гаваней на земле. И нет сил, которые могли бы сломить вольнолюбие людей.

Павел Потемкин вел войска против Дугачева, заключил его в железную клетку. Но весь народ не убьешь и ни в какую клетку не посадишь!

Недавно Чеченский побывал в родных краях. Алды разрослись. Дуб Алхазура в великана превратился. На левом берегу Сунжи, рядом с Алдами, Ермолов построил крепость Грозная. Все больше горцев искало замиренья. Но нет-нет да и вспыхивали боевые схватки между воинственными горцами и гарнизонами. Крепости опоясывались огнем. Глядишь — там убили пристава, там напали на военный конвой. И так везде. Недавно русские крестьяне убили свирепую крепостницу — фаворитку военного министра царя — Аракчеева, и жестоко за это поплатились.

Все зло в помещиках. Волею судьбы сам Чеченский тоже стал помещиком. И все не поймет: как можно неволить, крепостить людей. Попытался было освободить их — жена восстала, власти пригрозили:

не смей! В опеку имение возьмем! А это значит — участь крепостных ухудшится. По мере возможности Чеченский старается облегчить их положение. Соседи-помещики косятся. Крамола! Фармазонство! В карбонарии лезет!..

Нет тихой пристани для Чеченского на Ворскле, не получилось. Да, пожалуй, и сами помещики такой пристани не обрели.

Двух сыновей родила Раевская, овдовела и еще детей народила, выйдя замуж за Давыдова. И вот уже нет самой Екатерины Николаевны. Не снесла она горя, когда после памятного декабря к следствию привлекли ее внуков — Николая и Александра — сыновей Николая Николаевича. На царской каторге и сын ее любимый — Василий Львович Давыдов. И внучка Мария, дочь ее сына Николая Николаевича, юная, всегда с алой лентой в косе, тоже отправилась в Сибирь вслед за своим мужем-полковником князем Волконским. Разорено гнездо Екатерины Николаевны.

Недолго проживет и Александр Чеченский, так и не узнает, что Мария много лет проведет в Сибири, в Чите, на Петровском каторжном заводе и найдет покой в часовне, в Черниговском имении своей дочери спустя семь лет после смерти Николая I, а еще через три года там же похоронят и ее мужа — князя Волконского.

За Василием Львовичем последовала его молодая жена Александра Ивановна, урожденная Потапова, та самая Сашенька, которой Александр Чеченский вытирал слезы, когда она не успела проститься с мужем, арестованным фельдъегерем Николая I. И тоже не узнает, что похоронит она мужа своего Василия Львовича Давыдова в Сибири и лишь после смерти Николая I вернется в Каменку, будет жить окруженная любовью и лаской, а когда ей исполнится

девятью годами, приляжет на кушетке и тихо навеки уснет.

Неведомой для Чеченского останется и судьба Пушкина, с которым ему посчастливилась лишь одна короткая встреча. Тот приезд Чеченского в Каменку, как всегда, был неожиданным, без предупреждения. Он застал здесь небывало много гостей. Военных. Здесь было все: вино, горячие споры о настоящем и будущем отечества, мазурка, слезы радости на глазах Митрича.

К своему несчастью, Чеченский прибыл за день до отъезда гостей. Среди них выделялся штатский, грустный, печальный, восторженный, раздраженный, сердитый, веселый. Синим огнем вспыхивали его крупные глаза, и нервные пальцы так теребили пуговицы сюртука, что потрескивали нитки и сукно.

— А я-то думал, — сказал он угрюмо, прощаясь с Василием Львовичем, — что присутствую при зарождении общества свободлюбцев, что на обломках самовластья напишут наши имена.

— Военные, Александр Сергеевич, — ответил Василий Львович, — известно, любят пошуметь. А для дела, настоящего дела их не хватает. Они не способны ни на что серьезное. Да и зачем? Власть царей священна и незыблема. И ныне, и присно, и во веки веков...

— И ты, Брут, — невесело произнес Пушкин.

— О чем это Пушкин говорил с тобой? — спросил Чеченский Василия Львовича, когда поэт покинул Каменку. — Свободлюбцы...

— Да так, ни о чем особенно, — поспешил уйти от ответа Давыдов. — Поэты — они же все такие: страсти и невесть что им мерещатся там, где их нет и не может быть.

Позже, увидев дрожащие колени Николая I перед Исаакиевским собором, Чеченский понял: нет,

не случайно собирались в Каменке военные. И глубоко страдал: ему не доверились. Кто? Люди, которых он любил и которые, он знал об этом, любили его. Значит, опасались предательства? При этой мысли кровь от обиды закипала в сердце...

Княгиня Мария Волконская после свидания в Петропавловской крепости с мужем и дядей Давыдовым несколько успокоила его.

— Дядя Василий и мой Сергей передавали вам низкий поклон. Дядя просил не обижаться на него и на всех тех... Они очень вас любят.

— Но тогда почему же?.. Я ведь мог быть вместе с ними!

— Дядя сказал: они хотели было вас привлечь к участию, а потом отказались. Это могло вам повредить. Вы ведь очень больны.

— Значит, пожалели? А себя?

Над Ворсклой клубится туман. Дуб под ветром могуче гудит. Вот так же, наверное, гудит и другой дуб, на Сунже. Повеяло осенней прохладой. Надюшка уже давно забралась на колени к отцу, пригrelась и уснула. Отец глядит на нее, на ее чуть вздрагивающие во сне длинные черные ресницы, на нежный румянец лица и думает: а доживет ли Надюша до того дня, когда и здесь, на Ворскле, и на родной Сунже, и повсюду на земле все люди добудут свободу? Как они сделают это?

Чеченский не знает, как. Но верит: дети найдут, добудут то, чего не смогли сделать их отцы. Не было бы детей, не было бы и веры в светлое будущее людей. И у Александра Чеченского оттого, что он думает так, светлеют глаза.



## АРХАИЗМЫ, РЕЧЕНИЯ, СЛОВА

**Абцуг** – в сочетании «с первого абцуга»: с первого слова, с самого начала.

**Абшид** – увольнение со службы, отставка.

**Агнец** – ягненок, барашек.

**Айгар** – жеребец (чеч.).

**Акафист** – хвалебное песнопение.

**Аки** – как (церк.-сл.).

**Алхасты** – духи скал (чеч.).

**Аника (Оника)** – насмешливое название вояки в русских народных сказках.

**Антонов огонь** – гангрена, заражение крови.

**Аппроши** – осадные рвы с внешними насыпями для прикрытия батарей.

**Арьергард** – часть войск, охраняющая тыл отступающей колонны.

**Аттенция** – расположение, внимание.

**Афедрон** – седалище.

**Афронт** – оскорбление, резкий выпад против кого-либо.

**Банник** – орудие для чистки пушек.

**Башлам** – Казбек (чеч.).

**Барбет** – земляная насыпь под орудием в укреплении.

**Бонапарте** – так произносилось в конце 18 – начале 19 вв. имя Н. Бонапарта.

**Бруствер** – земляная насыпь или вал, огражденные рвом.

**Вагенбург** – особое расположение военных обозов и охраны их во время движения и остановки для защиты от неприятеля.

**Вертеп** – пещера, скрытый притон.

**Волан** – оборка для женского платья.

**Волк** – у чеченцев, по-видимому, тотем: сравнение человека с волком пользуется уважением.

**Вулканический** – вулканический.

**Волчья сыть** – бранное выражение, относящееся к лошади, скотине, иногда к человеку.

**Вор** – мятежник, относится к запорожцам, разинцам, пугачевцам.

**Вурдалак** – миф: оборотень-кровопийца у некоторых славянских народов, вампир.

**Галльский** – французский, от кельтского «гала», обитателей Галлии, современной Франции, Северной Италии, Бельгии.

**Гарпия** – в греческой мифологии богиня вихря – крылатое чудовище с девичьим лицом.

**Гверильясы** – испанские вооруженные отряды крестьян, выступавших против узурпатора Наполеона.

**Геесты** – огромные пространства песчаных земель в Германии и Голландии, годные для обработки только по краям.

**Георгий Победоносец** – христианская и мусульманская (с именем Джерджос) легенда о святом, покровителе пастухов, скотоводов, земледельцев, государства. Изображался на коне с копьём, поражающим змея.

**Гласис** – отлогость внешнего бруствера.

**Голик** – веник из мелкой лозы.

**Голота** – беднейшая и наиболее бунтующая, воинственная часть запорожского казачества, закрепощенного в конце концов Екатериной II.

**Григориополиская** – крепость под Моздоком, сожженная горцами в 1786 г. Доныне сохранились поросшие травой земляные валы.

**Дада** – отец (чеч.).

**Далматик** – церковное облачение, белое – для римских и византийских императоров, фиолетовое – принадлежность коронационного облачения средневековых императоров.

**Деплояда** – боевое развертывание строя войск при наступлении.

**Диспозиция** – письменное распоряжение касательно распределения армии: перед сражением или предварительный план действия.

**Длань** – ладонь, рука, обычно могучая, наказывающая, власть держащая.

**Дудак** – название дробы на Кавказе.

**Дэла** – бог неба у чеченцев-язычников.

**Екатериноградская** – казачья станица у Моздока, на другом берегу Терека была крепость Григориополисская.

**Елико** – сколько возможно.

**Жолнер** – польский солдат.

**Жупан** – род кафтана у поляков и украинцев.

**Зажитник** – фуражир в войсках старой русской армии.

**Затравка** – 1. Отверстие на старинном оружии, куда поступает огонь, чтобы поджечь порох. 2. Трубочка с горючим составом, которую вставляют в скважину, чтобы воспламенить пороховой заряд.

**Зело** – очень.

**Зуда-паччахь** – императрица (чеч.).

**Изречь** – сказать.

**Инарла** – генерал (чеч.).

**Кальян** – курение табака, когда дым, очищаясь и охлаждаясь, проходит через воду в специальном сосуде.

**Карбонарии** – итальянские революционеры в нач. 19 в. Слово стало синонимом революционера и революционности вообще.

**Карронада** – обычно флотская пушка, использовалась и на суше, стреляла на короткие дистанции крупными снарядами большой разрушительной силы. Название от Карронского завода в Шотландии.

**Картуз** – мешок с порохом для пушек.

**Квадрига** – памятники, скопированные с римских скульптур: двухколесная колесница, запряженная четырьмя лошадьми.

**Кошт** – пропитание в казенных учебных заведениях.

**Кронверк** – один или несколько бастионов для укрепления и защиты мостов и крепостных сооружений.

**Кузина** – двоюродная сестра.

**Курбет** – скачок лошади с поднятыми поджатыми передними ногами, переносно – странности, неожиданная смена поступков, противоречащая разумному поведению.

**Куртины** – 1. Цветочные грядки, обложенные дерном. 2. В военном деле: промежуточный или средний вал, связывающий два бастиона.

**Лаванда** – ароматичное масло, используемое в парфюмерии.

**Лаисы** – имена двух греч. гетер (образованные женщины, ведущие свободный, иногда легкомысленный образ жизни), славившихся редкой красотой, скорее мифического происхождения.

**Лан** – поле (укр.).

**Ланкастерские школы** – взаимное обучение: усвоившие азы грамоты – необученных, старшие – младших. Ланкастер изобрел ружье.

**Лейб-гвардия** – личная охрана монарха или почетное наименование отборных привилегированных воинских частей.

**Лемуры** – порода обезьяны.

**Ломбер** – старинная картежная игра. Ломберный стол обтянут зеленым сукном.

**Люнет** – небольшое незамкнутое укрепление не менее как о трех фасах (фас – передняя часть укрепления, обращенная к неприятелю).

«Ля илля, илля алла! Мухамед расул иллях!» («Ла илахъа илл-Аллаху! Мухъаммаду расулуллах!») – «Нет бога, кроме Аллаха! Мухаммед – пророк его!»

**Манерка** – посуда для жидкости, крышка на ней заменяет стакан.

**Мануфактур-коллегия** – учреждение, занимавшееся вопросами развития промышленности, основано Петром I в 1719 г. Упразднено в 1804 г.

**Марциальные законы** – военные законы на время народных мятежей.

**Матрикула** – учетная книжка студента в уч. заведении.

**Ментик** – мундир гусара, надеваемый поверх доломана, расшитого шнурами, со шнурами на плечах вместо погон и эполет.

**Моветон** – невоспитанность, дурные манеры по меркам дворян.

**Молонья** – молния.

**Мыза** – обособленная усадьба в Прибалтике, Финляндии.

**Нана** – мать (чеч.).

**Наприклад** – например.

**Норманны** – северо-германские племена, совершавшие грабительские набеги на многие страны Европы.

**Одесную** – справа.

**Одр** – убогое ложе, постель вообще.

**Опричь** – кроме.

**Осока** – 1. Трава. 2. Сукровица, гной или навозная жижа.

**Ошую** – слева.

**Папуша** – связка, пучок табака из цельных листьев.

**Пас-пароль** – приказ, передаваемый из уст в уста (военное).

**Педант** – строгий, точный, мелочно придирчивый, а в конце 18 – нач. 19 вв. – непримиримо относящийся к социальным несправедливостям.

**Пеньюар** – широкое утреннее женское платье.

**Плац** – площадь.

**Плевелы** – сорняки.

**Плюмаж** – украшение из перьев на головных уборах военных.

**Подстава** – смена уставших лошадей на почтовых станциях, когда единственным способом для дальних поездок служил конный транспорт.

**Пошевни** – розвальни, широкие деревянные сани.

**Прозелит** – приверженец, последователь нового учения, веры.

**Прокрустово ложе** – мерка, под которую стараются насильственно подогнать что-либо. От разбойника Прокруста, который укладывал свои жертвы на ложе и отрубал или вытягивал ноги, если они были длиннее или короче ложа.

**Рало** – соха.

**Раут** – вечернее собрание в бальных костюмах, но без танцев.

**Регалии** – в повести: знаки отличия, награды.

**Регламент (военный)** – служебный устав, порядок, режим.

**Реляция** – доклад, записка с сообщением о событиях военной жизни.

**Рескрипт** – письмо государя к своим подданным.

**Ретирада** – отступление.

**Ретраншаменты** – оборонительные сооружения внутри крепости, укрепления.

**Рюш** – тюль или другой материал, сложенные в складки для обшивки женского платья.

**Саваоф** – одно из названий бога.

**Саква** – холщовый мешок с овсом, прикреплялся к поясу.

**Самсунский** – от турецкого города Самсун.

**Санкюлот** – солдат революционной армии во Франции в правлении Генерального собрания (1793 г.).

**Сир** – обращение к титулованным особам от английского «сэр».

**Стихарь** – верхняя одежда священнослужителей в церкви, дух. семинарий.

**Стратиг** – стратег: вождь, предводитель войска.

**Тарлатан** – газовая хлопч.-бумажная ткань для бальных нарядов.

**Ташка** – гусарская сумка.

**Ухналь** – кованый гвоздь для подковки лошадей.

**Фактория** – торговые поселения европейцев (англичан, немцев) в странах-колониях с правом ввоза и вывоза товаров.

**Фармазонство** – от франкмасонов, во времена Пушкина – вольнодумие.

**Фарса** – фарс, паясничанье, шутовство, веселая комедия.

**Фатерлянд** – родина (нем.).

**Фашина** – связка хвороста.

**Фланкер** – кавалерийский солдат в разведке.

**Флеши** – полевое укрепление в форме тупого угла, обращенного к врагу.

**Фолиант** – лист, книга большого формата.

**Фрондер** – критически относящийся к общественному строю при царизме.

**Фрунт** (от фронт) – строй.

**Фуляр** – шелковый шейный или носовой платок.

**Фухтель** – широкая шпага, сабля или удар ими плашмя нижних чинов.

**Цианистый калий** (иногда «кали») – сильный яд. После долгого хранения может потерять ядовитые свойства.

**Чеченя** – чванный, чопорный щеголь.

**Шамбертен** – сорт бургундского вина.

**Шат-гора** – одно из названий Эльбруса.

**Шато-марго** – одно из лучших бордоских вин.

**Шлафрок** – халат.

**Шпензер** – мундир без фалд, одевался под скюртук.

**Экзецирмейстерство** – отупляющая военная муштра на прусский образец.

**Эрда** – ритуальный деревянный столб, устанавливавшийся посредине сакли у язычников-чеченцев.

**Этишкеты** – кисти на эфесе сабли.

**Явор** – липа.

**Ярыга** (ярыжник) – у Даля: беспутный; батрак, казак, живущий по чужим дворам.

**ЗАХАР**  
*из чеченцев*



## ОРДЫ ЧИНГИСХАНА В ЧЕЧНЕ

1223 год. Передовые отряды «потрясателя вселенной» – Чингисхана – подошли к предгорьям Северного Кавказа...

Растянувшись огромной черной змеей, два монгольских тумена двигались вдоль берега бурной реки. С одной ее стороны раскинулось холмистое, поросшее лесом предгорье, с другой – возвышались заснеженные горы, рассеченные шрамами глубоких ущелий.

В длинных синих одеждах, поверх которых была одета броня, в почти одинаковых железных шлемах монголы были словно близнецами. Тысячи безбородых близнецов, похожих на старых угрюмых женщин с черными от загара и грязи лицами. И лошади у них были похожими – небольшими, лохматыми и злыми.

Впереди скакала сотня разведчиков на рыжих конях, за ними – сотня на молочно-белых. Далее под охраной телохранителей-тургаудов, один из которых вез бунчук с пятью рыжими конскими хвостами, двигалась железная колесница великого монгольского полководца Субудай-багатура. Эта колесница – трофей, вывезенный монголами с захваченного и разграбленного ими Северного Кавказа, – являла собой обитый железными листами закрытый ящик, поставленный на два высоких колеса. Во все четыре стороны в стенках колесницы были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдений и стрельбы из лука. Железную повозку везли четыре коня, запряженных по два. На левом переднем коне сидел возничий.

Утомленный походом полководец спал в колеснице на войлочной подстилке, свернувшись как хищный зверь. Еще юношей Субудай-багатур был ранен

в руку, меч рассек ему мышцы, и с тех пор правая рука его всегда была согнута. Другой удар поразил его лицо. Правый глаз вытек, рубец тянулся через бровь и щеку, а левый, широко открытый, сверлящим взглядом проникал, казалось, в тайные помыслы людей. Воины звали его «барсом с разрубленной лапой».

Покой спящего хозяина охраняла маленькая собачка китайской породы. Заслышав какой-то шум, она подняла пронзительный лай. Одноглазый джихангир мгновенно проснулся.

Это к колеснице подскакал в окружении своих телохранителей-тургаудов Джебе-найон, высокий, худой, никогда не улыбающийся полководец, посланный Чингисханом вместе с Субудай-багатуром в этот дальний поход то ли помогать старику, то ли следить за ним.

Джебе-найон подождал, пока тучный Субудай-багатур выбрался из своей железной кибитки и сел на подведенного к нему саврасого коня с черным и длинным – до самой земли – хвостом. Монгольские воины считали этого коня священным, приносящим им удачу в битвах. Субудай знал об этом и берег коня.

– Говори, – сказал Субудай Джебе-найону, бесстрастно глядя на снежные вершины ближайших гор.

– Они отказались покориться, ушли в горы и угнали свой стада. Ущелье, которое ведет в глубь их страны, узкое и хорошо защищено. Там много воинов, – сказал Джебе-найон.

– Мы выманим этих волков из логова, – усмехнулся Субудай-багатур.

Над ущельем возвышалась старинная родовая башня, а внизу, прямо под ней, был завал из камней и

срубленных деревьев, за которым засели чеченцы. Они осыпали стрелами проносившихся мимо них монгольских всадников. А те словно дразнили оборонявшихся, стараясь как можно ближе подскочить к завалу и уберечься от стрел. Всадников было не так уж много.

Вдруг пронзительно завывли монгольские трубы, и из ближайшего леса показались пешие воины. Это были спутники монголов, всякий сброд из разных покоренных племен. Они бежали к входу в ущелье, размахивая оружием, издавая дикие вопли и подбадривая друг друга.

Горцы встретили их разящими ударами топоров и мечей. Закипела жестокая битва, верх постепенно брали обороняющиеся. И старики, и почти дети не уступали в доблести и мужестве своим взрослым воинам.

По сигналу трубы нападавшие разом прекратили битву и побежали к лесу. Горцы бросились преследовать их. Из неприметной на вид балки, заросшей густым орешником, вылетела чеченская конница и помчалась за убегавшей пехотой монголов. Увлеченные погоней горцы проскочили лес и оказались на открытом поле.

В его дальнем конце среди зарослей ивняка и камыша был холм, на котором виднелся пятихвостый бунчук Субудая и сам полководец, сидевший на своем саврасом коне, неподвижный как каменный идол.

Отступавшие монголы, которых осталось в живых совсем немного, из последних сил бежали к этому холму, по пятам преследуемые горцами.

Вновь завывли трубы, и из-за холма, из зарослей ивняка и камыша медленно выехала вся монгольская конница, тридцать тысяч всадников.

Странно безмолвные, с завернутыми до плеча правыми рукавами, с обнаженными кривыми клинками, лежавшими на плечах, монголы сомкнули свои ряды. Что-то зловещее и грозное было в этом молчаливом движении тесных колонн всадников, когда они, без единого крика, вышли из засады.

Горцы в нерешительности остановились, поздно поняв, что попали в западню. Наступила тишина, которую нарушало только фыркание коней и случайный звон оружия.

Субудай махнул рукой. Опять протяжно завывали трубы, и по их сигналу конные монголы с дикими криками «кху-кху-кху!» помчались на горцев, охватывая их с двух сторон и отрезая путь к отступлению. Но те и не думали об отступлении. Плечом к плечу, спина к спине, они заняли круговую оборону. Древние горы никогда не видели столь жестокой и яростной битвы. Хотя силы были слишком неравными, бой закончился только к вечеру. Все поле перед холмом было покрыто трупами, но убитых монголов было значительно больше. Их трупы штабелями укладывали на поленницу, сложенную из бревен срубленных деревьев.

Субудай сказал, обращаясь к собравшимся вокруг поленницы воинам: «Счастлив воин, павший за величие монгольского улуса. Вместе с дымом священного костра он попадет в алмазный дворец бога Сульде!».

Загремели барабаны, затрубили рожки. Шаманы в белых одеждах с медвежьими шкурами на плечах закружились вокруг поленницы, издавая пронзительные вопли и ударяя в бубны. Китайские мастера с восьми сторон подожгли паклю, намоченную горючей жидкостью. Черный дым за клубился над костром. Пламя разгоралось, охватывая лежащие тела и желтыми языками взлетая к небу.

Субудай-багатур проворчал, обращаясь к Джебе-найону:

— Если в каждой битве будет гибнуть столько воинов, много ли багатуров вернется на родину?

Джебе промолчал.

— Пусть приведут пленных, — приказал Субудай-багатур.

К нему подвели нескольких, связанных волосяными арканами, чеченцев. Израненные, они еле держались на ногах, но в их глазах не было страха.

— Вы храбрые воины, — сказал Субудай. — И получите свободу. А тем, кто остался в горах, скажите, пусть покорятся воле великого Чингисхана. Тогда я не трону земли вашего народа. Идите.

Толмач перевел слова Субудая пленным. Те молчали, никто не сдвинулся с места.

Субудай отвернулся от них и что-то сказал одному из своих телохранителей...

Всех пленных бросили на землю рядом друг с другом. Сверху на них навалили доски, оторванные от повозок. Полсотни монгольских военачальников уселись на этих досках. Они пили кумыс и гоготали, когда из-под них раздавались стоны и проклятья пленных.

Только одного пленного пока пощадили победители, мальчика лет пятнадцати. У него было перерублено плечо и все лицо залито кровью от раны на голове.

Мальчика привязали к колесу железной кибитки Субудай-багатура, чтобы он смотрел на муки своих сородичей.

Стоны и крики погребенных под досками пленных постепенно затихли. Монголы, закончив пировать, разобрали доски и вытащили из-под них трупы раздавленных горцев. А над куренем разносилась песня победителей:

Вспомним, вспомним степи монгольские,  
Голубой Керулен, золотой Онон!  
Сколько, сколько монгольским войском  
Втоптано в пыль непокорных племен...

Субудай-багатур подошел к мальчику, привязанному к колесу его кибитки.

— Ты все видел, — сказал полководец. — Иди к своим и скажи, чтобы сдали оружие и покорились. Тогда будут жить.

Толмач перевел его слова. Мальчик ничего не ответил, но столько гордого презрения было в его взгляде, что Субудай не выдержал и отвернулся. Он сделал знак, и один из его телохранителей-тургаудов вытащил из ножен свой кривой клинок и одним ударом отрубил мальчику голову.

— Завтра мы найдем обходный путь в эти горы, — сказал Джебе-найон и носком сапога отшвырнул от себя отрубленную голову.

— Нет. Мы уходим. Этот народ можно уничтожить, но нельзя покорить, — сказал Субудай-багатур, задумчиво глядя своим единственным глазом на парящего в вечернем небе орла...

## НАВЕДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО «ПОРЯДКА» В ЧЕЧНЕ

Орел кружил над ущельем, высматривая добычу. Было раннее утро, и туман еще лежал над бурной горной рекой Аргун и приютившейся сбоку от нее узкой полоской дороги. Двое молодых чеченцев в камуфляже спустились по откосу на дорогу. Саперными лопатками они продолбили в каменистом грунте несколько углублений и заложили туда радиоуправляемые мины, замаскировали их, присыпав сверху землей. Пройдя по дороге немного вперед, они заложили еще несколько мин. После этого боевики поднялись по откосу на скалу, нависшую над ущельем. Здесь на маленькой площадке, с которой хорошо просматривалась дорога, стоял крупнокалиберный пулемет, рядом лежали гранатомет и два автомата. Часть площадки, обращенная к ущелью, была обложена крупными камнями. Боевики прилегли за этим «бруствером», поглядывая на дорогу. Потом один из них перевернулся на спину и стал следить за орлом, кружившим над ущельем. Второй чеченец вскоре последовал его примеру, он тоже лег на спину, подложив руки под голову.

— Захар, — сказал первый чеченец. — Следи за дорогой.

В отличие от товарища, носившего черный берет, его голова была повязана зеленым платком с надписью на арабском языке, означавшей «Аллах велик».

— Чего следить? — ответил тот, кого звали Захаром. — Танки мы услышим, как только они войдут в ущелье. Расслабься, Мухади...

— И то правда, — согласился Мухади и тоже стал наблюдать за полетом орла. В горах было тихо, только глухо шумела в сыром ущелье река.

– Захар! – окликнул Мухади товарища. – Ребята говорят, у тебя в России остались жена и сын?

Захар ответил не сразу.

– Да... Я учился в Ленинграде...

– Где? – спросил Мухади.

– В академии художеств, – вздохнул Захар.

– Чего же ты воюешь против русских? – усмехнулся Мухади.

Захар опять не спешил с ответом:

– Мы с тобой воюем не против русских, а за себя, за право чеченцев жить... Простому русскому человеку не нужна ни наша земля, ни эта война... Кровь нужна тем, кто на ней наживается...

Они помолчали.

– Ты говоришь – русские... А кто ими сейчас правит? Кто решает? – усмехнулся Захар. – Вот уж им-то плевать и на русских, и на нас... Убивайте друг друга сколько угодно, и чем больше, тем лучше... Слабого за горло брать безопаснее... Так что воюем мы не против русских... Может, даже наоборот, за них...

Опять наступила долгая пауза. Мухади, село которого сожгли российские солдаты, трудно было понять и «переварить» все сказанное его товарищем. Другой на его месте уже давно бы решил, что перед ним враг. Но Мухади не раз видел Захара в бою и уважал его как воина. Знал он и то, что они вдвоем должны остановить русские танки и пехоту в ущелье, которое лежало под ними. А сколько их будет, танков, и сколько русских солдат пойдут в атаку на них, знал только Аллах. И сколько им, двум чеченским парням, осталось жить, тоже знал только Аллах. Но Мухади был готов к смерти и был уверен в том, что готов к ней и Захар. Поэтому он был спокоен.



– Скажи, – обратился Мухади к товарищу. – Почему у тебя русское имя? Ведь ты же чеченец...

– Это долгая история, – сказал Захар и достал из планшетки лист бумаги и простой карандаш.

– А нам спешить некуда, – усмехнулся Мухади. – Расскажи...

– Ладно, – сказал Захар. – Нам действительно некуда спешить...

Слегка прищурившись, он внимательно посмотрел на Мухади, а потом стал говорить, что-то рисуя на вынутом из планшетки листке бумаги...

В сыром ущелье было по-прежнему тихо, и орел все так же парил над горами... В основе рассказа Захара лежали давние трагические события.

## ВСТРЕЧА ЛЕРМОНТОВА И ЗАХАРОВА

В Петербурге было туманное утро. По заснеженной набережной катили сани, в которых сидели Афанасий Алексеевич Столыпин, предводитель дворянства Саратовской губернии, типичный русский барин, и его внучатый племянник, корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов.

Мордастый кучер, как истукан восседавший на козлах, лихо правил тройкой. Когда проезжали мимо Петропавловской крепости, Лермонтов не выдержал и процедил сквозь зубы:

– Позор России...

– Мишель, – сказал Столыпин. – Давно пора забыть о декабре двадцать пятого года, о Сенатской площади, о несчастных повешенных и сосланных в Сибирь и на Кавказ... Тогда будет легче жить, а им мы все равно не поможем и не изменим ничего...

Лермонтов вздохнул и сказал:

– А совесть? Как с ней быть?

Столыпин только пожал плечами.

Сани пролетели по мосту через замерзшую Неву и выскочили на набережную. Около ярко освещенного подъезда огромного особняка сани остановились.

Откинув медвежью полость, Столыпин и Лермонтов вылезли из саней. Швейцар при входе почтительно распахнул перед ними двери. Скинув в передней на руки подбежавшему лакею шубу, Столыпин оглядел себя в зеркале, одернул жилет, пригладил волосы и стал подниматься по ковру отлогой лестницы. Лермонтов последовал за ним.

Пройдя через целую анфиладу комнат, двери которых перед ними услужливо открывали вышколенные лакеи, Столыпин и Лермонтов вошли в просторный зал, где собралось большое и представительное

общество, толпившееся около развешенных по стенам картин. Лакеи разносили шампанское. Столыпин нашел глазами хозяйку, пожилую графиню, и подвел к ней Лермонтова.

Та, узнав Столыпина, протянула ему руку для поцелуя:

– Афанасий Алексеевич! Дай бог памяти, сколько ж лет мы не виделись?

На графиню, очевидно, нахлынули приятные воспоминания, и в голосе появились мечтательные нотки:

– Саратов... Волга... А тот пикник я буду помнить всю жизнь.

Столыпин смущенно кашлянул...

И графине, и Столыпину было что вспомнить. Герой войны 1812 года, молодой артиллерийский офицер Афанасий Столыпин, появившийся в Саратовском дворянском собрании после Парижского похода, в один вечер покорила юную графиню. Она забыла и о своем скучном муже, бывшем в то время в отлучке, и о супружеской верности. Но их счастье длилось не долго. Столыпин вскоре должен был вернуться в полк...

Вернувшись из мира воспоминаний на грешную землю, графиня вздохнула и спросила:

– Ты, сказывают, в губернии уже предводитель дворянства?

– Уже как пять лет, графиня, – ответил Столыпин.

– Боже, как бежит время, – вздохнула графиня. – Надолго к нам в Петербург? И каким ветром?

– Хочу заказать портрет своего внучатого племянника, – сказал Столыпин и, обернувшись к стоявшему чуть поодаль Лермонтову, позвал его:

– Мишель!

– Мишель Лермонтов, – отрекомендовал его Столыпин. – Корнет лейб-гвардии гусарского полка.

– Это для тебя он корнет, – графиня достала лорнет и внимательно разглядывала Лермонтова. – А для меня – поэт.

– Мы тут все зачитываемся вашим «Маскарадом», – сказала она, обращаясь к Лермонтову.

– Весьма польщен, – сказал Лермонтов и лихо щелкнул каблуками.

– Гусар! – усмехнулась графиня. – Есть в кого...

И она опять как-то мечтательно посмотрела на Столыпина. Тот поспешил перевести разговор:

– Графиня, я знаю, вы опекаете художников. Вот и этот вернисаж...

Столыпин оглядел развешенные по залу картины.

– Может, матушка, кого присоветуешь? – вдруг по-свойски спросил он у графини.

– Присоветую, – улыбнулась графиня. – Молодого, только-только из академии художеств вышел, две серебряные медали имеет. Отличный портретист. Сам Брюллов хвалит. Правда, инородец. Говорят, из чеченцев.

– Из чеченцев? – удивился Лермонтов.

– Да, это какая-то романтическая история, – сказала графиня. – Он приемный сын Петра Ермолова.

– Как же, как же! – обрадовался знакомому Столыпин. – Петр Николаевич командовал 3-й бригадой 21-й пехотной дивизии в Грузии, двоюродный брат самого Алексея Петровича Ермолова, героя двенадцатого года и покорителя Кавказа. Имел честь под его началом сражаться с Бонапартом...

Теперь уже у старого вояки Столыпина от воспоминаний слегка затуманились глаза.

– Рифмоплет! – прошипела она, глядя в спину удалявшегося Лермонтова. – Бумагомарака!

– Что есть бумагомарака? – поинтересовался жандарм. Он уже понял, что его пассию обидели.

– Бездарный поэт, – объяснила девица.

– Да-да, – согласился жандарм и добавил: – И этот художник... Дикарь... Тоже бездарный...

Лермонтов и Столыпин раскланялись с графиней и Захаровым.

– В любое время, которое вы сможете мне подарить, я буду ждать вас у себя в мастерской. Это на Васильевском острове, во флигеле дома Семеновых, – сказал Захаров Лермонтову.

– Непременно буду, – сказал Лермонтов. – У меня к вам свой интерес.

– Какой? – спросил Захаров.

– Открою при встрече, – улыбнулся Лермонтов.

Публика уже наполовину разошлась, когда к Захарову подошел жандармский ротмистр, за которым внимательно следила его пассия, окруженная подружками. Те тоже наблюдали за ротмистром и Захаровым, о чем-то тихо переговариваясь с заговорщицким видом.

Жандарм остановился перед Захаровым и некоторое время стоял молча, пустыми, оловянными глазами глядя в лицо художника. Захаров спокойно выдержал этот взгляд.

– Ваши картины мне не нравятся, – громко, отчего прозвучал явственный немецкий акцент, сказал жандарм. – И мне не нравятся стихи господина Лермонтова. Вы не художник. Вы – бумагомарака.

В зале наступила тишина. Все смотрели на жандарма и художника.

Захаров, еле сдерживая клокотавшую в нем ярость, шагнул к жандарму и сказал:

– Милостивый государь. Никто не вправе заставить вас любить меня или господина Лермонтова. Но существуют законы порядочности и чести, которые не позволено преступать никому.

Жандарм презрительно оттопырил губу, бросив победоносный взгляд на застывших в ожидании скандала девиц, и сказал:

– Не трудитесь вызывать меня на дуэль. Вы не дворянин, и, вообще, даже не европеец.

– Может быть, – сказал взявший себя в руки Захаров. – А вы – дворянин, европеец, но не мужчина. И, вообще, похожи на...

Тут Захаров сделал паузу и отступил от жандарма. Он стал пристально разглядывать его, как художник обычно разглядывает объект для рисования.

– Вы похожи на таракана, которого на Руси зовут пруссаком, – наконец сказал Захаров, подводя итоги своего наблюдения.

В зале раздался гомерический хохот: так немец действительно был похож на таракана.

– Майн готт! – по-немецки выругался жандарм и схватился за эфес сабли, но тут же опустил руку. – Ты мне заплатишь за это...

## ДУЭЛЬ

Ворона села на ветку вековой сосны, потревожив слежавшийся на ней снег. Он посыпался вниз, увлекая за собой, как обвал в горах, снег с нижних веток. По лесной дороге ехал экипаж. В нем сидели Захаров, два его секунданта и доктор, державший на коленях саквояж с медицинскими инструментами.

Утро становилось светлей – выглянуло солнце. Его лучи растекались серебряными струйками по стволам деревьев, по ослепительно чистому снегу.

– Хороший будет денек! – сказал Захаров, но никто ему не ответил. Каждый был занят своими мыслями.

Дорога, шедшая на Озерки, возле замерзшего ручейка с перекинутым через него мосточком, разделилась. Более широкая побежала прямо, теряясь в дальнем лесу, а другая, более узкая, пошла влево, к чухонской мызе. По ней и поехал экипаж. Вскоре, обогнув невысокие деревянные строения мызы, он выехал на залитую солнцем поляну, где уже находился жандарм со своими секундантами.

Немец стоял вполоборота к приехавшим. Он не повернул головы и тогда, когда секунданты Захарова, отвесив учтивый поклон всем присутствующим, стали вполголоса совещаться с секундантами жандарма.

Осмотрев поляну, секунданты выбрали подходящее место, отсчитали шестнадцать шагов, зарядили длинноствольные дуэльные пистолеты, тщательно вгоняя в ствол круглые, литые пули.

– Пороху подбавьте, господа, просыпался с полки, – любезно сказал секундант Захарова секунданту жандарма. Тот молча кивнул.

– Готово, – становясь между дуэлянтами сказал секундант Захарова. – Расстояние отмерено. Барьер

вот, — он показал на белевший впереди платок, брошенный на палку. — Сходиться при счете «один», на «два» — поднимать пистолеты, «три» — стрелять. Невыстреливший, в случае промаха противника, имеет право стрелять в упор, у барьера. Все понятно, господа? — спросил он, обращаясь одновременно и к секундантам, и к противникам.

— Все! — коротко ответил Захаров. Немец только наклонил голову.

— Еще, господа! — поднял руку один из секундантов. — Пока не раздалось выстрелы, быть может, господа дуэлянты найдут возможным примириться?

Он выжидательно посмотрел на Захарова и жандарма.

— Нет, — сказал жандарм и, сбросив с плеч шинель, широким шагом пошел к отмеченному для него месту.

Захаров, также сбросив шубу на снег, встал напротив жандарма.

Было тихо. Захаров поднял голову и посмотрел на голубое небо, по которому спокойно проплывали редкие облака. Солнечные лучи пробивались сквозь них, ярко освещая поляну, на которой начиналась дуэль.

«Хороший, светлый день, — подумал Захаров. — Быть может, последний в моей жизни».

— Сходитесь! — услышал он голос секунданта, донесшийся будто издалека.

Захаров, глядя прямо перед собой, спокойно зашагал к барьеру, обозначенному белым платком. Жандарм пошел ему навстречу. Он шел ровным, каким-то парадным шагом, выбрасывая вперед носки блестящих лакированных сапог.

— Один! — прозвучал голос секунданта.

Жандарм быстро поднял пистолет, целясь прямо в лоб шедшего навстречу Захарова.



– Два! – так же кратко и отчетливо скомандовал секундانت.

Захаров на ходу поднял пистолет, наводя его на лицо жандарма. Секунданы и доктор напряженно молчали, ожидая выстрелов.

Жандарм закрыл правый глаз, прищурился и стал медленно нажимать на спусковой крючок. Ствол его пистолета отсвечивал под ярким солнцем и был направлен прямо в лицо подходившему к барьеру Захарову. Жандарм сильнее нажал на спуск. Раздался выстрел. Он прогремел в тишине леса как гром, вспугнув поднявшихся в небо птиц.

Пуля миновала свою жертву, оставив только кровоточащую ссадину на мочке левого уха. Захаров потрогал ухо и поднял пистолет. Теперь выстрел за ним. Он целился прямо в лоб немца. Тот, словно чувствуя это, остановился в растерянности и страхе. Его глаза забегали по сторонам, на лбу выступил пот. Он боялся взглянуть в лицо своей смерти. Казалось, пройдет еще секунда, и жандарм упадет на колени и забьется в истерике.

Захаров поднял пистолет и выстрелил в воздух.

## РОЖДЕНИЕ ПОРТРЕТА И ПОЭМЫ

В мастерской Захарова около окна, выходящего на Петропавловскую крепость, сидел на раскладном стуле Лермонтов. Напротив него, за мольбертом, стоял Захаров и делал первые наброски к портрету Лермонтова. Тот был в лейб-гусарском вицмундире, на плечи брошена шинель, в руках — треугольная шляпа.

— Михаил Юрьевич, — попросил художник, — вы не могли бы чуть повернуть голову вправо?

— Могу, — сказал Лермонтов. — Чего ни сделаешь ради святого искусства... И предлагаю по имени... Я шас — Петр, вы меня — Михаил, или Мишель, как вам больше нравится...

— Согласен, — сказал художник и добавил: — Мишель...

Оба улыбнулись. Захаров объяснил свой «выбор» —

— Я слышал, друзья называют вас так.

Некоторое время работа шла в молчании, но Лермонтов вскоре прервал его:

— Мне говорили, вы из чеченцев?

— Да, — сказал Захаров. — Вас это удивляет?

— Конечно, — ответил Лермонтов. — Россия поет с вашим народом уже столько лет. А вы здесь в Петербурге, художник... Как это случилось?

— Это особая история, — сказал Захаров. — Помните, я говорил о своем интересе к вам?

— Да, я как раз собирался спросить об этом, — заметил Лермонтов. — Захаров на секунду перестал рисовать.

— История жизни такого необычного человека не может не заинтересовать литератора, котм и себя считаю... Конечно, если я не кажусь вам слишком пазойливым...

– Помилуйте, Мишель, – перебил его Захаров. – Я охотно расскажу вам обо всем.

– Кавказ... – мечтательно сказал Лермонтов. – Только там, в горах, среди дикой природы, я чувствовал себя свободным. А вы?

– Я слишком давно не был там, – грустно ответил Захаров. – И я не помню откуда я, из каких мест. Знаю только, что чеченец. Так записано во всех моих бумагах. Правда, иногда передо мной встают какие-то смутные картины, неясные и словно смазанные: селение, какая-то женщина, наверное, мать, потом, ледяющий душу ужас и все... Словно кто-то стер из моей памяти что-то очень важное.

На секунду наступило молчание, Захаров старательно работал над эскизом.

– Ну, а дальше? – Лермонтов был явно заинтересован началом рассказа художника.

– Дальше – какой-то просвет, знаю, что в моей судьбе принял участие сам Алексей Петрович Ермолов. Он препоручил меня заботам казака Захара Недоносова из станицы Бороздиновская. Ермолов и дал мне имя Петр. Помню, что был очень болен. Я потом узнал, казак сам не мог выходить меня и привез к монахам. Поскольку звали казака Захар, наверное, поэтому меня и записали в монастыре под фамилией Захаров. Казак сказал монахам, что я из чеченского селения, остался без родителей...

Захаров продолжал свой рассказ, а перед глазами Лермонтова стали возникать какие-то смутные, расплывчатые картины, вызванные то ли его поэтическим воображением, то ли рассказом художника. И в душе стали рождаться вдохновенные строчки еще ненаписанных стихов:

Немного лет тому назад,  
Там, где, сливаясь шумят,

Обнявшись, будто две сестры,  
Струи Арагвы и Куры,  
Был монастырь... Из-за горы  
И нынче видит пешеход  
Столбы обрушенных ворот,  
И башни, и церковный свод;  
Но не курится уж под ним  
Кадильниц благовонный дым,  
Не слышно пенье в поздний час  
Молящих иноков за нас.  
Теперь один старик седой,  
Развалин страж полуживой,  
Людьми и смертью забыт,  
Сметает пыль с могильных плит,  
Которых надпись говорит  
О славе прошлой – и о том,  
Как, удручен своим венцом,  
Такой-то царь, в такой-то год,  
Вручал России свой народ...

–...Конечно, мне было трудно привыкать к монашеской жизни, к чужим людям, к незнакомому языку. Но постепенно я привык к тому, что меня окружало. Конечно, потом я выучил русский язык, и меня крестили, – продолжал свой рассказ Захаров, а в душе Лермонтова рождались поэтические строки:

Уже хотел во цвете лет  
Изречь монашеский обет,  
Как вдруг однажды он исчез  
Осенней ночью. Темный лес  
Тянулся по горам кругом  
Три дня все поиски по нем  
Напрасны были, но потом  
Его в степи без чувств нашли  
И вновь в обитель принесли...

...И близок стал его конец,  
Тогда пришел к нему чернец

С увещеваньем и мольбой;  
И гордо выслушав, больной  
Привстал, собрав остаток сил,  
И долго так он говорил:

...Я мало жил, и жил в плену,  
Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревог,  
Я променял бы, если б мог.  
Я знал одной лишь думы власть,  
Одну – но пламенную страсть.  
Она, как червь, во мне жила,  
Изгрызла душу и сожгла.  
Она мечты мои звала  
От келий душевных и молитв  
В тот чудный мир тревог и битв,  
Где в тучах прячутся скалы,  
Где люди вольны, как орлы...

– Я вам еще не наскучил своим рассказом? – спросил Захаров, переводя взгляд с лица Лермонтова на свой эскиз.

– Напротив, – сказал Лермонтов. – Он, как пишут литературные критики, задел мои поэтические струны.

Захаров подправил что-то в рисунке и продолжил:

– Но смириться с добровольным пленом, да еще в столь юном возрасте, согласитесь, почти невозможно. Наверное, если б я видел только монастырские стены, мне было бы легче переносить мое заключение. Но с высокой угловой башни монастыря я видел вокруг совсем другую жизнь, других людей... И мне все чаще приходила в голову мысль о побеге.

Лермонтов смотрел в окно на заснеженный Петербург, а мыслями был далеко-далеко: он видел перед собой молодого монаха, поднявшегося по винтовой лестнице на смотровую башню горного монастыря, и

открывшийся перед ним прекрасный пейзаж... И в душе вновь зазвучали поэтические строки:

Ты хочешь знать, что видел я  
На воле? – пышные поля,  
Холмы, покрытые венцом  
Дерев, разросшихся кругом,  
Шумящих свежую толпой,  
Как братья в пляске круговой.  
Я видел груды темных скал,  
Когда поток их разделял,  
И думы их я угадал:  
Мне было свыше то дано!  
Простерты в воздухе давно  
Объятья каменные их,  
И жаждут встречи каждый миг;  
Но дни бегут, бегут года –  
Им не сойтиться никогда!  
Я видел горные хребты,  
Причудливые, как мечты,  
Когда в час утренней зари  
Курились, как алтари,  
Их выси в небе голубом,  
И облачко за облачком,  
Покинув тайный свой ночлег,  
К востоку направляло бег –  
Как будто белый караван  
Залетных птиц из дальних стран!  
Вдали я видел сквозь туман,  
В снегах, горящих, как алмаз,  
Седой, незыблемый Кавказ;  
И было сердцу моему  
Легко, не знаю почему.  
Мне тайный голос говорил,  
Что некогда и я там жил,  
И стало в памяти моей  
Прошедшее ясней, ясней...

\* \* \*

Над Петербургом была ночь. Захаров задумчиво смотрел в заиндевевшее окно. Потом, мельком взглянув на эскиз, он прошел мимо мольберта к стоявшему в углу турецкому дивану с цветными шелковыми подушками, прилег на него, закрыл глаза. Память продолжала жить прошлым...

Он видел перед собой, как живую, свою мать, когда она, укладывая его, ребенка, спать рядом с собой, под шубой, пела ему песню на теперь уже забытом им родном языке.

Вот морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, чеканит серебро своими жилистыми руками.

Отец, как живой, стоит перед ним в старинной кольчуге, опершись о ружье.

Родное село в ущелье, фонтан над горой, он, держа за длинное платье матери, идет с ней за водой.

Вспомнились худая собака и запах дыма, как ходил за матерью в сарай, где она доила корову.

Вспомнилось, как в первый раз ему обрили голову, и как в блестящем медном тазу с удивлением увидел он свою круглую синеющую головенку. И откуда-то из глубин памяти доносилась до лежавшего на диване в заснеженном Петербурге художника щемящая мелодия дечиг-пондура <sup>1</sup>.

\* \* \*

Утром приехал Лермонтов.

— Знаете, Михаил Юрьевич, — сказал Захаров Лермонтову. — Мой вчерашний рассказ каким-то странным образом подействовал на меня самого. Я вспомнил то, чего не мог вспомнить с детских лет...

— Мы просто разбудили ваше воображение, — сказал Лермонтов. — И мое тоже.

---

<sup>1</sup> Трехструнный музыкальный инструмент, напоминающий балалайку.

— Продолжим, — сказал Захаров.

Лермонтов занял свое место на раскладном стуле у окна, Захаров подошел к мольберту.

— Вы знаете, — сказал Лермонтов. — Еще до того, как вы вчера рассказали о своем стремлении бежать из монастыря, я подумал об этом же. Рожденный свободным человеком никогда не смирится с участью раба.

— Наверное, так оно и есть, — сказал Захаров. — Итак, я решил бежать и выбрал для этого самый, как мне казалось, подходящий день. Шел дождь, и во всю разыгралась непогода.

И эти слова художника вновь перенесли Лермонтова в мир, рожденный его воображением, к придуманному им герою...

\* \* \*

В горах бушевала гроза, блистали молнии, гремел гром, лил проливной дождь.

Монахи, собравшись в монастырской церкви, испуганно молились.

Молодой инок, спустившись со стены по веревке, исчез в темноте ближайшего леса. Он спешил уйти подальше от монастыря и бежал, что было сил, не обращая внимания на хлеставшие по нему ветки и проливной дождь. Он часто падал, поскользнувшись на мокрой земле, но тут же вставал и бежал все дальше и дальше. Когда иссякли последние силы, он буквально свалился у огромного развесистого дуба и закрыл глаза.

Трудно сказать, сколько времени длился его сон, но, когда беглец очнулся, гроза уже утихла. Занимался рассвет, на фоне светлеющего неба четко вырисовывался черный силуэт далекого горного хребта, зазвенели голоса ранних птиц, перекрывая шум



бегущей в ущелье реки. И вот вышло солнце, и весь мир вокруг беглеца сказочно преобразился. Полными слез глазами смотрел он вокруг, пораженный красотой божьего мира! Это был первый рассвет в его жизни, который он встретил на свободе.

Потом он начал спускаться к реке, держась за гибкие кусты и скользя по каменистому склону. По дороге он наткнулся на куст дикого винограда, пышные гроздья которого, умытые дождем, сверкали в лучах восходящего солнца.

Утолив голод, он спустился к реке, лег на прибрежные камни и жадно прильнул губами к бегущему потоку. Вода была столь чистой и прозрачной, что он видел стайки рыбок, сновавших меж камней на дне реки.

Напившись, он перевернулся на спину и долго неподвижно лежал, раскинув руки, глядя на бегущие над ущельем облака. Их причудливые очертания напоминали ему бегущих друг за другом сказочных зверей. Сверху его маленькая фигурка была похожа на крест.

Какой-то неясный шум напугал беглеца, и он спрятался за выступ скалы.

По узкой тропинке спускалась к реке, держа на плече кувшин, юная горянка. Девушка была бедно одета, но прекрасна, как сошедшая с небес богиня, и таинственна, как сама любовь. И быстрее забилося трепетное сердце юноши.

Зазвенел кувшин, коснувшись струек воды. Юноша в испуге спрятался за выступ скалы, ему показалось, что красавица заметила его.

Прошелестели легкие шаги, юноша выглянул из своего укрытия: девушка была уже далеко. Она поднималась по тропе, легкая и стройная как тополь...

Недалеко от ущелья у основания огромной скалы прилепились две сакли. Общая плоская крыша со-

единыла их. Над одной из них струился голубой дымок.

Спрятавшийся в кустах юноша увидел, как девушка вошла в эту саклю. Дверь за ней закрылась.

Уже луна посеребрила снеговые вершины гор и ленту сбегавшей реки, а он все сидел на том же месте и смотрел на саклю, в которой скрылась девушка.

И вдруг, словно прорвалась какая-то плотина, сдерживавшая накопившееся в душе беглеца отчаяние. Не разбирая дороги, он бросился бежать прочь от будто заколдовавшего его места. Спутанный плющом терновник рвал его одежду, хлестал по лицу, по рукам, беглец не замечал этого. Он бежал так, как будто за ним гнались, словно хотел убежать от самого себя. Он не замечал, что лес вокруг становился все гуще и гуще. Юноша упал на землю и в иступлении стал грызть землю, рыдания душили его...

И пока перед глазами Лермонтова проносились картины и образы, рожденные его воображением, в душе поэта происходило великое таинство рождения стихов:

Тогда на землю я упал,  
И в иступлении рыдал,  
И грыз сырую грудь земли,  
И слезы, слезы потекли  
В нее горючею росой...  
Но, верь мне, помощи людской  
Я не желал... Я был чужой  
Для них навек, как зверь степной;  
И если б хоть минутный крик  
Мне изменил — клянусь, старик,  
Я б вырвал слабый мой язык.

Ты помнишь детские года:  
Слезы не знал я никогда;

Но тут я плакал без стыда.  
Кто видеть мог? Лишь темный лес  
Да месяц, плывший средь небес!  
Озарена его лучом,  
Покрыта мохом и песком,  
Непроницаемой стеной  
Окружена, передо мной  
Была поляна. Вдруг по ней  
Мелькнула тень, и двух огней  
Промчались искры... И потом  
Какой-то зверь одним прыжком  
Из чащи выскочил и лег,  
Играя, навзничь на песок.  
То был пустыни вечный гость —  
Могучий барс. Сырую кость  
Он грыз и весело визжал;  
То взор кровавый устремлял,  
Мотая ласково хвостом,  
На полный месяц, — и на нем  
Шерсть отливалась серебром.  
Я ждал, схватив рогатый сук,  
Минуту битвы; сердце вдруг  
Зажглося жаждою борьбы  
И крови... Да, рука судьбы  
Меня вела иным путем...  
Но нынче я уверен в том,  
Что быть бы мог в краю отцов  
Не из последних удальцов.

Я ждал. И вот в тени ночной  
Врага почуял он, и вой  
Протяжный, жалобный как стон,  
Раздался вдруг... И начал он  
Сердито лапой рыть песок,  
Встал на дыбы, потом прилег,  
И первый бешеный скачок  
Мне страшной смертью грозил...  
Но я его предупредил.

Удар мой верен был и скор.  
Надежный сук мой, как топор,  
Широкий лоб его рассек...  
Он застонал как человек,  
И опрокинулся. Но вновь,  
Хотя лила из раны кровь  
Густой, широкою волной,  
Бой закипел, смертельный бой!

Ко мне он кинулся на грудь;  
Но в горло я успел воткнуть  
И там два раза повернуть  
Мое оружие... Он завыл,  
Рванулся из последних сил,  
И мы, сплеться, как пара змей,  
Обнявшись крепче двух друзей,  
Упали разом, и во мгле  
Бой продолжался на земле.  
И я был страшен в этот миг;  
Как барс пустынный, зол и дик,  
Я пламенел, визжал как он;  
Как будто сам я был рожден  
В семействе барсов и волков  
Под свежим пологом лесов.  
Казалось, что слова людей  
Забыл я – и в груди моей  
Родился тот ужасный крик,  
Как будто с детства мой язык  
К иному звуку не привык...  
Но враг мой стал изнемогать,  
Метаться, медленней дышать,  
Сдавил меня в последний раз...  
Зрачки его недвижных глаз  
Блеснули грозно – и потом  
Закрылись тихо вечным сном.  
Но с торжествующим врагом  
Он встретил смерть лицом к лицу,  
Как в битве следует бойцу!..

– Свободен! – сказал император, и Лермонтов, отдав честь и повернувшись кругом, зашагал по набережной, чувствуя на своей спине враждебные взгляды правителей России.

– Взгляд дерзкий, – сказал император.

– Как и стихи, – поддакнул ему Бенкендорф.

Продолжая смотреть вслед ушедшему Лермонтову, император распорядился:

– Не сразу, через некоторое время отправить в действующую армию на Кавказ.

– Вашим Высочайшим приказом произведем его из корнетов в поручики и направим в Тенгинский пехотный полк, под чеченские пули, – развил мысль своего повелителя Бенкендорф.

– Так и поступим, – решил судьбу Лермонтова император.

## ЛЕРМОНТОВ НА КАВКАЗЕ

Весной 1841 года сразу после отпуска, проведенного в Москве и Петербурге, Лермонтов по дороге на Кавказ вместе с оказией направлялся к одной из казачьих станиц.

На плацу, невдалеке от вала, окружавшего станицу, почти у самого выгона, происходило учение. Лихой унтер-офицер, стоя на крыше маленького сарайчика, проделывал перед строем роты Куринского полка ружейные приемы, а солдаты, выстроенные в одну шеренгу, повторяли их. В отдалении от фронта роты в глубоком соломенном кресле сидел майор и курил трубочку, время от времени потягивая из большой кружки горячий чай. Возле него стояли офицеры, о чем-то оживленно беседуя и не обращая внимания на топтавшихся в пыли солдат.

Оказия вышла из-за холма, и пешие солдаты уже показались вдали. Взвод казаков медленной рысцой обогнал телеги, направляясь к станице. Лермонтов ехал с ними.

— Рота, стой! — не поднимаясь с кресла, командовал майор и, наведя зрительную трубу на дорогу, сказал: — Оказия! Нужно встретить!

Колонна приближалась к станице. Уже отчетливо была видна поднявшаяся над дорогой и лесом сторожевая башня. Впереди раскинулась солдатская слободка, за ней темнела базарная площадь. Поодаль высилась деревянная церковь со сверкавшим над ней крестом. Земляной вал опоясывал станицу, в центре которой стояли стройные ряды белых каменных зданий. Потом опять шли улочки с казачьими хатами.

Хотя оказия была уже недалеко от станицы, походный порядок движения не был нарушен. Из ста-

ницы с криками и смехом бежали казаки, солдатки, торговки. При виде толпы стройный квадрат дрогнул. Прорывая солдатские ряды, кинулись в станицу истомленные долгим скучным путем маркитантки и обозные. Конвойные солдаты, сохраняя походный строй, подходили к станице. Запыленные артиллеристы, держа в руках дымившиеся фитили, спокойным шагом шли за орудиями, не обращая внимания на шум, поднятый обозом.

Капитан, крепко спавший в одной из фур, проснулся, протер глаза, соскочил на землю и, одергивая на себе сюртук, поспешил к майору. Подойдя к нему, он еще сонным голосом отрапоровал:

— Господин майор, честь имею доложить, оказия дошла благополучно. Происшествий в пути не случилось.

Офицеры обменялись рукопожатием.

\* \* \*

Лермонтов, уже неделю живший в станице, вышел на крыльцо дома, куда был определен на постой, и огляделся. Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце заходило за горы, но было еще светло. В свете зари матово белели громады гор, воздух был редок и неподвижен. Длинная тень ложилась от гор на степь. Лермонтов прошел по двору, на котором копошились и кудахтали куры. Большой рыжий петух важно прохаживался возле них, осторожно кося глаз на Лермонтова. Сердитый пес умными, внимательными глазами следил за ним, но не лаял. Дочка хозяев, босая, крепкая, здоровая, стоя у плетня, ворошила хворост вилами. Рядом лежала куча глины, смешанная с рубленой соломой и навозом. Девушка работала, не обращая внимания на Лермонтова.

– Люба, корму свиньям задай да воды налей! – выглядывая из дверей кухоньки, стоявшей в стороне от гостевой хаты, крикнула мать.

– Зараз! – Люба отставила к плетню вилы и, сверкая крепкими, белыми ногами, побежала к хлеву.

Лермонтов улыбнулся, глядя ей вслед, и вышел на улицу. Там сытые коровы и буйволицы разбредались по дворам, и казачки в цветных бешметах сновали между ними. Визжали казачата, гонявшие кубари на улице везде, где было ровное место. Старый казак с засученными штанами, возвращаясь с рыбной ловли, нес через плечо в переметке еще бьющихся серебристых рыб. Через заборы, чтобы не обходить, перелезали бабы. На каждом дворе слышалась усиленная хлопотня, предшествующая вечерней тишине. Из всех труб поднимался душистый дым кизяка. Теплый, пронизанный ароматами полей, густой и пряный воздух нагонял не то дрему, не то сонный покой.

На завалинке возле одной из хат сидели в компании нескольких казаков и казачек два безусых прапорщика. Тихо попивая чихирь, они мирно вели беседу, заинтересовавшую Лермонтова, и он остановился чуть поодаль.

– А как воюют чеченцы? – спросил юный прапорщик, еще не нюхавший порошу.

– Дюже крепко, вашсокбродь, – рассказывал пожилой казак с серебряной серьгой в ухе. – Я с персюками воевал, с туркой схлестнуться бог дал, с французом дрался, а эти покруче и окаянной будут... И то сказать, мы их уничтожить пришли, так чего ж они хорошего от нас ожидают...

– Ты прав, философ, – согласился второй безусый прапорщик, но видно уже бывавший в деле, поскольку



ку на его расстегнутом мундире поблескивал «Георгий».

— А как же... Заяц и тот за свое дите на волка с когтями кидается, а это люди... У них и свой бог, и своя жизнь, а мы на них со штыком, да пушками, — сказал казак.

— А что, вашсокбродь, разве нельзя с ними по-другому, по-хорошему? — вдруг спросил он у прапорщика с «Георгием».

— Можно бы, коли сами мы были иными, — тихо сказал прапорщик и залпом выпил кружку чихиря.

Где-то замычали коровы, напомнив прапорщикам их детство, деревни, где они проводили лето. Ведь они были помещиками, так или иначе связанными с крестьянами и деревенской жизнью.

— И сено тут пахнет, как у нас под Тулой, и коровы мычат, как везде в России, — мечтательно произнес еще не бывший в деле молодой офицер.

— Только что люди другие, орда некрещеная за Тереком и Сунжей, а так все одинаково, — поддержал его казак с серьгой в ухе.

— А и люди здесь тоже одинаковые, ваше благородие, — вмешалась в разговор одна из казачек. — Те же человеки, такие ж, как и мы, грешные. И добрые, и злые, а сказать про ихну жизнь, так дай бог, чтоб наши мужики да бабы так в ладу да согласии жили, как они.

— Это как же? — озадаченно спросил прапорщик с «Георгием».

— А так... Вот и в Грозной, и на хуторах, и поблизости к крепости чечены живут мирные, так никакого обмана да беспорядка от них не видим. Коли ежели чего обещали — сделают, и помочь, и достать чего — в аккурате... А как детишек своих любят! Для них без детишков и семья не в семью...

– Это чечены-то? – с неодобрительной ухмылкой осведомился один из казаков. Его правую щеку «украшал» страшный сабельный шрам.

– Они... Ежели ты с ими добром, так и они к тебе с миром. Вон, спроси Нюрку, – кивнула казачка на свою соседку. – Сколько тут есть мирных кунаков, мы с их марушками, ну, значит, с бабами, – пояснила она офицерам, – и дружим, и куначим. Чего ж плохого в этом? Одно добро. Друг дружке помогаем. Мы к ним в гости ходим, детишкам когда сахару али леденцов принесем. Они нас как своих почитают, а таких как мы с Нюркой у нас много кто осуждает, «нехристи, басурмане, нелюди...». И еще бог знает что болтают. А я так скажу – дрянных людей везде хватает, а середь наших, русских, и того поболее.

– Ишь ты, раскудахталась как, за гололобых в защиту пошла. Попадись ты им одна в поле али за Тереком, они тебе покажут доброту... – обозлился казак со шрамом.

– Бывали мы за Тереком и за Сунжей, ничего плохого не случилось, а вот от вашего брата казака как от первого охальника стеречься надо. Хуже последнего чечена себя обозначаете, – забыв про постояльцев-офицеров, распалилась казачка.

Лермонтов усмехнулся и пошел дальше по улице к выходу из крепостцы. Недалеко от ворот в живописной рощице собрались несколько офицеров, они развели костер, жарили шашлык, пили молодое кизлярское вино. Лермонтов присел к костру, ему протянули бокал с вином, он взял его, отпил глоток, задумчиво смотрел, как играет огонь на костре.

– Жизнь у них хоть и суровая, патриархальная, но свободная, со своим укладом, – рассказывал собравшимся у костра молодым офицерам седоусый капитан. – Порядок очень строгий, между собой все

равны, только власть имама и над ним – бог. Все аульское начальство, судьи, муллы – выборные, никто не давит на людей.

– А у нас они получают крепостное право, рабство, – сказал один из молодых офицеров.

– Это все непременно, – усмехнулся седоусый капитан.

– Чем же живут мюриды, поднявшие чеченцев на войну? – спросил тот же молодой офицер.

– Народ дает им воинов, платит налоги на войну и армию, справедливо распределяет между собой подати и трудности войны. Они собираются в поход быстро...

– Веселятся? – перебил рассказчика другой молодой офицер.

– Этого нет. Спиртного не пьют. Имам настрого запретил, а где нет вина, там нет и песен. Но они чище нас, ближе к природе и не испорчены цивилизацией и торговлей, – продолжал рассказывать капитан, но тут его перебил такой же седоусый офицер:

– И все же мы все видим, как они устали от войны, как бьются из последних сил, как пустеют их аулы, гибнет скот, посевы, сады. Ведь наши первым делом уничтожают то, что кормит горцев. Просеки и дороги, блокгаузы и форпосты все глубже врезаются в их земли... Опять же усталость, болезни, голод, смертность... Мне искренне жаль этих хороших, трудолюбивых людей. Они будут раздавлены русской машиной, силу которой даже не в состоянии понять.

– Я думал над этим, – сказал капитан. – Мне кажется не силой, не уничтожением их аулов и людей, а признанием равноценности наших культур, права чеченцев жить по своим законам и традициям, отводом войск и примирением, взаимовыгодной торговлей с горцами, мирным экономическим освоени-

ем края, просвещением и образованием, мы быстрее и с меньшими потерями решим проблему. Зачем нам лезть в горы и варварскими методами покорять жителей этого свободного края, который и так уже внутри Российской империи. Чеченцы сами спускаются в долины и ведут торговлю с нами. Они в этом жизненно заинтересованы. Пусть не будет громких побед, реляций и наград, но мир, добрососедские отношения с горцами упрочат позиции России на Кавказе, навсегда обезопасят ее южные границы. Горские народы, добровольно вошедшие в состав России, станут самыми верными ее союзниками, частью ее культурного пространства.

– Я слышал о таком роде замирения еще в Петербурге, – сказал Лермонтов. – Это была идея генерала Муравьева. Царь отверг ее.

Седоусый капитан хотел что-то ответить, но вместо этого только махнул рукой и взял гитару.

– Заранее прошу простить меня за содеянное над вашими чудными стихами святотатство, – сказал он, обращаясь к Лермонтову. – Я попытался положить их на музыку. Будьте великодушны к исполнителю, господа.

Он взял на гитаре несколько аккордов и запел:

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!  
Спит земля в сиянье голубом...  
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!  
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...  
Я б желал навеки так заснуть,  
Чтоб в груди дремали жизни силы,  
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  
Про любовь мне сладкий голос пел,  
Надо мной чтоб, вечно зеленея,  
Темный дуб склонялся и шумел.

Лермонтов смотрел на лица сидящих офицеров, причудливо освещенных изменчивым светом костра, на силуэт далеких гор, на звездное небо, на костер, и перед мысленным взором поэта возникла картина полуразрушенного монастыря, и вновь зазвучали строки, которые уже родились было перед встречей с императором в заснеженном Петербурге:

Когда я стану умирать,  
И, верь, тебе недолго ждать,  
Ты перенеси меня вели  
В наш сад, в то место, где цвели  
Акаций белых два куста...

## ЗАХАРОВ И ДОЧЬ АПТЕКАРЯ

В знакомой нам мастерской в Петербурге Захаров читал для двух своих друзей эти же стихи:

Когда я стану умирать,  
И, верь, тебе недолго ждать,  
Ты перенести меня вели  
В наш сад, в то место, где цвели  
Акаций белых два куста...  
Трава меж ними так густа,  
И свежий воздух так душист,  
И так прозрачно-золотист  
Играющий на солнце лист!  
Там положить вели меня.  
Сияньем голубого дня  
Упьюся я в последний раз.  
Оттуда виден и Кавказ!  
Быть может, он с своих высот  
Привет прощальный мне пришлет,  
Пришлет с прохладным ветерком...  
И близ меня перед концом  
Родной опять раздастся звук!  
И стану думать я, что друг  
Иль брат, склонившись надо мной,  
Отер внимательной рукой  
С лица кончины хладный пот  
И что вполголоса поет  
Он мне про милую страну...  
И с этой мыслью я засну,  
И никого не прокляну!

Захаров кончил читать и долго стоял с раскрытой книжкой в руках, забыв перевернуть последнюю страницу.

Потом он тяжело вздохнул, закрыл книжку и положил ее на стол.

На обложке было написано: М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  
«МЦЫРИ». ПОЭМА.

Захаров провел по обложке ладонью, словно погладил ее. Потом он подошел к стоявшей на столе в углу мастерской картине. Это была копия портрета Лермонтова, который когда-то в Петербурге рисовал художник. Но здесь Лермонтов был изображен с тремя звездочками на эполетах, т. е. уже поручиком. На столе около портрета стояла свеча. Захаров зажег ее, потом достал из шкафчика рюмки, графинчик с водкой, хлеб. Одну рюмку он поставил перед портретом, налил в нее водку, сверху накрыл кусочком черного хлеба.

— Помянем! — обернулся Захаров к своим товарищам. — Три года как... В этот день...

Они, не чокаясь, выпили.

— Он говорил, что только на Кавказе, среди гор и дикой природы чувствует себя свободным, — сказал Захаров. — А там нашел свою смерть.

В его сознании вновь возникли картины горской жизни, воспетые поэтом.

И дики тех ущелий племена  
Им бог свобода, их закон война.  
Они живут среди разбоев тайных,  
Жестоких дел и дел необычайных.  
Там в колыбели песни матерей  
Пугают русским именем детей.  
Там поразить врага не преступленье,  
Верна там дружба, но вернее мщенье.  
Там за добро добро и кровь за кровь,  
И ненависть безмерней, чем любовь...

\* \* \*

...Захаров медленно брел по Невскому, его лихорадило. Он зашел в аптеку, купил рекомендованные ему аптекарем лекарства от простуды. И здесь, в аптеке, он увидел женщину, ставшую его судьбой, Анну Постникову.

Она была дочерью аптекаря, человека старого и болезненного: чахотка съедала его. В Анне художника поразила какая-то незащищенность, неброская красота, деликатность. Анна тоже обратила внимание на молодого человека, который стал постоянно заходить в аптеку, иногда она видела его около своего дома. И хотя они не обмолвились ни словом, их глаза, их взгляды говорили о многом...

Наконец, Захаров решился: он представился аптекарю и попросил разрешения написать портрет его дочери. Аптекарь согласился, согласилась и Анна.

Пока Захаров писал этот портрет, молодые люди не обменялись и десятком фраз, оба были чрезвычайно сдержанны, целомудренны и деликатны, и боялись открыть друг другу свои искренние чувства.

Смерть аптекаря от скоротечной чахотки развязала им руки. Захаров сделал Анне предложение, оно было принято. Молодые были счастливы, тревожили только недомогания Анны, ее кашель. Потом стал покашливать и Захаров. Они решили, что виной всему – гнилой петербургский климат, и переехали в Москву. Поселилась молодая чета в доме Петра Николаевича Ермолова, воспитателя Захарова.

\* \* \*

...Стемнело и дальше нельзя было рисовать. Захаров вздохнул и отложил кисти. Он работал над автопортретом, где изобразил себя горцем с ружьем, в папахе и бурке. В задумчивости художник подошел к висевшему на стене портрету Алексея Петровича Ермолова. Герой Отечественной и Кавказской войн был величественен и суров. Его взгляд был направлен куда-то в сторону, словно он отводил глаза. И так получалось, что генерал смотрел на автопортрет За-



харова. А тот из-под надвинутой на лоб мохнатой папахи смотрел прямо на самого художника...

В двери постучали и на пороге появился слуга.

— Петр Захарович, тут к вам какой-то кавказец. Пустить?

— Кавказец? — удивился Захаров. — Пусть зайдет.

Слуга исчез, а через минуту в комнату вошел высокий мужчина, одетый в черкеску. Увидев Захарова, он так и впился в него глазами. Потом внимание вошедшего привлек автопортрет.

Наружностью незнакомец чем-то неуловимо был похож на Захарова, на того, что был изображен в виде горца на автопортрете.

Незнакомец по-чеченски обратился к Захарову:

— Покажи правую руку.

— Я вас не понимаю, — сказал Захаров.

— Ты не помнишь наш язык, — сказал по-русски незнакомец, и явное сожаление прозвучало в его голосе. По-русски он говорил чисто, правда, с характерным акцентом.

— Я попросил тебя показать правую руку, — по-русски повторил свою просьбу незнакомец.

— Зачем? — удивился Захаров. — И кто вы такой?

— Покажи руку и тогда я все объясню тебе! — настаивал незнакомец.

Захаров недоуменно пожал плечами и протянул правую руку. Незнакомец быстро поднял рукав блузы художника. На руке был отчетливый шрам в виде креста или буквы «Х».

— Слава Аллаху! — сказал незнакомец. — Я нашел тебя.

— Объяснитесь, наконец, — Захаров начал терять терпение.

— Твоя сестра сказала мне, что, если я найду тебя, она выйдет за меня замуж, — сказал незнакомец.

– Какая сестра? – Захаров ничего не мог понять.

– Она тоже осталась в живых и видела, как казак взял тебя, – объяснил незнакомец.

– Где, когда? – недоумевал Захаров.

– Когда русские взяли Дади-Юрт, – сказал незнакомец. – А шрам на руке у тебя с двух лет. И сестра помнила о нем. Как бы я тебя иначе узнал? Аллах свидетель с каким трудом я нашел того казака...

Незнакомец спал, укрытый пледом, на стоявшей в углу мастерской тахте. Захаров сидел в кресле, было темно, но он не зажигал огня. Потрясенный, он смотрел на портрет Ермолова, но словно и не видел его. Перед его внутренним взором открылось то, что так долго скрывала от него память, которую пробудил рассказ незнакомца.

## НАПАДЕНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ НА ЗАСТАВУ

Была ночь и черные отроги гор потонули во тьме. На заставе уже сменились посты, костер все еще пылал, но люди вокруг него спали. От реки несло прохладой, в далеких камышах чуть слышно гоготали и крикали утки.

Вдруг рядом, совсем близко, из мглы грохнул рваный, неровный залп. Вспыхнули и погасли огоньки кремней, и свист пуль слился с выстрелами и громкими криками:

— Ал-л-лла-а!!!

Кто-то в темноте крикнул:

— Тревога! Тревога!

Разбуженные солдаты уже метались по заставе, наугад стреляя в ночную мглу. Горнист заиграл «Тревогу». Из темноты вырвались бегущие вперед фигуры чеченцев. Быстрые, увертливые, они стали рубить не успевших отбежать солдат.

Испуганные кони, сорвавшиеся с привязей, носились по поляне. Стоны раненых и огонь нападающих слились с ржанием коней, криками «алла» и хрипом умирающих изрубленных людей. И вдруг разом все стихло.

Солдаты крестились:

— Ушли гады!

\* \* \*

Через день егеря хоронили павших в ночной стычке шестерых товарищей. Полковой священник негромко отпевал убитых. Хор солдат глухими, поникшими голосами спел заубойную молитву. Грянул залп, и все шесть гробов, медленно и тихо покачиваясь, легли в общую братскую могилу, вырытую недалеко от церкви, в ограде ее.

\* \* \*

У генерала фон Граббе состоялся военный совет. В комнате сидело четверо: сам генерал, двое штабных с картами в руках и пожилой остзейский барон полковник Пулло, назначенный начальником отряда, выступавшего в поход.

Докладывал начальник штаба:

— Его превосходительство генерал Ермолов на донесение о нападении чеченцев на нашу заставу изволил ответить сею весьма энергетической и неодобрительной бумагой. Командир корпуса не допускает мысли, что содеянное горцами злодейство могло быть не отмщено.

— Я шитаю его инструкции, — перебивая начальника штаба, сказал Граббе с сильным немецким акцентом прочел выдержку из письма Ермолова: «При подлом нападении чеченских бродяг на караул у крепости Внезапная убиты шесть русских воинов. Войска наши допущены бывают к потерям только лишь исключительно нерадением и невниманием начальников. Русская кровь, которую пролили оборванцы из чеченских бродяг, требует своего отмщения. За одну русскую смерть они должны заплатить десятью. И эту сию меру следует неукоснительно иметь перед собой, когда наши храбрые войска пойдут в горы отмщать за павших. Неудовольствие свое за нерадивость господам офицерам при сем объявляю. Начальник Отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии и артиллерии Ермолов».

Фон Граббе смолк и многозначительно оглядел слушающих. Полковник Пулло разгладил бороду и сказал:

— По нашим сведениям бандиты были из аулов Дади-Юрт и Брагуны.

Карандаш начальника штаба заходил по карте:

— У границ гудермесского леса имеются у дорог и просек четыре старых завала, не уничтоженные в прошлую экспедицию. Здесь войска, конечно, встретятся с врагом, и отсюда начнутся боевые действия. Первый батальон егерей с одним единорогом, тремя орудиями и двумя ракетными станками двинется через эту просеку, в лоб на аул. Три роты куринцев с сотней моздокских казаков пойдут с левого фланга, подкрепленные одной мортирой и десятифутовым единорогом. Еще три роты Куринского полка с двумя сотнями казаков и пятью фальконетами охватят этот овраг и, форсируя его, выйдут справа через лес на пастбища аула, где казаки должны будут отогнать на наши резервы весь скот чеченцев. Резерв из трех рот егерей, батальона куринцев; двух сотен моздокцев и пяти орудий будет находиться при вас и употреблен будет согласно обстановке и вашему усмотрению.

Пулло молча отдал честь.

— Я надеюсь, что честь русской оружие будет вознесено на очень большой высот, — напыщенно произнес фон Граббе, вставая. — Я уверен, что презренный враг опять изведает острой русской штик...

## ОКРУЖЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДАДИ-ЮРТА

Отряд уже втянулся в густой гудермесский лес. Впереди, где-то за деревьями, шла редкая, ленивая перестрелка. Одиночные выстрелы глухо расплзались в сырой полутьме дремучего леса. По неширокой вязкой просеке тянулась единственная проезжая дорога, искалеченная колесами русских пушек. Солдаты шли во взводной колонне, выставив от батальонов фланговое охранение. Несмотря на приказ о стремительности набега, отряд шел не спеша, осторожно прощупывая разведкой густые кусты и непроглядную темь тесно сгрудившихся вековых деревьев. Пушки медленно катились по влажной земле, часто застревая в глубоких выбоинах и овражках. Длинной извивающейся змеей шел отряд. Бряцали шашки казаков, поскрипывали орудия, блестили штыки. До аула Дади-Юрт оставалось не более трех верст и эта таинственная тишина замершего леса, и непрерывавшаяся перестрелка с невидимым врагом, и самая близость аула нервировали солдат.

Лес стал редеть. Впереди просветлело. Передовые роты остановились, перестрелка стала сильней. По колонне пробежал неясный, сдержанный гул. Вдоль дороги, объезжая остановившийся отряд, на рысях пронесся полковник, окруженный штабом.

– Батарею вперед! – пробежало по колонне, и три медных единорога, блестя сияющими начищенными частями, понеслись к опушке.

Где-то в стороне ухнул недружный залп и послышались разрозненные крики «ура».

Солдаты обнажили головы и закрестились. Подскакавший адъютант крикнул:

– Колонна, бегом!

Офицеры, поддерживая шашки, бросились вперед, слыша за собою топот сотен бегущих ног.

Аул Дади-Юрт был одним из самых цветущих притеречных аулов. Он вел торговлю с горной Чечней, кумыкской плоскостью, с казаками и степными ногайцами. Окруженный большими фруктовыми садами он террасами сходил вниз к нивам и пастбищам, по которым с гиком и воем мчались сейчас казаки. В стороне валил дым, сквозь который уже пробивались длинные языки пламени. Это горели подожженные казаками аульские скирды. По кривой улочке бежали люди. Все чаще и сильнее гремели выстрелы. Со стороны мечети, пристегивая на бегу шашки и забивая шомполами заряд, сбегали вниз к садам толпы чеченцев.

– Бат-тальо-о-н, в цепь! Первая рота, направление на мечеть! Третья и четвертая, в сады, бегом марш! Вторая, в резерв! – послышалась зычная команда полковника Пулло.

– Батарея, ог-гонь! – выкрикнул кто-то слева, и сейчас же блеснули один за другим три ярких огня. В клубах дыма рванулись и засвистели над головой ядра.

Над аулом лопнули и разлетелись гранаты. Одно из ядер попало в мечеть и, пробив черепную крышу минарета, разорвалось в нем. По верхней улочке бежали женщины, было видно, как суетились люди, спешно нагружая арбы. Длинная вереница людей и скота уже тянулась вверх, уходя в сторону горной Чечни.

Перестрелка перешла в учащенный, непрекращающийся огонь, пули стали долетать и до батарей. Иногда они щелкали по толстым стволам чинар и, жалобно свистя, проносились в лес. Пронесли убитого. Санитары с носилками кинулись вперед. Из садов сильней и ожесточенней затрещали выстрелы, и первая цепь егерей, не дойдя до моста, остановилась и залегла.

– Ог-гонь!! – снова скомандовал полковник, и батарея открыла очередями частый огонь, бросая ядра в опоясанный дымом, грохочущий, отбивающийся аул.

Вдруг за холмом, со стороны шелковской дороги, послышалось «ура». Колонна беглецов остановилась. Было видно, как дрогнули и смешались передние. И снова где-то за горой, уже ближе, раздался залп. Полковник Пулло вынул часы и довольным голосом сказал окружавшим его офицерам:

– Это полковник Дроздов с куринцами. Молодец! Подоспел вовремя.

Вереница отступавших беглецов суматошно заметалась и, бросая арбы, кинулась обратно к аулу. Было видно, что во всей этой торопливой грудке мечущихся людей не было ни одного мужчины. Это были женщины, дети и старики. За горою грохотали выстрелы, несколько солдат уже показались на гребне, обстреливая бегущих людей. Часть чеченцев, занимавших сады, видя это, бросились через плетни и перелазы вверх к аулу. Залегшие перед мостом солдаты, ободренные подходом куринцев, поднялись и, крича «ура», кинулись к мосту. Рота, шедшая со стороны просеки, вошла в ручей. Егеря, поднимая над головой ружья, спотыкаясь и скользя, переходили вброд быструю речонку. Залегшие в садах чеченцы открыли огонь. Сраженные пулями солдаты срывались с места, падали и разбивались о камни. Но остальные, хрипло крича и стреляя на бегу, лезли вперед и, перейдя реку, атаковали сады.

Орудия, немолчно бившие по садам, перенесли огонь на аул, стремясь зажечь сакли чеченцев.

Полковник озабоченно поднялся и, тревожно оглянувшись, крикнул:

– Резерв, вперед!



В садах закипел рукопашный бой, чеченцы с обнаженными шашками в руках кинулись навстречу егерям.

Солдаты вскочили и, для чего-то оправляя смятые, сбитые от лежания на земле кители, тревожными, сухими глазами стали смотреть вперед, туда, где кипел и грохотал рукопашный бой.

— Вторая, вперед, бегом ма-рр-ш! — раздалась команда. Но атака егерей была отбита.

Пока проходили из резерва роты, ворвавшийся в сады батальон был смят и отброшен за мост. Несколько солдат, успевших залечь за камни, еще отстреливались из-за своих прикрытий, но расстроенные, смятые роты уже откатились на набежавшие сзади резервы. Бой затих. Сады снова замолчали, и только отдельные выстрелы да черневшие по берегу убитые напоминали о горячей схватке. Зато наверху сильнее трещали залпы. Куринцы, занявшие проходы и хребет горы, продольным, залповым огнем и частой картечью громили аул, и дважды бросавшиеся в шашки чеченцы, не дойдя до русских, были разметены.

Полковник Пулло передвинул свой штаб вперед и, сидя на барабане, диктовал приказ всем трем группам, окружившим аул.

— Ровно в двенадцать часов пополудни всем батареям вверенного мне отряда открыть сильнейший огонь по аулу и через тридцать минут канонады, то есть в половине первого, по сигнальной ракете, данной мною, одновременно атаковать с трех сторон аул и...

— Кажется, парламентареры едут, — не отнимая от глаз подзорной трубы, проговорил один из адъютантов.

Со стороны аула ехали трое конных. Один из них держал огромный зеленый значок с вытканым в

углу полумесяцем. Другой размахивал белым шарфом и что-то кричал, но крика его нельзя было разобрать. Кто-то из русских офицеров встал и, подняв над головою фуражку, пошел через мост навстречу выезжавшим из садов всадникам.

– Кто это?! – спросил полковник.

– Егерский офицер. Смелый малый, – передавая трубку полковнику, сказал адъютант.

Выстрелы смолкли, и даже наверху, на хребте затихла орудийная стрельба. Офицер подошел к конным, и через минуту все четверо перешли мост, откуда конные, минуя залегшие роты, направились к ожидавшему их полковнику.

Вперед выступил плотный пожилой чеченец и без помощи переводчика сказал:

– Я староста Дади-Юрта. Меня зовут Булат. Почему вы напали на село? Был мирный договор...

– Разбойничьи шайки дерзнули посягнуть на жизнь русских воинов и за это аулы, укрывающие преступников, будут преданы огню и мечу!! – ответил полковник. – Вы все преступники!

– Нехорошо говорите, полковник. Посмотрите кругом, – он повел рукой, указывая на обширные ухоженные уголья села. – У нас хорошая земля, и нам хватает того, что она родит для нас. Зачем нам разбой, зачем нападать на других?.. В нашем Дади-Юрте нет преступников, которых вы ищете. А с мирными людьми воевать нехорошо, позорно...

– Русская кровь, пролитая разбойниками, вопиет о мщении, – холодно сказал полковник Пулло.

Чеченец нахмурился:

– Заложников, аманатов дадим.

Полковник отрицательно покачал головой.

Чеченцы переглянулись.

– В ауле много женщин, детей, стариков... – сказал Булат.

– По приказанию его превосходительства генерала Ермолова выход из аула разрешен только жителю сего аула – чеченцу Харону Мукуеву из Грозненского менового двора со всей его семьей.

– А остальные? – коротко спросил чеченец.

– Подвергнутся экзекуции, – также коротко ответил полковник.

Наступило молчание. Адъютант отряда протянул Булату пропуск для Харона, но тот, словно не видя протянутой руки офицера, снова сказал:

– Пропустите наши семьи в горы.

– Нет!

– Тогда прошу разрешить уйти из села и русскому Егору Карпинскому.

– Кто он?

– Казак.

– Что здесь делает?

– Живет.

– Один?

– С семьей.

– Пусть выходят вместе с Хароном. Через этот пост, – офицер указал на шалаш, сколоченный на скорую руку у развилки двух проселочных дорог.

– Может, подумаете, полковник?.. – в последний раз попросил Булат.

– Нет надобности! Генерал Ермолов приказал наказать мятежников, и аул Дади-Юрт будет разрушен. Его сравниют с землей. Разговоры излишни, – сказал полковник и отошел к группе штабных офицеров, слушавших их.

Булат легко вскочил в седло и громко обратился к русским офицерам:

– Аллах покарает вас за убийство безвинных людей. Плохо делаете, полковник...

– Все непокорные будут уничтожены, – процедил сквозь зубы полковник.

– Ну что ж... Сегодня вы увидите бой с мирным селением, отвыкшим от оружия, – сказал Булат и, помолчав немного, добавил, – У нас говорят: «Лучше умирать на своей земле, чем на чужой, без могил». Мы умрем там, где родились, а вот ваши солдаты...

Булат не договорил и, повернув коня, поскакал в аул. Сопровождавшие его чеченцы последовали за ним.

Когда парламентары переехали мост, полковник Пулло повернулся к адъютанту и продолжал диктовать приказ:

– Атаковать с трех сторон Деди-Юрт и по взятии разрушить и сжечь его до основания. Пленных не брать, кроме уцелевших от огня скота, детей и женщин.

\* \* \*

Из-за плетней показались головы людей, жадно вглядывавшихся в подъезжавших парламентаров. Из садов, из оврагов их окликали тревожные голоса. У самого аула прямо под ноги коня бросился пожилой босой чеченец, державший в руке дымящееся ружье. Его напряженный взгляд, голос выдавали волнение:

– Ну что, русские уйдут?

Булат, ехавший первым, молча покачал головой. Глаза босоногого округлились, лицо посерело.

– Почему? Что им нужно? – срывающимся голосом спросил он.

– Они хотят перебить нас. Так приказал сардар Ярмол. Кроме семьи Харона...

Из садов высыпали чеченцы. Над плетнями стояли люди. Слова Булата были так неожиданны и жестоки. Все молчали, не находя, что спросить. И только босоногий выкрикнул уже надсадно и с тоской:

— А наши семьи, а дети?

Взоры всех впились в суровое лицо делегата. Он вздохнул, тронул повод и, уже отъезжая, крикнул:

— Всех! Теперь нам осталось одно — достойно умереть.

И, ударив коня плетью, помчался вверх к мечети, где его ждала взволнованная, тревожная толпа.

\* \* \*

У мечети стояли люди. Это были жители верхнего аула. Возбужденные, озабоченные, встревоженные, они с надеждой и тревогой смотрели на подъезжавших всадников. Никому из них не хотелось умирать в этот прекрасный день, когда светило горячее солнце, зеленели и наливались сады, и тучным желтеющим морем колыхались созревшие нивы.

Быстрое возвращение посланных, их хмурые, суровые лица и злоецающая неподвижность залегших под аулом русских цепей не предвещали ничего хорошего. Состояние тревоги охватило людей. Внезапное появление отряда отрезало путь отступления. И только теперь поняли они, что, окруженные, отрезанные от гор, почти безоружные, без артиллерии и резервов, они должны будут согласиться на все, решительно на все требования врага, вплоть до переселения за русскую кордонную линию.

Но паники не было, и не было страха на лицах людей. Да и как мог чеченец показать свою слабость перед отцом, матерью, женой, детьми, односельчана-

ми?!.. Воспитанная веками гордость не дала бы этого сделать. И еще, наверное, в душах людей теплилась надежда на мирный исход...

Мулла, поговорив с Булатом, обратился к собравшимся:

– Люди! Правоверные! Русский генерал не хочет даже разговора о мире. Да и не для того они пришли сюда. Никакие просьбы и разговоры не помогают. Они пришли захватить нашу землю, уничтожить нас и сжечь аул. Как поступим? Будем пробиваться в горы или примем бой у своих очагов?

Толпа зашумела, выкрикивая проклятия и воинственные угрозы: «Будем драться!» «Мы дома!» «Аллах с нами!» «Не пожалеем вражьей крови!».

Высокий тощий горец, заломив лохматую папаху на затылок, спросил у муллы:

– Ты говоришь, что русским нужна наша земля. А своя у них есть?

– Есть.

– На ней кукуруза созревает?

– Да.

– Они ее всю засеяли?

– Думаю, нет.

– Тогда объясни мне: для чего им наша земля? – чеченец вернул папаху на свое место.

– Чтобы у них больше стало.

– Если они на ней ничего не выращивают, то зачем она им? – не унимался владелец папахи. – Выходит, они умирают здесь, на чужбине, без могил, как безродные, за землю, которая их богатыми не делает.

– Они так много завоевали земли, что у них не хватает сил ее охранять, не то чтобы ее обрабатывать, – ответил за муллу Булат.

– Может быть, ты не так объяснил генералу... За что жечь аул? – раздался чей-то молодой, тревожный голос.

– Пошлем снова... – неуверенно предложил кто-то.

Булат безнадежно махнул рукой и, оглядывая собравшихся людей, сказал:

– Ничего не поможет, приказано уничтожить наш аул, – и, презрительно усмехаясь, он горько добавил: – Они пожалели только одного Харона и его семью.

Люди зашумели.

– Да, Харон. Тебе русский генерал одному из всего аула разрешил с семьей уйти отсюда, – сказал Булат, обращаясь к полному краснощекому чеченцу в белом стеганом бешмете и мягких чувяках на босу ногу. Тот неуверенно и радостно вскрикнул и, пробиваясь сквозь толпу, срывающимся голосом спросил:

– Это... правда, Булат?

– Правда! За твою любовь к русскому падишаху и его рублям Ярмол разрешил тебе выйти из аула.

Полный чеченец, не замечая сухого и презрительного тона Булата, взволнованно засуетился и, еще больше краснея от неожиданной радости, забормotal:

– Я сейчас поеду туда, к генералу, я отведу беду от вас, я сейчас...

И, оглядывая полными животной радости глазами окружающих, не в силах сдержать себя от нахлынувшего счастья, он еще быстрее и бессвязней заговорил:

– Они послушают меня... они не тронут вас... Ведь я хорошо знаю русских... Им надо только попугать вас... Я уже пять лет торгую с ними... Я сейчас... Я это быстро улажу...

И он почти бегом прошел сквозь молча расступившуюся толпу, крича на бегу женам:

– Быстрее грузите арбы и запрягайте быков! Не медлите. Чего вы стоите?

– Я остаюсь с сыном, – заявила старшая из жен Аминат, пряча под широкой юбкой кинжал.

– Не позволю! Убью! Где он? – закричал Харон. Выбежала во двор вторая жена Асет.

– Сыновья твои остаются, и ты не позорься, – сказала она.

– Вы с ума сошли. Всех убьют. Нам дают жизнь!..

– Жизнь дает только Аллах, а не враг, – сказал старший из трех сыновей, вошедших во двор с ружьями в руках.

– Их много, у них пушки, – трясся торговец. – Нас мало.

– На нашей стороне каждый куст, дерево, камень... Будем драться. Уйдешь – отречемся...

Харон с обезумевшим взглядом попятился и убежал со двора.

\* \* \*

Тем временем Булат отыскал в толпе людей, расходившихся с площади у мечети, одетого как чеченец человека, но явно русской внешности. Чубатый, курносый, голубоглазый Егор Карпинский был истинным казаком. Но так случилось, что будучи раненым попал лихой казак в чеченский плен, в аул Гелдыген. Там его выходила молодая чеченка, в которую Егор и влюбился без памяти. Девушка, как говорится, ответила ему взаимностью. Вся эта история не очень нравилась родственникам девушки, и молодые, подальше от греха, уехали в Дади-Юрт. Здесь они счастливо жили уже не первый год, наро-



жав целую кучу голубоглазых и белоголовых как отец ребятишек. Через некоторое время утихомирились и родственники девушки, в чем главную роль сыграло наличие кучи детишек и заступничество Булата.

— Егор, — обратился к Карпинскому Булат. — Русские обещали выпустить и тебя с семьей.

Егор удивился и начал было оправдываться:

— Я никого не просил...

Но Булат перебил его:

— Это я просил русского полковника.

Егор стал наливать гневом:

— Мать твою... За меня решаешь? Трусом меня считаешь?

Егор схватился за кинжал, но люди встали между ним и Булатом.

— Тебя убивать будут, а я — в кусты? — свирепел Егор. — Этого я тебе, Булат, никогда не забуду!

— Я виноват перед тобой, казак... Прости, — тихо сказал Булат.

— Не прощу, — уже теряя запал, сказал Егор. — Дурак ты...

И вдруг притянул к себе Булата и обнял его...

— Готовьтесь к бою! — прокричал мулла.

Из-за плетней и каменных оград выглядывали люди. Голос муллы, мощный и звонкий, разливался далеко, и даже женщины, прятавшиеся в саклях, слышали его. Где-то совсем близко истошно заплакал ребенок. Чеченцы, насупившись, молчали. Страшная минута конца подошла к ним, и они поняли это только сейчас, после призыва своего муллы...

\* \* \*

Здесь уместно сделать небольшое историческое отступление, которое, на взгляд авторов, позволит более полно и достоверно понять психологию последнего поведения жителей Дади-Юрта.

Когда чеченцы поняли, что мирный исход исключен, к ним вернулось полузабытое психологическое состояние война: в словах и действиях появились лихость, задор, раскованность. Каждый готовился драться и делать это спокойно и расчетливо, зная исход. Простившись с жизнью, они думали лишь о том, чтобы враг за нее дорого заплатил и запомнил эту цену.

Многочисленные нашествия захватчиков выработали у чеченцев стойкость против насилия и лишений, жестокости и коварства. Именно она спасала этнос в лихолетье, она была единственным гарантом их бытия. Поэтому чеченец никогда не плакал, не стонал и не жаловался.

Чеченка могла выразить соболезнование слезами близким, но не смела плакать на похоронах своего сына или мужа. Здесь она принимала соболезнования и успокаивала безутешных родственников. Эти суровые качества она должна была проявлять тем чаще, чем меньше было мужчин, способных достойно вынести утрату.

Постоянные набеги завоевателей, необходимость вести походный образ жизни сформировали и быт чеченца: постель, одежда, еда – все умещалось в небольшой поклаже, переносимой членами семьи. Они могли неделями питаться одной мукой из жареной кукурузы или сухофруктов, а пиршество с национальным блюдом (жигиг-галныш) устраивали, используя одну кастрюлю и две-три разновеликие деревянные миски. Специфическая пища сформировала и внешний облик чеченцев, людей сухопарых, сильных и выносливых.

И в танце у чеченца на первом месте стояли не красота движений и чувство ритма, а буйство и неукротимость характера, неисчерпаемость сил и новиз-

ны движений. Все, что лежало между двумя полюсами человеческих чувств – горем и радостью – также было подчинено характеру неустрашимого воина. Считалось непристойным шумно выражать и радость, и боль. Голову юноши брили перочинным ножом, заправляя лезвие тут же под ногами подобранным камнем, а затем протирали кровоточащую голову солью. Если эта кашица на голове изменит голос парня или увлажнит глаза – все: это слабый человек, на смех поднимают.

Если в ссоре чеченцу говорили: «Ты – женщина», имелось в виду: ты слаб как женщина. А для общества, сохраняющего себя только боевыми качествами его членов, это обвинение было жестоким. Поэтому храбрость демонстрировалась кинжальными боями между чеченцами столь часто, что порою трудно было брить голову из-за обилия рубцов и шрамов. Археологи, обнаруживая в Чечне черепа со следами трепанации, удивляются периоду, когда эта сложная операция здесь была освоена...

\* \* \*

Цепь русских солдат ожила, затормошилась и загудела.

– Гляди, гляди! Чево они там замельтешились? До чего их сила, вот бы с орудия жигануть...

– Они тебе оттель жиганут...

Егерский поручик смотрел на аул. Вот мелькнули у мечети всадники. По кривым улочкам аула заходили, заметались фигуры. Несколько человек, перебежав по плоским крышам саклей, исчезли в провалах улиц. Сквозь густую зелень деревьев пронеслись к садам двое конных. Где-то под горой раздался заунывный, гортанный крик. Он несколько секунд висел над аулом. Слов этого далекого вопля нельзя было

понять, но, судя по тому, что показавшиеся было чеченцы сейчас же исчезли, за этой тишиной следовало ожидать боя.

Солдаты притихли. Каждый понимал, что эта грозная тишина возвещала близкую и беспощадную резню.

Спустя немного времени из аула показались двое конных. Они на рысях спустились к самой реке и, делая знаки солдатам, что-то пронзительно кричали им. Егерский поручик поднялся и, сопровождаемый солдатом, вторично перешел мост, подошел к конным. Один из всадников подъехал к нему. Это был один из чеченцев, что приезжал для переговоров. Он пригнулся с седла к поручику и, передав ему какой-то круглый закутанный в материю и башлык предмет, на довольно правильном русском языке сказал:

– Эй, кунак, отдай генералу. Это будет наш ответ!

И сейчас же, круто повернув коня, наметом помчался к аулу...

\* \* \*

– Разверните-ка гостинец... Чего это они прислали, – пожимая плечами, сказал полковник адъютанту.

Офицер распутал башлык и, сорвав материю, вздрогнул и выронил предмет, подкатившийся к самым ногам полковника. Это была голова Харона Мукуева. Офицеры с отвращением отвернулись и только казачий есаул, видевший всякие виды, равнодушно сказал:

– Видать, с маху срубили... Не иначе как кинжалом.

Побледневший полковник Пулло перекусил дымившуюся сигару и коротко бросил:

– Огонь! Начать атаку!

Со стороны штаба слышался конский топот, и линейный казак, подъехав к цепи, крикнул что-то оглядывавшимся солдатам.

Казак на скаку осадил танцевавшего, покрытого пеной коня. И сейчас же из садов раздался короткий залп. Пули, резанув воздух, просвистали над цепью. Казак кинул конверт и, пригнувшись к луке, поскакал обратно.

Пожилой солдат с серьгой в левом ухе взял записку и переполз к поручику.

– Примите, вашбродь! – сказал он, глядя на офицера.

– «...ровно в двенадцать часов...» – прочел поручик короткий приказ.

– Передай по цепи голос! После артиллерийского огня всем ротам в атаку!.. – крикнул поручик, ища глазами ротного командира, залегшего где-то в стороне.

– Передай... Всем ротам... В атаку!!.. – глухо и тревожно побежали голоса.

По долине трещали короткие залпы. Это чеченцы, залегшие в садах, обстреливали ординарцев и казаков, скакавших по цепям.

\* \* \*

Солнце сильно нагрело открытый затылок поручика.

«Долго ли ждать?» – подумал он и, переворачиваясь на бок, вытянул часы из кармана. Со стороны штаба грохнул орудейный залп. За ним, словно наступая его, загремели другие пушки отряда. Ядра, гранаты и бомбы, все в дыму и пламени, падали на крыши аула.

Над лесом лопнула ракета, и сейчас же с трех сторон загрохотали орудия. Восемь пушек, пять фальконетов и четыре ракетных станка одновременно ударили по аулу. Дым и огонь опоясали Дади-Юрт. Гранаты лопались во дворах, ломая плетни, вздымая крыши и перебитые, искалеченные деревья. Клубы дыма застилали аул. Рев пушек, фонтаны огня и гудение снарядов перешли в сплошной сверкающий гул.

Чеченцы не отвечали. Низкое эхо стлалось по земле и глухо перекатывалось в ущелье.

Полковник Пулло взглянул на часы. Было двадцать пять минут первого. Он поднял подзорную трубу и стал вглядываться в даль, силясь разглядеть защитников аула, но густой дым от разрывов, взбуряющая пыль и вспышки огня мешали заметить что-либо.

— Попрытались они там, что ли? — с досадой проворчал он.

Адъютант, разглядывавший горевший аул в новенькую выдвинувшую английскую трубу, покачал головой и с сомнением сказал:

— Вряд ли. Я думаю, огонь нашей артиллерии уничтожил все живое в этой жалкой деревушке.

Боевые ракеты, распушив свои пышные хвосты, со свистом и треском рвались над садами, разбрызгивая по ветру сверкающие искры. Звеня, рикошетировали ядра, ударяясь о массивные каменные плиты мечети, грохотали неровные залпы батальонов, и, урча и завывая, летели тяжелые осколки гранат и круглые массивные пули фальконетов. Аул вдоль и поперек обстреливался продольным фланговым огнем рот, и в этом море огня, треска и разрушения не могла, казалось, уцелеть ни одна живая душа.

Над аулом разорвались последние гранаты, и с трех сторон — с гребня гор, от моста и со стороны

лесной просеки – одновременно загрохотали барабаны, застонали рожки, и девять пехотных рот под вой рожков и барабанную дробь бросились в атаку на курившийся, разгромленный, молчащий аул.

Раздвигая деления трубы, адъютант провел ею по цепям и, не видя противника, глядя на стремительно ворвавшихся в сады солдат, разочарованно сказал:

– Драться, кажется, не с кем! Чеченский аул вместе с людьми уничтожен.

И, опуская трубу, скучающим голосом договорил:

– Я думаю, можно готовить донесение главнокомандующему о набеге...

Но в эту минуту со стороны Дади-Юрта раздался долгий, густой и зловещий залп, и весь аул, сверху донизу, от гребня холма и до садов, опоясался дымом, и со стороны мечети, из развалин саклей, из-за плетней и перелазов, из кустов и зелени деревьев грохотали залпы. Солдаты, бежавшие впереди, пали, пораженные в упор. Бросившиеся в штыки егеря заматались в узких улочках аула, их в упор расстреливали внезапно появившиеся чеченцы.

Полковник Пулло, не веря своим глазам, с удивлением и страхом увидел как безмолвный и мертвый аул внезапно ожил и закипел стремительной жизнью. Разметанные дворы, разбитые крыши и разгромленные сакли заполнились черными фигурами. Люди в папахах и бешметах стремительно показывались всюду. Они мелькали и впереди, и в тылу метавшихся по аулу солдат.

– Откуда они взялись? – растерянно сказал полковник Пулло, продолжая следить за чеченцами, словно по колдовству появлявшимся отовсюду.

Казачий есаул покачал головой и озабоченно сказал:

— Поховались по ямам. Я их повадку знаю. У них в каждом дворе ямы навроде подвалов. Теперь пойдет потеха...

И он снова тревожно покачал головой, вглядываясь туда, где гудела пальба и сверкали под солнцем обнаженные шашки и штыки сражавшихся.

— Батарей вперед! Все резервы на линию! Казачьим сотням спешиться и идти в бой! Атаку продолжать! — скомандовал полковник, и штаб вместе с орудиями, прикрытием и резервами передвинулся вперед, поближе к гудевшему в ожесточенной резне аулу.

По цепям поскакали ординарцы, развозя приказ полковника.

\* \* \*

Солнце заходило за горы. Егеря, поднятые в атаку, переходили речонку, оставляя позади раненых и убитых. Из садов и из-за плетней аула частым огнем били чеченцы. Сизые дымки их кремневок курились повсюду. Русские пушки, подтянутые к самому обрыву, осыпали картечью сады. Единороги и фальконеты отряда, перехватившего дорогу на Гудермес, били с горы. Картечь, визжа, носилась над крышами. Ружейные пули осыпали аул. Клубы дыма обволакивали Дади-Юрт. Гранаты подожгли его, языки пламени и черного дыма уже охватывали сакли нижнего аула. Но бой не затихал. Чеченцы с прежним упорством отбивали атакующих их егерей.

На скрещении трех дорог, ведущих в аул, шел рукопашный бой. Часть перешедших речку егерей, поддержанных двумя ротами куринцев, кинулась в штыки. Их встретили ружейным и пистолетным огнем. Облако порохового дыма заволочло атакующих. Человек семьдесят чеченцев, выхватив шашки и размахивая широкими отточенными кинжалами, уда-



рили им во фланг. Стук прикладов, лязг штыков и шашек, тупые удары клинков, вопли и стоны заполнили окраину аула. Здесь нашел свою смерть Егор Карпинский, грудью закрывший раненого Булата от удара штыка. Здесь же погиб и Булат...

Солдаты, отбиваясь от яростно рубившихся чеченцев, дрогнули и стали медленно отходить, отстреливаясь на ходу, но свежая, подоспевшая вовремя рота егерей с криками «ура!» атаковала с тыла вырвавшихся вперед чеченцев. Произошло смятение. Куринцы и егеря, оправившись от неудачи, вновь бросились в штыки и всей массой ворвались в аул. Две зеленые ракеты взвились над лесом. Артиллерия перенесла огонь на верхний аул. В нижнем Дади-Юрте, захваченном русской пехотой, по отдельным дворам шел жестокий рукопашный бой. Из леса бежали резервы куринцев, и пешие казаки с шашками в руках добивали в садах остатки защитников аула. На горе взвилась ответная ракета, и полковник, захвативший дорогу на Гудермес, поднял свой отряд в атаку на верхний Дади-Юрт.

Чеченские женщины, знакомые, казалось бы, только с люлькой да печкой, дрались особенно жестоко и расчетливо. Они не производили впечатления защитниц очагов ни своим внешним видом, ни выражением эмоций: они не издавали боевой клич, оружие прятали под широкими юбками, находились около детей или убитых мужчин. Однако стоило противнику оказаться рядом — мгновенно выхватывали из-под юбки кинжал и вонзали его во врага.

\* \* \*

Левый погон егерского поручика, сбитый шальной пулей, свесился с плеча. Поручику мучительно хотелось курить, но его табачница была пуста. Пере-

бежки утомили его, ушибленное о плетень плечо ныло. Кругом грохотали выстрелы, и сизый пороховой дым плавал в воздухе. Из дворов аула неслись крики жителей. Рассыпавшиеся, перемешавшиеся в бою казаки и солдаты разных частей группами врываются во дворы, добывая чеченцев. Центр боя переместился выше, но вокруг по-прежнему трещали выстрелы, грохотали взрывы и летали пули.

– Самое сейчас трудное дело осталось, – отирая рукавом с лица пот, сказал поручику казачий есаул, приставший в бою к его полуроте. – Их, чеченов, теперь из домов ни за что живыми не взять. До последнего будут биться.

– Чего же им – песни петь, что ли, возля жены да детей, на ихну смерть глядя, – хмуро ответил другой казак, тоже оказавшийся в цепи егерей.

По улочке к площади у мечети перебегали егеря. Пожар сильнее охватывал нижний Дади-Юрт. За плетнями кричал ребенок. Солдаты с потными красными лицами проходили мимо, спеша вперед, где снова застучали залпы. Несколько батарейцев тянули на руках орудие. Сзади, покуривая трубочку, шел черноусый благообразный штабс-капитан, разглядывавший развороченные гранатами стены и плетни.

– Моя работа, – сказал он, встретившись взглядом с поручиком. – Вот из этого орудия палили.

Сильный запах его табака щекотал обоняние поручика:

– Не позволите ли, капитан, набить трубочку?

– С превеликим моим удовольствием, – артиллерист поспешно достал расшитый серебром кисет.

Поручик с наслаждением затянулся.

– Чистый турецкий, из Тифлиса привезенный, по шести с полтиной серебром плачен. Ну, спешу, –

заслыша усилившиеся на площади залпы, крикнул черноусый штабс-капитан и уже издали добавил: — Штабс-капитан Алексеев, второй бригады. После боя прошу ко мне на батарею, коньячком хорошим угощу!

Егерский поручик кивнул ему вслед и стал собирать своих солдат. Из дворов выходили казаки и егеря, что-то пряча в сумы и ранцы. Забрызганные кровью, опаленные пожаром, с горящими глазами, они, не обращая внимания на офицера, рылись в своих ранцах.

— Их бабы еще хуже чеченов. Одно — ведьмы. Как полоснула Игнатенку кинжалом по морде, так он и умылся кровью.

— Сатаны, не люди! — махнул рукою казак.

Снова запел сигнальный рожок, и привычные к команде солдаты собрались возле своего поручика. Наверху грохотал бой. Нижний Дади-Юрт догорал в пламени и дыму.

Огонь перекинулся на сады, и пламя поползло по ветвям, с треском руша вековые, так любовно выращенные поколениями фруктовые деревья. С площади, размахивая руками, бежал солдат. Завидя егерского поручика, он крикнул на ходу:

— Вперед! Его высокоблагородие приказали всем резервам немедленно идти в атаку!

\* \* \*

В боевой башне, высившейся над нижним Дади-Юртом, заперлось человек тридцать жителей аула. Заставив тяжестями дверь, они тремя группами расположились в башне и стали стрелять по перебегавшим площадь егерям. На нижней части башни было семеро чеченцев, на второй площадке, у бойниц и глазков, стреляя по русским, лежало еще человек

пятнадцать стрелков. Наверху башни огонь вели девять стрелков. Старый, полуслепой мулла, сидя на соломе у стены, безучастно глядел на стрелявших людей. По стене щелкали пули русских.

В башне было темно, дымные фитили слабо озаряли ее. В углу лежали чуреки, круги бараньего сыра, бурдюк с водой, кувшин и половина вяленого барана. У другой стены стояли ружья и пороховницы с порохом и пулями. Несколько женщин с суровыми, угрюмыми лицами молча заряжали ружья, передавая их мужчинам.

Взятая под косою обстрел площадь курилась от пуль. Несколько солдат пали мертвыми, не пробежав и десяти шагов. Засевшие в башне чеченцы поражали площадь, не дальше. И вся масса пехоты и казаков, только что покончившая с нижним Дади-Юртом, сгрудилась за плетнями, не имея возможности вырваться к верхнему Дади-Юрту, где бились куринские роты.

– Заходи с флангу, в обхват, в обхват бери!

– Ей-й, казачки, с реки, снизу обходите, оттель ничего не выйдет, забьют вас гололобые! – кричали егеря казакам, показавшимся слева.

И сейчас же несколько пуль, рикошетируя, с визгом расплющились о камни рядом с казаками.

– К реке подавайтесь, там легче пройти, – сложив рупором ладони, кричал рыжеусый фельдфебель.

Солдаты беспорядочно стреляли по башне. Подходившие резервы вносили еще больше суматохи и беспорядка. Толчея и шум росли.

– Крепка башня, кирпич да камень, разве пулями их возьмешь? – сказал егерский капитан.

– Сюда бы, вашбродь, орудие, – поддержал его фельдфебель.

Дым от горевшего аула поднимался к небу. В верхнем Дади-Юрте грохотали залпы, рвались гранаты.

— Дюже бьются... — сказал кто-то, но тут гул голосов заглушил его слова. — Орудие... Орудие привезли!!

Черноусый штабс-капитан, установив орудие, сощурился и крикнул:

— Ог-гонь!

Брызнуло пламя, полыхнул дым, и девятифунтовое ядро с визгом ударилось о середину башни. Осколки кирпича, щебень, пыль разлетелись в стороны. На месте, куда ударило ядро, белело свежее пятно со сбитыми ломаными краями. Черная, закоптелая башня, изъеденная временем, во мху и паутине, по-прежнему высилась над площадью. Из ее бойниц летели пули и сизоватые струйки порохового дыма.

— Ог-гонь! — переноса прицел выше, снова крикнул капитан, и новое ядро с воем ударилось и отскочило от стены. Опять посыпался щебень и взвилась пыль.

Капитан направил орудие на дверь башни:

— Огонь!

И сейчас же после выстрела снова скомандовал:

— Огонь!!!

Еще два ядра с воем ударились о низкую входную дверь. Выбитые переломанные доски разлетелись по сторонам. Новый удар сотряс ее, и она, искрошенная в щепы, обнажила вход в подпиравшие ее сзади камни и мешки.

— Знатоно!! Вот это добре! Держись теперь, чечены, — загудели солдаты.

— Гранату! — коротко приказал штабс-капитан. — Ог-гонь!!

Внутри брызнуло пламя, рванулся серый, удушливый дым лопнувшей гранаты.

— Еще три гранаты! Бегло! Ог-гонь! — крикнул офицер.

В нижней части башни рвались гранаты. Из ее разбитого входа валил густой дым.

– Ур-ра! – охваченный восторгом, как бы уже торжествуя победу, закричал какой-то солдат.

И вся масса, без команды, по этому случайному выкрику кинулась вперед, крича «ура». Егеря, казаки, куринцы, мешая артиллеристам стрелять, не обращая внимания на пули, перебегали площадь и окружали башню:

В другом конце аула окруженные в саду чеченцы перестали стрелять. Стихла оружейная пальба и со стороны русских, умолкли орудия.

– Сдаваться, наверное, будут, – с тайной надеждой неуверенно произнес молодой поручик.

Лежавший рядом с ним казачий есаул усмехнулся:

– Хватил! Бой только начинается. Не знаешь ты, поручик, местных дел... Не сдаваться, а в шашки сейчас кинутся, с пистолетами и кинжалами подыхать будут, – грубо оборвал его есаул.

– Спаси, господи, народ христианский, самый лютый час подходит, – перекрестился пожилой солдат с ефрейторской лычкой на погоне.

– Слышь, орда молиться зачала... – почти шепотом добавил другой, не сводя глаз с сада, откуда заунывно, тихо, затем все сильнее и явственнее слышалось «Ля илльляхи иль ал-ла-а...», перешедшее в стонущий, полный отрешенности от жизни вопль.

– Фатыгу поют... Предсмертную, значит, молитву... С землей и жизнью прощаются... – сказал есаул.

Поручик поинтересовался:

– А вы почему знаете?

– Здешний я, – сказал есаул. – Мы друг дружку хорошо знаем, всю жизнь рядом живем. До войны я

со своим крестным часто в это село ездил, был здесь такой Исмаил, кунак крестного... Видать, мы его со всем семейством порешили.

Есаул вздохнул. Поручик неодобрительно посмотрел на него:

– Чего вы их жалеете?.. Они то нас не пожалеют...

– Знамо дело... – сказал есаул. – Не они ж к нам, а мы к ним полезли...

– Бросьте, – перебил его поручик и мечтательно вздохнул. – Кабы не они, сидел бы я сейчас в своей Пензе...

– И все ж таки не возьму я в толк, – сказал есаул. – Чего нам с ними делить? Жили бы, как раньше... Земли-то доброй сколько пропадает зазря... А мы тут кровь льем...

Есаул опять вздохнул и добавил:

– Знать судьба такая у Кавказа...

...К вечеру все было кончено. Весь Дади-Юрт был занят русскими войсками. Нижний Дади-Юрт догорал. Дымились руины, и черные груды горячего пепла лежали на месте сгоревшего аула.

Сотня казаков с полуротой погнала во Внезапную человек двести женщин и детей, уцелевших от огня и пуль.

Один из казаков в поисках добычи заглянул в полуразрушенную саклю. У самого порога лежала убитая женщина. Рядом с ней на полу сидел мальчик лет трех. Он держался за руку мертвой женщины. На казака он не обратил никакого внимания, немигающие глаза его смотрели куда-то в угол, где дымилась солома с провалившейся крыши. Мальчик был явно в шоке. Казак подошел к мальчику, взял его на руки, хотел вынести из сакли, но что-то меша-

ло ему. Казак оглянулся: закоченевшая рука матери крепко держала руку своего сына. Освободиться от этой мертвой хватки стоило казаку большого труда.

Он вынес мальчика из дома, и тут его кровля окончательно обрушилась.

– Спаси, господи... – прошептал казак.

Оставив пехоту и артиллерию укрепляться в разгромленном ауле, казаки в конном строю возвращались из ущелья на дорогу. Знакомый нам казак прятал мальчика под буркой. К нему подъехал есаул и, подкрутив лихой ус, сказал, глядя на раздувшуюся впереди казака бурку:

– Захар! Недоносов! Ты, никак, забрюхатил? Кто ж тебя?..

Казаки захохотали, смеялся и есаул. Недоносов распахнул бурку, и есаул увидел ребенка. Лицо его сразу посуровело:

– Откуда, оголец?

Недоносов, не отвечая, кивнул в сторону только что покинутого аула.

– Чеченец, значит, – начал было распалаться есаул, но тут его взгляд упал на беззащитного ребенка, прижавшегося к увешанной «Георгиями» груди Недоносова, и что-то жалостливое промелькнуло в глазах есаула. Он смачно сплюнул и поскакал вперед колонны.

Командир Кавказского корпуса Алексей Петрович Ермолов, узнав об осиротевшем чеченском мальчике, принял участие в его судьбе. Он крестил его и дал имя Петр. Казак Захар Недоносов оставался при мальчике и тогда, когда их казачью сотню перевели в Грузию...

\* \* \*

Вечером на походном бивуаке Недоносов попробовал накормить ребенка солдатской похлебкой, но тот



не мог есть. Сидевший рядом с ними у костра есаул поглядел на мальчика, встревожился и положил ему на лоб свою огромную, как лопата, ладонь.

– У него ж огонь... – сказал он. – Вишь, глядит, а вроде ничего и не видит... А ты ему кулеш в рот пихаешь...

Недоносков тоже приложил свою ладонь ко лбу мальчика:

– И впрямь горит...

В это время прозвучала команда:

– По коням!

Недоносков в растерянности посмотрел на есаула, потом на метавшегося в жару ребенка.

– Шкиряк! Тимошка! – выкрикнул есаул.

К нему подскакал хорунжий.

– Возьми еще двоих и сопроводи Захара Недоноскова в монастырь, – приказал есаул.

– Куда? – удивился хорунжий.

– На кудыкину гору... Здесь в верстах в десяти по ущелью монастырь... Ребятенка монахам сдадите... Может, выйдут. А с нами – помрет, как пить дать... Нас догоните.

И, поглядев на лежавшего на казачьей бурке ребенка, добавил:

– Басурман, а все ж живая душа...

В темноте кто-то по-разбойничьи свистнул и казаки, по ходу выстраиваясь в колонну двинулись вперед по дороге. Вскоре от них отделились четверо всадников, которые сразу взяли круто в гору, туда, где на вершине скалы виднелись башни и стены старинного монастыря...

\* \* \*

За окном было уже утро. Тихо вошел слуга и протянул Захарову конверт:

– Оказия из Петербурга. Вам, Петр Захарович.

Слуга также неслышно исчез за дверь. Спящий на тахте незнакомец даже не пошевелился.

Захаров вскрыл конверт, достал письмо, прочитал его один раз, потом второй. В письме официально сообщалось, что свободный художник Петр Захарович Захаров, родом из чеченцев, удостоен звания академика живописи за портрет генерала А.П. Ермолова...<sup>1</sup>

Захаров стоял перед портретом Ермолова и смотрел на творение своих рук. На портрете Ермолов навечно отвернулся в сторону, как будто боялся взглянуть в глаза художнику. Потом Захаров перевел взгляд на свой автопортрет в бурке и с ружьем. Суровый и в то же время печальный взгляд Захарова на портрете словно укорял за что-то самого художника. А потом Захаров подошел к портрету Лермонтова, по-прежнему стоявшему на столе в углу мастерской.

Взгляд поэта был чем-то похож на взгляд Захарова. Они долго смотрели в глаза друг другу, художник и его творение...

---

<sup>1</sup> Впоследствии именем Захарова была названа Академия художеств в Петербурге.

## ПОТОМКИ ЛЕРМОНТОВА И ЗАХАРОВА

В ущелье по-прежнему все было спокойно. Захар, дорисовывая портрет Мухади, продолжал свой рассказ:

— Так что единственный портрет Лермонтова при его жизни написал чеченец Петр Захаров. И свои картины он подписывал так...

Захар, закончив карандашный портрет Мухади, перевернул листок и написал на обратной стороне: «Захар из чеченцев».

Он протянул рисунок Мухади. Тот долго рассматривал его, потом аккуратно сложил и спрятал в карман своей камуфляжной куртки.

— С него и пошел у нас в роду этот обычай — называть Захаром первого рожденного мальчика, — сказал Захар.

— Ну, а дальше... Что с ним стало? — спросил Мухади.

— Заразился от жены чахоткой... Сначала она умерла, потом он... В один год, в одночасье...

Они помолчали, глядя на орла, по-прежнему кружившему над ущельем. Откуда-то издали донесся неясный гул, потом он стал громче и отчетливее.

— Танки, — сказал Мухади и положил рядом с собой пульт управления заложенных на дороге мин. Захар лег за пулемет. Оба молчали, гул нарастал.

И вдруг отчетливо, так, что даже сердце сжалось от боли, Захар представил себе жену и ребенка, оставшихся в далекой России. И он подумал о том, сколько будущих Лермонтовых и Толстых, Грибоедовых и Пушкиных погибли и еще погибнут в предстоящем бою и в этой проклятой и нелепой войне. И сколько еще будет пролито слез и русскими, и чеченскими матерями, чьи сыновья уже никогда не пере-

ступят через порог родного дома... А потом ему вспомнились строчки из лермонтовского стихотворения «Валерик», написанные сто пятьдесят лет назад всего в трех десятках километров от ущелья, где сейчас лежали Захар и Мухади:

А там, вдали, грядой нестройной,  
Но вечно гордой и спокойной  
Тянулись горы – и Казбек  
Сверкал главой остроконечной.  
И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: «Жалкий человек.  
Чего он хочет!.. Небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он – зачем?»

Мухади кивнул Захару на кружившего над ними орла:

– Вот кому я сейчас завидую...

И вдруг во весь голос он начал читать «Мцыри»:

Когда я стану умирать,  
И, верь, тебе недолго ждать,  
Ты перенеси меня вели  
В наш сад, в то место, где цвели  
Акаций белых два куста...  
Трава меж ними так густа,  
И свежий воздух так душист,  
И так прозрачно-золотист  
Играющий на солнце лист!  
Там положить вели меня.  
Сияньем голубого дня  
Упьюся я в последний раз.  
Оттуда виден и Кавказ!  
Быть может, он с своих высот  
Привет прощальный мне пришлет.  
Пришлет с прохладным ветерком...

И близ меня перед концом  
Родной опять раздастся звук!  
И стану думать я, что друг  
Иль брат, склонившись надо мной,  
Отер внимательной рукой  
С лица кончины хладный пот  
И что вполголоса поет  
Он мне про милую страну...  
И с этой мыслью я засну,  
И никого не прокляну!

Пока Мухади читал стихи, в ущелье медленно  
вползли российские танки, а над горами эхо повто-  
ряло последнюю строчку из «Мцыри»:

- И никого не прокляну!
- И никого не прокляну!
- И никого не прокляну!..

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Основные даты жизни и творчества П.З. Захарова

- 1816            Год рождения П.З. Захарова, аул Дади-Юрт.
- 1823            25 августа в Тифлисе А.П. Ермолов передает П.З. Захарова на воспитание своему двоюродному брату П.Н. Ермолову (свидетельство №3610).
- 1823            Переезд П.З. Захарова в Москву.
- 1826            Первая попытка определения 10-летнего Петруши в Петербургскую Академию художеств.
- 1830            Переезд в Петербург для подготовки и поступления в Академию.
- 1833            Посторонний ученик Петербургской Академии художеств (билет №158 от 11 апреля 1833 года). В конце того же 1833 года принят на содержание Общества поощрения художников. Получил право писать перспективные виды комнат в нем же. В том же году написан портрет Н.А. Постиковой.
- 1833–1834     Написан «Юношеский автопортрет».
- 1834            За участие на выставке копий с картины известного фламандского художника-портретиста и исторического живописца Антониса Ван-Дейка «Молодой принц» получает от Общества поощрения художников 70 рублей.

- 1834–1836 Написан портрет М.Ю. Лермонтова.
- 1835, август Получение серебряной медали «за экспрессию по живописи» в картине «Старуха, гадающая в карты».
- 1836 Одобрение Совета Академии за «Голову портрета» и получение второй серебряной медали.
- 1836,  
19 апреля Постановление Совета об окончании П.З. Захаровым Академии художеств и получении звания свободного (неклассного) художника (Аттестат №46 им получен 4 февраля 1837 года). В том же 1836 году он пишет портрет рыбака и картину «Велисарий с мальчиком, просящим милостыню».
- 1837 Написан портрет генерал-майора свиты.
- 1838 Портрет И.П. Постниковой. Портрет духовного писателя А.Н. Муравьева.
- 1839 Портрет детей П.Н. Ермолова. Портрет А.П. Постниковой (будущей жены художника). Картина «Искушение спасителя дьяволом».
- 1840 П.З. Захаров проживает в Петербурге, на Васильевском острове, в начале года на 7-й линии, на Большом проспекте в доме Герасимова в квартире Эйхорна, а в конце года – по Среднему проспекту, между кадетской линией и малой Невой, в доме купчихи Окуловой. В этом году им написаны портреты: неизвестного на фоне интерьерера, Жадимеровского, неизвестного

юноши, Е.В. Воейковой, Бороздиной, княгини М.П. Волконской, царя Николая I. Выполнен набросок женской фигуры, портрет молодого человека (неоконченный), мужской портрет, два варианта женского портрета.

1840–1842 11 декабря 1840 года поступает рисовальщиком в Военное Министерство. В 1841 году П.З. Захаров, живя еще в Петербурге, на Васильевском острове, переезжает на 5-ю линию, что на углу Набережной, против Академии художеств в Доме моды, а в начале 1842 года – на 11-ю линию, что между Большим и Средним проспектом, в доме Траншеля. За это время им было выполнено более 60 рисунков обмундирования и вооружения российских войск, из коих найдено 37. За высокую технику и мастерство исполнения он дважды поощрялся денежным вознаграждением (5 апреля 1841 года – 250 рублей и 10 января 1842 года – 175 рублей). В этом же году он пишет портрет художника Н. Тереманова.

1842,  
6 февраля Пишет прошение в Совет Академии художеств и получает программу на звание Академика.

1842,  
26 апреля По состоянию здоровья оставляет работу в Военном Министерстве и переезжает в Москву, в дом своего воспитателя П.Н. Ермолова, близ Тверской (ул. Горького) на Чернышевский переулок №236 (ныне ул. Станкевича, №6).

1843,  
30 апреля Получает звание Академика за портрет А.П. Ермолова. В том же году пишет автопортрет в бурке и портрет Н.А. Некрасова.



- 1844 Пишет портреты: А.В. Алябьевой (в замужестве Киреева), неизвестного в черном сюртуке, И.П. Постникова (брата жены художника), доктора Ф.И. Иноземцева (в двух вариантах), групповой (семейный) портрет, композитора П.П. Булахова (предварительный рисунок к групповому портрету), И.П. Ладыженского.
- 1845 Пишет портреты: историка, профессора Т.Н. Грановского, Н.А. Постниковой (матери жены художника), «Неизвестной на смертном одре», «Неизвестного», Г.Л. Волковой (первой невесты).
- 1846 Портрет герцога Максимилиана Лейхтенбергского – президента Академии художеств. 29 сентября 1846 года на общем собрании Академии художеств конференц-секретарь В.И. Григорович сообщил о кончине Петра Захаровича Захарова... «Захаров, чеченец по происхождению, известен как отличившийся и необыкновенно обещавший в сем же роде живописи...» Предполагается, что он похоронен в Москве, рядом со своей женой, на месте, где погребены Постниковы.

Имеется и ряд других недатированных работ выполненных им, например портреты: П.Н. Ермоловой, А.Г. Ермоловой, Григория Ермолова ребенком, историка М.О. Семенова, Карамаленкова, «Неизвестного», картина «Моление о чаше» (предсмертная) и ряд других, до сих пор не найденных.



Автопортрет в бурке с ружьем. Холст, масло. 1843 г.



Юношеский автопортрет. Холст, масло. 1833–1834 гг.



М.Ю. Лермонтов. *Холст, масло. 1834 г.*



М.Ю. Лермонтов. *Гравюра. 1836 г.*



Генерал-майор свиты. Холст, масло. 1837 г.



А.Н. Муравьев. Холст, масло. 1838 г.



Дети П.Н. Ермолова. Холст, масло. 1839 г.





А.П. Постникова. *Акварель. 1839 г.*



Портрет неизвестного. Холст, масло. 1840 г.



Портрет неизвестного на фоне интерьера.  
*Холст, масло. 1840 г.*



Форма чиновника военной коллегии и  
департаментов комиссариатского и провиантского.  
*Рисунок на камне. 1840–1842 гг.*



Форма пионерного полкового барабанщика.  
*Рисунок на камне. 1840–1842 гг.*



Формы унтер-офицеров Троицкого и  
Звериноголовского гарнизонов.  
*Рисунок на камне. 1840–1842 гг.*



Жадимеровский. Холст, масло. 1840 г.



П.Н. Ермолов. Холст, масло. Без даты.





А.П. Ермолов. Холст, масло. 1843 г.



Н.А. Некрасов. *Акварель. 1843 г.*



А.В. Алябьева. *Холст, масло. 1844 г.*



И.Ф. Ладыженский. Холст, масло. 1844 г.



Групповой семейный портрет. *Карандаш. 1844 г.*



Неизвестная на смертном одре. *Карандаш. 1844 г.*



Т.Н. Грановский. *Холст, масло. 1845 г.*



И.П. Постников. Холст, масло. 1844 г.





Н.А. Постникова. *Холст, масло. 1845 г.*



Герцог М. Лейхтенбергский. Холст, масло. 1846 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### АЛЕКСАНДР ЧЕЧЕНСКИЙ

Соседи.....	4
Генерал-губернатор кавказский.....	10
Песни Мажи.....	20
Митрич.....	28
Маленькие пленники.....	36
В крепости.....	43
Дорога в Каменку.....	54
В Каменке.....	63
Москва.....	71
Зимние каникулы.....	79
Первая любовь.....	90
Родной аул.....	97
Раевский покидает армию.....	113
В отпуске.....	124
Накануне.....	129
Дочь и отец.....	136
Первые раскаты.....	143
В Финляндии.....	159
Осколок в сердце.....	168
Гроза военная.....	174
И грянул гром.....	193
Москва спаленная.....	211
Отступление.....	220
На Запад.....	224
Заграничный поход.....	246
Бессмертие фельдмаршала.....	261
Партизаны за Эльбой.....	272
В гусарском полку.....	279
В Нидерландах.....	286
В Париже.....	293
Эпилог.....	309
Архаизмы, речения, слова.....	328

## ЗАХАР ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ

Орды Чингисхана в Чечне.....	336
Наведение конституционного «порядка» в Чечне.....	342
Встреча Лермонтова и Захарова.....	345
Дуэль.....	352
Рождение портрета и поэмы.....	355
Поэт и Император России.....	366
Лермонтов на Кавказе.....	369
Захаров и дочь аптекаря.....	377
Нападение чеченцев на заставу.....	382
Окружение и уничтожение Дади-Юрта.....	385
Потомки Лермонтова и Захарова.....	414
Приложения.....	417